
ВЛАДИСЛАВ БАХРЕВСКИЙ
ТИШАЙШИЙ



Золотая Летопись России

ВЛАДИСЛАВ
БАХРЕВСКИЙ

ТИШАЙШИЙ

МОСКВА
„СОВРЕМЕННИК"
1991



ББК 84Р7
Б30

Серия основана в 1991 году
Текст печатается по изданию: Б а х р е в с к и й В.
Тишайший: Роман.— М.: Советский писатель, 1984.

Ответственный редактор серии Н. И. Суворова

Бахревский В. А.
Б30 Тишайший: Роман.— М.: Современник: Лексика, 1991.— 335 с.— («Золотая летопись России»).
ISBN 5-270-01573-0

Исторический роман Владислава Бахревского — увлекательное повествование о временах, предшествующих расколу, когда Россией правил второй царь из новой династии Романовых Алексей Михайлович. Молодой царь, его окружение, будущий патриарх Никон, Аввакум — вот лишь некоторые герои романа.

Б $\frac{4702010201-162}{М106(03)-91}$ без объявл. ББК 84Р7

ISBN 5-270-01573-0

Часть первая

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Будто под коленки стукнули — рухнул Никита Иванович Романов на лавку, и лицо его, уж такое широкое, в единый миг все, от луковки носа до репки подбородка, стало мокрым от слез.

Черный вестник, боярин Борис Иванович Морозов, изумился обилию мокро́ты и, не в силах выжать из сухих своих глаз росинки, подвыл вдогонку. Романов, глядя на него утонувшими в слезах глазами, как от дурной водки передернулся.

— Никита Иваныч, тебе в Кремль спешить бы!

— Ты-то чего тут?! Ты-то чего хлопочешь?!— Романов от ярости и горя вскочил, зашатался, кафтанчик немецкий, зелененький, как из болотца, затрещал под мышками.— Постыдись, боярин, де́ла! Человек ведь помер.

— Почивший государь, царство ему небесное,— Морозов чуть всхлипнул, но дальше вел, словно орехи грыз,— миленький наш царь Михаил Федорович не оставил завещания. Среди нынешнего боярства есть такие лихоимцы, которые могут сказать: Земский собор 1613 года избирал на престол Михаила Романова, но не династию Романовых. Как бы не сыскались охотники новых выборов. И мне ничего не ведомо, что делает и где он теперь, князь Семен Шаховской?

— Семен-то?— отирая лицо ладонями, задумался притихший Никита Иванович.— Семен небось при датском королевиче, где же еще?

— А не позабыл ли ты, Никита Иванович, царских обещаний принцу Вальдемару? Вместе с рукою царевны Ирины Михайловны царь Михаил Федорович на вечные времена жаловал датчанину Ярославль и Суздаль. А в другой раз — Новгород и Псков. То ли — «или — или», то ли — «то и это». А также есть многие, коим запали в сердце мятежные слова архимандрита Хутын-

ского монастыря Феодорита: «Бог ведает, прямой ли царевич Алексей, не подметный ли».

— Шубу! Дьявол ты, Борис Иванович! Поплакать не дал, дьявол! Шубу! Санки! В Кремль!

— Я прошу тебя быть в русском платье,— твердо сказал Морозов,— теперь все глядят, все слушают. Спеши, Никита Иванович. А я еще похлопочу о счастье моего воспитанника. За Стрешневыми помчусь, за Шереметевыми, за Одоевскими... В армию, к воеводе Якову Куденетовичу Черкасскому я уже послал человека присягу принимать. Якову Куденетовичу обещано боярство, минуя чин окольничего.

— Ныне вся поместная армия у Черкасского под рукой. Если татары и турки пойдут на Москву, князь Черкасский упредит их ударом. Стольник достоин боярства.

Морозов и Романов говорили одно, думали о другом и вполне понимали друг друга.

Наследник Алексей Михайлович был в тереме, у матери Евдокии Лукьяновны. Сидел на полу, упершись ногами в изразцовую холодную печь, положив голову на материнские колени. Июльская душная ночь давила на грудь, но в покоях матери гулял тихий ветер, шевелил черные полотнища на завешенных зеркалах.

Евдокия Лукьяновна, зайдясь от горя, подурев, все перепутав, баюкала надежду свою, сыночка своего, будто он в зыбке лежал.

Под памятно-пронзительную ласку Алексей Михайлович забылся. Он и не спал вроде, но никакой воли теперь в нем не было. По щеке ползла, холодила не его слеза, мамина, но и она не мешала ему. Мама наконец вернулась. Она никуда не уезжала. Они жили бок о бок, но как взяли его в семь лет на мужскую половину, ни разу не взъерошила ему мягонькие волосы родная рука, не поскребла ноготком в затылке. Целовала мама, христосуясь, раз в году, рядом стояла на молебнах. Теперь они были вместе, как много лет тому, как девять лет назад. И слава тебе господи! Хоть в горе, но соединились их любящие сердца: сыновнее, стыдливое до материнских ласк, и материнское, все терпящее.

Он про то не думал, но знал — это горькая ласка прощальная. Не будет, может, в следующий миг уже мамы, будет царица-регентша, не будет мальчика — будет царь, а может, и ничего не будет. Придут и убьют.

Не страшно ему было знать, что вот придут и убьют. Слабых на царстве убивают, а бегать царям от слуг негоже.

Кто-то знает про то, сколько силы теперь за ними стоит: за царицей, за наследником, за всем выводком почившего государя. Сами они не знают, ничего не знают.

Мерно, не давая покоя городу, надрывали ночь колокола. Ночь никак не могла охладить воздуха. В покоях царя Михаила духота. Трещали свечи, рыдали где-то в дальних комнатах, в верхнем этаже и в нижнем. Шестнадцатилетний новый царь стоял под образами в парадном облачении цесаревича — скромничал, стоял без устали, который час уже — принимал присягу. Мать сидела на месте отца, белая, холодная, неживая, а сын жил. Тоже белый, натянутый, как тетива, но глаза его спрашивали каждого: добрый ли ты человек, по сердцу или по умыслу присягаешь мне?

Алексей Михайлович не садился, стульчик цесаревича за одну ночь стал ему маловат. Всю ночь стоял, всю ночь шли под его руку бояре, окольничьи, думные люди. Первым поклонился царю-мальчику Никита Иванович Романов, двоюродный дядя, чина небольшого — стольник, но любимец всей Москвы. В первые часы ночи не торопились с присягой, кап да кап, потом — ручейком потекли, а под утро вся Москва кинулась к Успенскому собору принести присягу молодому царю да его благочестивой матушке, царице Евдокии.

2

Хлопотал Борис Иванович Морозов, как птица над гнездом хлопотал. Господи, как же он всю жизнь завидовал правителям: Борису Ивановичу Черкасскому, Федору Ивановичу Шереметеву. Все Московское царство жило по их слову, по их уму. Были вельможи речистее, были деловитее, умнее гораздо, но кто из русских перечит царю? А прежний царь повторял слово в слово за Черкасским да за Шереметевым.

Свершилось! Алексею свет Михайловичу говорить словами Морозова, только не поспешить бы. Сразу-то на дыбы встанешь — голову отобьют. Чтоб землю из-под ног совсем не упустить, на четырех пока стоять нужно. Ничего, что поза неказиста. Борису Ивановичу пятьде-

сят шестой год, научили терпеть и ждать. Четверть века часа своего звездного ждал! Так ведь проще было! Ныне, когда вся Москва на поклон спешит, день — за год. Геенна огненная, а не жизнь.

Мимо приказов к нему идут, он слушает, но ничего не решает. Тихоней прикидывается, и все знают, что прикидывается. Он и не скрывает, что прикидывается, но власть пока что у старых слуг, у людей царя Михаила. Может, и не власть уже, но чины все у них.

Федор Иванович Шереметев — судья Стрелецкого приказа: войска у него; он же судья приказа Большой казны — деньги у него, у него Аптекарский приказ, а в приказе ведают царским здоровьем.

Во Владимирском Судном приказе сидит Иван Петрович Шереметев. В приказе творят суд над боярами, окольничими, думными дворянами. В Разбойном приказе опять Шереметев, Василий Петрович.

Казанский дворец и Сибирский приказ у зятя Федора Ивановича, у Никиты Одоевского.

Все в родстве с Романовыми и между собой. Потому и не спешил Борис Иванович Морозов.

Правда, через неделю после смерти царя Михаила у приболевшего Федора Ивановича Шереметева, чтоб силы он свои драгоценные не распылял на малое, взяли Аптекарский приказ. Взяли, но никому не отдали: пусть до поры дьяки хозяйство ведут. Себе Борис Иванович ухватил невидный Иноземный приказ. Здесь ведали наемными офицерами. Сила небольшая, но команды слушает и тотчас исполняет.

Хлопотал Борис Иванович! Строил гнездо со всех сторон сразу, соломинку за соломинкой, но всегда у него было главное дело.

Пора было избавиться от датского принца Вальдемара!

Царь Алексей Михайлович первые недели своего царствия молился. По монастырям московским ходил, к мощам прикладывался. Первого августа, на праздник происхождения честного и животворящего креста, в кремлевской Благовещенской церкви к нему подошла сестра Ирина. Зареванная. Прошептала:

— Государь, братец, не погуби моей жизни!

— Ирина, зачем говоришь такое, голубушка?

А самому впору бы спрятаться где. Удел московских царевен — прощения у бога просить. За что вот только?

Европа не торопилась родниться с русскими царями, а как выискался шустрый датский принц, опять незадача: крещен, да не по-нашему. Отдать православную царевну за еретика — не токмо ее душу, но и свою ввергнуть в грех неискупимый. Принц жил в России уже год, а вопрос никак не могли разрешить. И уж собрался было Михаил Федорович — ради дочери, да и ради государства — закрыть глаза на подпорченную веру будущего зятя, но господь бог не дал ему согрешить, прибрал. Однако вокруг принца составилась боярская партия, и, дабы смуты новой не породить, Борис Иванович, не дожидаясь, пока вся власть перельется из сосуда Шереметева в его сосуд, от имени нового царя щедро наградил Вальдемара, и осталось только выпроводить зажившегося гостя.

Ирина, как увидела, что братец от нее бежать готов, на колени перед ним пала:

— Смилуйся, государь!

— Но что же я могу поделать?— прошептал Алексей Михайлович.— Молод я! Никто меня слушать не станет. Помолись, Ирина! Помолись! И я с тобой помолюсь.

Он опустился на колени рядом с сестрой и заплакал.

В те дни вся женская половина Большого дворца ревмя ревела, а Евдокия Лукьяновна слегла.

Тринадцатого августа Вальдемара отпустили. Принимал его царь в Золотой палате, одарил соболями, золотом, дал ему для бережения, до границы,— не дай бог назад поворотит — полторы тысячи детей боярских под командой боярина Василия Петровича Шереметева. Тут бы и дух перевести, но восемнадцатого августа, не осилив горьких дум о судьбе дочерей: об Ирине, Анне, Татьяне, царица Евдокия Лукьяновна преставилась.

Осиротел шестнадцатилетний самодержец, припал к Борису Ивановичу Морозову. Один он остался у него своим. А Борису Ивановичу в няньках сидеть времени нет. У государства норов неверный, отпустишь вожжи на день — год будешь плакаться: в сторону умчит, а то и всю повозку расшибет вдребезги.

Молодой царь в молитве усердствовал, и нашел ему Борис Иванович для бесед умилительных чистой души своего человека, протопопа Благовещенской церкви Стефана Вонифатьевича. И стал протопоп вскоре духовником царя.

3

Сквозь родниковый хлад синего дня родниковыми пузырьками пробивалась ласка солнца. Трава вдоль дороги была зелена, только блеск с нее сошел, веселый весенний блеск, а по деревам и вовсе, прихватив где вершину, где ветку или только листок, взыгрывала осень.

Дорога петляла лесом, с бугорка в низину, с низины на бугорок. И шли по этой дороге слепцы. Двенадцать слепцов с поводырем-мальчиком.

— Грибами-то как пахнет,— сказал старец Харитон, рука которого лежала на плече мальчика.— Слышь, Саввушка, как грибами-то пахнет?

— Да как же им не пахнуть! Вон оне. Рядком и кругами по краю леса.

— Ты небось нас бросил и побежал бы за грибами-то?

— Я бы и бросил, да куда они, грибы, теперь? Если бы дома...

— Глупый ты, Саввушка.— Харитон в величайшем удивлении задрал бороденку.— Ведь коли тебе говорят, побежал бы ты за грибами, бросил бы слепеньких, значит, пытают верность твою, твой умишко... А ты — побежал бы!

— Дак я и побежал бы, коли бы дома, а коли матушка продала меня вам за два рубля без копейки...

— Не было у нас тогда копейки!— осердился Харитон.— Эко ведь — продала! Мы божеское дело содеяли. Братишек-сестричек твоих выкармливать-то надо. Один рот долой — все облегчение. И нас возьми — куда мы без очей, без твоих ясных очей?

— Стой!— крикнул птичьим резким голосом двенадцатый слепец.— Слышу, скачут.

Остановились.

— Скачут,— согласился старец Харитон.— На шестерке лошадей скачут. Веди, Саввушка, на пригористое открытое место, чтоб с дороги нас видать было, а плетью чтоб достать не смогли.

Сели на остывающую осеннюю землю, на подсохший колючий мох. Промчался в клубах пыли большой боярин. На шестерке лошадей. За боярином, поотстав на полверсты, проскакала сотня рейтар, рыская по обочинам дороги.

— Сидеть!— крикнули слепцам.

За рейтарами в тарахтящих телегах прокатили, растрясая жирок, московские стрельцы. Телег было десять.

— Эй!— Стрельцы показали слепой братии бердыши.— Эй!

— Царь к Троице едет!— сказал Харитон.— Петушок наш молоденький!

Но царь все не ехал, и Саввушка заерзал было, завертелся, но тут на дороге появились люди.

— Пешие!— сказал Саввушка.

— Кто первым идет?— спросил Харитон.

— Парень!

— Хе!— затряс своей бородой, заулыбался солнышку Харитон.— Гляди на того парня шибче да поклонись ему, как проходить будет, ниже.

— Неужто парень-то сам батюшка-царь?— на весь лес, ясно, звонко удивился Саввушка.

— Ш-ш-ш!— слепец Харитон ущипнул мальчика пониже шеи, с вывертом, со злобой, как гусак. И заорать не дал: ладонью крик придушил. Сквозь слезы плохо видать, а царь вот он. Ходко идет, размашисто. За ним, чуть поотстав, рынды, монахи, всякая служка.

Увидал царь слепцов, остановился. На обочину шагнул.

— Ты чего, поводырь, плачешь?

— От счастья тебя зреть, государь-батюшка!— проворно воскликнул слепец Харитон.— За всю нашу братию глядит отрок. За всех и плачет!

Алексей Михайлович, краснощекий от ходьбы, от бодрого воздуха, от молодости, повел рукой, и ему тотчас вложили в руку кошель с деньгами.

— Помолитесь, старцы, за упокой души моей матушки, а вашей царицы, за Евдокию. Молитва увечных да скорбящих скорее до господа дойдет, ибо господь всегда с вами!

Щедрой рукой насыпал серебряных чешуек — денежек — в шапку старца Харитона.

— А это тебе, отрок. За слезы твои.— И дал Саввушке ефимок. Пошел было, но обернулся:— Как зовут, поводырь?

Савве бы на колени пасть, а он, наоборот, вскочил:

— Саввой!

— Береги, Савва, мое подаяние, а коли кто отнять посмеет, приходи ко мне — господь даст, найдем на отымальщика управу.

— Ладно!— закивал головой Саввушка.

Старец Харитон прошипел что-то, но в следующий миг взвился ангельским голосом: «Господи, помилуй!»

— Господи, помилуй!— запели слепцы, разойдясь на голоса.

Царь, удивленный красотою неслыханного пения— привык к унисону,— опять остановился:

— Где так петь учились?

— В Малороссии.

— Если к Троице идете, сыщите меня. Послушать вас хочу.

Царь пошел своей дорогой, а слепцы, поднявшись с земли, пели ему вослед. Лес перекатывал дивное эхо. Царь на ходу руками утирал хлынувшие слезы — легкие, обильные, вымывающие из души камень горя.

4

Как помер царь Михаил, дня не было, чтоб дом боярина Бориса Ивановича Морозова — без гостей.

Приезжали помянуть царя и царицу, привозили хозяину дома подношения: серебряные кубки, братины, шубы — собольи, рысьи, беличьи; сабли и ружья с чеканкой, в каменьях дорогих, расшитые жемчугом пелены, кресты и зеркала. Гостя за дверь не выставишь. От скорби немочный — пошатывало,— Борис Иванович принимал всех, и подарки тоже принимал.

Наконец-то пробились к нему и родственники, Леонтий Стефанович Плещеев и Петр Тихонович Траханиотов. Петр Тихонович приходился Борису Ивановичу шурином, а Леонтий Стефанович был шурином Петра Тихоновича.

— По бедности нашей двумя дворами один подарок едва осилили,— пожаловался Петр Тихонович, поднося с поклоном Борису Ивановичу святое Евангелие в золотом окладе с изумрудами.

Глаза Бориса Ивановича сверкнули ответной лаской. Такой оклад двух деревенек стоит. Ничего не сказал, подарок принял, поставил под образа, положил гостям руки свои маленькие, мягонькие на плечи, усадил за стол и перестал быть болящим.

— Поговорим, ребятки. Есть о чем поговорить.

Хлопнул в ладоши, велел подавать пироги. Сел в красном углу, локти на стол, подпер голову ладонями и как бы ухо выставил. Гости поняли: говорить будут они. И заговорили.

— О великомудрый отец наш, Борис Иванович, на тебя все наши упования! К тебе идем, как идут на свет ночные мотыльки!— так запел Леонтий Плещеев. Моро-

зов не расцвел, но и не поморщился, слушал, чуть набычив круглую большую голову, бритую, в бархатной ермолке.— Отец наш, Борис Иванович, ты можешь нас выгнать из дому, но мы пришли сказать тебе правду истинную. Не только мы, вконец обнищавшие московские дворяне,— вся святая Русь глядит на тебя с надеждой и ждет от тебя деяний великих и крутых. Коли ты велишь нас всех кнутами перестегать, перетерпим. Лишь бы Россия была спасена от грабежа, самоуправства и глупости.

В лице Морозова никакой перемены, но ведь слушает.

— О господин наш, отец и учитель,— подхватил песню Петр Тихонович.— Может, мы по незнатности своей, по дикости, вдали от царского престола, мыслим дурно и ничтожно — тогда прости, просвети и наставь на путь! Но ведь, отец наш, попустительством сильных властей гибнут города, земля приходит в запустение. Нищие порождают нищих, но в наши дни уже и дворяне плодят не дворян, а опять же нищих.

— За взятку в судах могут засудить самого господа бога, прости меня, всевышний, за святотатство, но это так!— воскликнул Плещеев.— Святые монастыри скупают лучшие земли. Городской посад разорен вконец. Люди, несущие тяжесть податей, закладывают себя патриарху, боярам Шереметевым, Стрешневым, лишь бы освободиться от тягла. И вот, глядишь, уже не сто дворов, а пятьдесят несут непосильный груз поборов и всяких общинных и государственных служб. А тяглецы все бегут! Чего дожидаться? Или близкие к царю Михаилу люди позабыли годы Смуты?

Морозов молчал.

— Есть одно средство от безудержного бунта черни,— сказал Плещеев.— Родовитейшие должны поделиться властью с дворянами.

— Посад нужно укрепить,— провозгласил Траханиотов.— Всякий бунт, как уголек в печи под золой, в посаде таится. Надо людям передых дать. Устроить по-доброму посад — совершить для всей России благодеяние. И казна будет полна, и люди будут сыты, одеты и довольны. Пока же у нас довольны девятнадцать родов, кои получают боярство, минуя чин окольничего.

— Покушаем пирогов,— предложил Морозов и стал расхваливать своего повара. Хвалил до конца трапезы, до проводов гостей.

— Каков повар — таково и блюдо,— сказал родст-

венникам на прощанье,— однако без приправ и повар бессилен. Была бы приправа по вкусу.

Велел слуге завернуть пирогов гостям, а сам пошел одеваться в праздничное платье: в Кремль ехать.

В Кремле пошел в Благовещенскую церковь, к протопопу Стефану Вонифатьевичу.

— Что же ты, отче, в Москве?— удивился боярин.— Твой духовный сын перед венчанием на царство оставлен без мудрой поддержки духовного отца!

— Оттого и в Москве, что готовимся к венчанию!— ответил Стефан Вонифатьевич.— С государем в дружках идет чистый помыслами отрок, сын Михаила Алексеевича Ртищева Федор Ртищев.

— Поезжай, отец, к Троице. Молодой царь должен в духовнике своем друга зреть. Пока большая мутная вода весны царствования не опала, надо быть рядом с царем. Он это оценит если не теперь, по молодости, то позже.

Через час протопоп был уже в дороге, а Морозов — в кремлевской башне пыток.

Возле входа Борис Иванович встретился с князем Шаховским. За спиной князя, как ангелы-хранители,— стрельцы.

— Здравствуй, князь Семен Иванович!— поздоровался Морозов и первым нагнул голову под низкие каменные своды.

— Здравствуй, боярин Борис Иванович!— уже в каменной башне ответил на приветствие Шаховской.

— Садись!— кивнул Морозов на лавку и сам сел.

Палачи деловито раскаливали на огне инструменты.

— Лето, а холодно здесь у вас,— поежился боярин.

— Кому холодно, кому жарко,— возразил палач и поглядел на Шаховского.— С кого начинать будем?

— Бердышева-мурзу веди и бабу веди.

— Обоих сразу?

Морозов повторять приказаний не любил, поворотился к Шаховскому:

— Как хлеба-то у тебя, Семен Иванович?

Шаховской глядел на раскаленные добела щипцы.

— А?!

— Хлеба уродились, говорю?

— Хлеба?— Шаховской уставился на Морозова.— Какие хлеба? Какие еще хлеба?!

— Вотчинные... У меня в Мордовии все погорело.

— Не помню,— сказал Шаховской, — ничего про хлеба не помню.

— В московских селах нынешний год благодатный. А дыни какие вымахали! Ты сажаешь дыни?

— Дыни?!— Шаховской вдруг икнул.

— Кваску принеси нам!— крикнул Морозов стрельцу.

Палачи ввели несчастных. Посадили на лавку. Морозов, слушая, как стучат у Шаховского зубы о край квасного ковшика, повздыхал, перекрестился.

— Служилый человек, мурза Бердышев, говорил ли ты такие слова?!— вдруг закричал он пронзительно. Ковшик у Шаховского выпал из рук, квас пролился, ковшик закрутился на каменном полу.— Говорил ли ты: «Посадить бы на государство королевича датского! Не быть бы Алексею Михайловичу на царстве, когда б не Морозов»?

Палачи вытолкали и поставили перед Морозовым маленького, исполосанного кнутами татарина; тот заранее закусил губы, ожидая побоев.

— Плети ему были,— сказал старший палач.— Огнем его теперь надо.

Подручные тотчас схватили мурзу, связали руки-ноги, кинули на пол, огненное крокодилье рыльце щипцов вцепилось в ребро.

Визг, судороги, вонь сгоревшего мяса, ведро ледяной воды на голову.

— Говорил ли ты...— начал спрашивать Морозов.

— Говорил! Ради истины говорил! Московский царевич — подметный. Подметный Алексей! Подметный!

— Еще ему!— Морозов тронул Шаховского за колено.— Вот ведь сами просят!

Опять вой, паленое мясо. И стук головы о каменный пол. Утащили мурзу в подвал, чтоб отлежался.

— Ну, а ты что говорила? — повернулся Морозов к бабе, вцепившейся от ужаса в лавку ногами-руками, пустившей лужу под себя.

— Батюшка, только не жги! За другими повторяла! Слово в слово — за другими.

— Что же ты говорила?

— А говорила: «Глупые-де мужики, которые быков припущают к коровам от молоду, и-де коровы рожают быков. А как-де бы припущали на исходе, ино рожали все телицы. Государь-царь Михаил женился на исходе, и государыня-царица рожала ему царевны, как бы-де государь-царь женился об молоду, и государыня-де бы царица рожала все царевичи. Царь Михаил хотел по-

стричь царицу Евдокию Лукьяновну в черницы. Тут она велела подложить себе в постелю мальчика. И царевич Алексей подметный, стало быть».

— Плети ей были,— сказал палач,— двенадцать плетей.

— Для вразумления еще двенадцать.

Опоясывающий удар кнута сорвал бабу с лавки на пол. Палач бил, словно хотел рассечь тело пополам.

— Потише!— поморщился Морозов.

Бабу утащили очухиваться.

Пот заливал белое лицо князя Шаховского. С висков текло по бритым щекам, из глазниц бежали ручейки на усы, с усов по шее, капало с кончика носа, даже с мочек ушей капало.

— Не приведи, господи! — почти прошептал Морозов.— Ведь как бьют! Боже ты мой, как бьют! И не скажешь палачу — умерь ярость. Палач государеву службу служит.

Шаховской закрыл глаза.

— Борис Иваныч, ты не гляди, что от страха я мокрый весь. Самому гадко. Как мышь мокрый. Только ведь, Борис Иваныч, я князь. Я княжеского звания на пытке не уроню!

— Семен Иванович, о каких пытках ты говоришь?— изумился Морозов.— Не враг же ты государю, чтоб от него таиться? Скажи, будь любезен, отчего ты так прилепился сердцем к датскому королевичу, зачем добра ему хотел, какой корысти ради?

Шаховской обмяк, привалился спиной к холодной стене.

— Все, что я скажу, Борис Иванович, ты и сам знаешь. Прилепился я к Вальдемару не ради какой корысти, а по повелению царя Михаила.

— Врешь, Семка!— вдарил ладонью по лавке Морозов.

— Не вру. А то, что по сердцу была мне эта служба, не скрою. По нраву мне заморская ихняя жизнь. Царь Михаил перед самой смертью умыслил оставить королевича Вальдемара в Москве без перекрещения.

— Писарь, ты записал?

В темном углу зашевелилось.

— Записал, боярин.

— От пытки ты себя избавил, князь Семен.— Морозов встал с лавки.— Однако ж показания твои еретические. Оболгал ты покойного царя, князь Семен. За то

тебя к сожжению приговорят, да царь у нас милосерден, не допустит злой казни.

И, не отдавая никаких приказаний, Морозов выскочил из башни вон — торопился к другим делам.

5

На последнем стану перед лаврой Алексей Михайлович до того наплакался, стоя перед иконами, что стало ему тесно в доме, да так тесно, впору бы и закричать. А все уже ко сну готово: расстелены пуховики, рынды у дверей, еще один важный дворянин под окошком — почивайте спокойно, государь. Посидел Алексей Михайлович на лавке возле окошка, поерзал да и говорит молодому Ртищеву:

— Душно!.. И лето уже на исходе. Посидеть бы у костра, на звезды поглядеть, а мои матушка с батюшкой со звезд на нас поглядят.

От печальных слов у Феди Ртищева задрожала роса на длинных ресничках.

— Ты скажи им!— Алексей покраснел: самому приказать — все равно что нож за лезвие голой рукой схватить.— Ты уж, пожалуйста, сам все скажи.

Ртищев вышел, и тотчас за дверью раздался его негромкий, такой преспокойный, домашний голос, что никто не посмел возразить бесчиновному другу безусого царя.

— Его царскому величеству угодно,— сказал Федя Ртищев,— чтобы разложили костер. За деревней, на сухом, добром месте. А возле костра чтоб постелили постель и поставили бы еду, да чтоб поблизости никого не было.

Алексею Михайловичу понравились слова Ртищева. Но пуще всего — догадливость. Дорожный друг затаенное желание учуял: одному хотелось побыть Алексею.

Костерок горел небольшой — как раз для двух людей. Сидели на огромной медвежьей шкуре. Над корчагой курился парок, от одного запаха слюнки текли. Возле корчаги — две ложки.

Алексей за ложку, а Федя Ртищев скорей его зачерпнул да, чтоб царя опередить, не подул даже. Съел — не умер, ложку отложил.

Алексей с края зачерпнул, подул, губами попробовал, качнул ложку туда-сюда, чтоб скорее остудилось. Отведал, потом уж наконец съел.

— Вкусно! А ты чего ж отложил ложку?

— После тебя, государь, поем.
— Чего после? Вместе веселей.
Хлебали, вдыхая до тихого кружения в голове запах дыма, запах холодной осенней травы, горьковатую сладость отживающих листьев.
Вскрикивали ночные птицы.
В дальнем болоте, за лесом, вдруг страшно хлюпнуло, и тотчас закатился смехом неунывающий дядя филин.
Ртищев вздрогнул, Алексей улыбнулся.
— А я, грешен, люблю ночной лес. Страха перед ним не ведаю. Ночной лес — диво. Каждый шорох неспроста. Слыхал, как на болоте-то? То ли водяной вылез, то ли лошадь засосало трясиной. А какая жуть, когда на болоте огоньки голубые бродят!
— Государь, неужто ты на болоте ночью был?
— Не один, с охотниками. О-о! Я бы все лето с болота не уходил. Комаров не терплю, но какая же на болотах тишина бывает! Вода непроглядная. Цветы все неподступные, трясиной, как заклятьем, отгораживаются. Стрекозы летают красоты ласковой. А потянись поймать — с головой ухнешь, над самой зыбью мерцают.
Алексей замолчал. Слушал ночь, шевелил еловой лапой огонь. Долго прослеживал улетающие в небо искры.
— Пойду пока?— осторожно предложил Ртищев.— Помолюсь.
Алексей благодарно улыбнулся.
— Пойди. Помолись. А спать лягу — приходи. Вместе спать будем.
Федор Ртищев был сыном стряпчего с ключом Михаила Алексеевича Ртищева. Род свой Ртищевы вели от Османа-Челеби-мурзы. Мурза выехал из Орды при Дмитрии Донском, крестился, поступил на службу к московскому князю, получил поместья. У него было пятеро сыновей: Арсений, Федор, Павел, Яков Ждан и Лев Широкий Рот. Каждый из сыновей стал родоначальником дворянского гнезда. От них пошли Арсеньевы, Павловы, Сомовы, Кремницкие, Ждановы, Яковцевы. Лев Широкий Рот — родоначальник Ртищевых. Были они лихвинскими городовыми дворянами, породнились с Соковниными, пошли в гору. В 1629 году Михаил Алексеевич Ртищев занесен в списки московских дворян с поместным окладом в 600 четвертей (900 десятин) земли в трех полях, и денежного жалованья дадено ему 14 рублей. В 1640 году стряпчий с ключом Михаил Ртищев имел уже 1000 четвертей земли и 120 рублей деньгами.

Федор Михайлович родился в 1625 году, в апреле. Маленьким мальчиком лишился матери, отец всегда на царских службах. Стали его друзьями, утешителями и наставниками книги: жития святых, Евангелие, Библия...

Он и теперь, оставив царя, пошел в светелку и при свечах читал жития киево-печерских преподобных. Дивился Ртищев великой святой силе малороссийских угодников. И, прочитав сказания, плакал перед иконами, моля святых послать ему крепость одолеть мирские соблазны.

Царь Алексей тоже пребывал в молитве. Вечерняя молитва была для него как утреннее умывание. Не умоешься — на ходу спать будешь целый день, не помолишься на ночь — промаешься без сна до полночи. Глядел государь на звезды, все ждал — не будет ли ему даден знак от матушки, от батюшки.

Звезды многоярусным шатром стояли на безмерно высоких небесах, и всякий взирающий был перед ними как на духу.

Костер прогорел, кто-то из слуг подошел, подкинул дров.

Алексей ничего не сказал человеку, хотя яркий огонь мешал ему. Много ли в молитве проку, когда весь ты на виду. Хотел отойти в темь, но передумал. Господи, да пусть глядят слуги! Пусть знают, как молится за их же счастье молодой царь. Такое знание о царях царям не вредит.

Долго ждал Федор Ртищев окончания молитвы Алексея. А когда решился подойти, царь обнял его, поставил рядом с собой, и молились они в ту ночь до зари.

В Троицкую лавру Алексей и Федор пришли неразливными друзьями.

Встречали царя колокольным звоном, вся братия монастырская вышла ему навстречу. Среди встречающих был и Стефан Вонифатьевич, протопоп кремлевского Благовещенского собора.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Благовещенский протопоп Стефан Вонифатьевич шел с царем Алексеем и с товарищем его, молодым Ртищевым, к заутрене. Начиналась неделя молитвенного усердного труда. Шел Стефан Вонифатьевич весь в себе, не видя благолепия церквей, земной осенней красы, боя-

рынь с кралями девками, прикатившими в лавру поглядеть на молодого неженатого царя, но прозрел вдруг перед старичком уродцем. Сидел старичок на нижней ступени паперти, никак не мог лапти обуть, вывернутые руки до ног не доставали.

Протопоп кремлевской церкви встал вдруг перед уродцем на колени, обул его и поцеловал братским христовым поцелуем.

— Благодарю тебя, господи!— воскликнул царь Алексей, глядя на деяние протопопа.— Благодарю тебя, господи, что в церкви моей такие пастыри, великомудрые и паче того смиренные.

— Великий государь,— заплакал протопоп,— не хвали ты меня, бога ради! Смирение должно прорастать в человеке так же естественно, как растут его власы. Если же оно прорастает от ума, в надежде на похвалу вельможи или в назидание, а того хуже — в порицание гордому, то золото благодеяния тотчас покроется медной прозеленью.

Сурово звучали слова протопопа, но Алексей приник к нему, и оба они поплакали, и Федя Ртищев плакал на коленях, лобызая ступени святого храма.

По окончании службы царь прикладывался к иконам. Долго стоял перед «Троицей» святого отца живописного мастера Андрея Рублева. За великую радость и красоту икон своих удостоился Рублев святости, было это дорого Алексею, ибо видел, за что человек свят.

— Господи! — молился Алексей.— Ниспошли на дни царства моего тишину. Избавь от войны, мора, глада и злобы. О господи, верую и вверяюсь силам твоим. Святые отцы, Сергий и Андрей, заступитесь за меня, грешного, перед светлым престолом.

Обедал государь в тот день в общей трапезной с монахами и странниками.

2

Лес вприсядку пошел, колеса на каждой кочке лётом летят, да только и дрожки тяжелы коням.

Возница-монах поворотился к игумену, прокричал:

— Отче, лошадям передохнуть нужно!

— Гони!

— Шибче не пойдут! Они ж кони, не птицы.

Игумен потянулся, вырвал у монаха вожжи, поднялся на ноги, хлипкие дрожки заерзали в пыли.

— Кнут!

Выхватил протянутый робко кнут, раскрутил, ожег правую — скакнула, ожег левую — распласталась над землей.

— Г-и-и-и-и!— как шакал завыл, кнутом хлещет без роздыху, дрожки сами собой в скок пошли, и гнутся, и валятся. Монах голову руками обхватил и заплакал от страха.— Ги-и-и-и!

И только хлесть, хлесть. Шкура клочьями с лошадей летит. И вдруг тише, тише. Встали. Легли, захрипели, дрыгая предсмертно ногами.

— Держи!— игумен кинул монаху кнут.— Сбрую и дрожки продай и возвращайся на монастырское подворье.

Не оглядываясь, пошел по дороге.

— Отец Никон! Отче! — крикнул, опамятовавшись, монах, пускаясь бегом за игуменом.— Кому же я тут дрожки продам?

Никон, не замедляя шага, глянул на бегущего сбоку монаха, глянул и отвернулся. Монах тотчас и стал, послабело в ногах.

3

В деревянных царских хоромах, построенных в лавре Михаилом Федоровичем на месте дворца Ивана Грозного, было просторно и горестно. Где бы ни притулился Алексей, ему чудился запах отца. Любимый запах отцовских рук. Руки отца всегда были чистые и холодные. Пахло от них анисом, мятой — осенними яблоками. Даже по весне. От отца никогда не пахло пóтом, пылью, лошадьми, даже ладаном и свечами не пахло.

В саду среди пожухлых листьев, как праздничные фонарики, налитые светом изнутри, сидели на ветках никем не тронутые, созревшие яблоки.

«Надо бы велеть, чтоб сняли,— думал о яблоках Алексей.— Ртищеву надо б сказать, чтоб он сказал...»

В носу у государя хлюпало от частых плачей. Совсем в лавре расклеился, разжалобился. Его все теперь называли царем, хотя на царство он должен был венчаться после Собора. Отца Собор позвал в цари, и сына должен назвать царем Собор. Морозов хлопочет. Все и так уже присягнули, а Собор скликают.

Царь-расцарь — и никто сиротой не назовет, не пожалеет.

Троице-Сергиева лавра принимала Алексея как государя, без всяких оговорок. Службы шли торжественные, полные, без пропусков и сокращений, тяжелые службы.

К тому обязывали пребывание царя и славное трехсотлетие.

В 1345 году преподобный Сергий Радонежский да брат его родной срубили на горе Маковец келью для жилья и церковку малу для молитвы. Посвятил Сергий церковь святой Троице. Через сто лет свершилось открытие мощей преподобного — первых мощей первого святого московской земли. В похвалу Сергию на месте деревянного был поставлен каменный Троицкий собор, а расписывали его Андрей Рублев и Даниил Черный с братией. В эти годы, на склоне лет своих, Андрей Рублев, возликовав душою, написал для иконостаса святую «Троицу».

Был монастырь сей отменным воином. Бился он с татарами, горел дотла. Здесь получил благословение на битву с Мамаем московский князь Дмитрий. Здесь, под стенами Троицы, повяла воинская доблесть рыцарей Речи Посполитой. Шестнадцать месяцев полки Сапеги и Лисовского ломились в монастырь. Лбы зашибли, и только. Преградили путь им железо, мужество и крепкие стены. Через десять лет королевич Владислав тоже пытал счастья. Да встретили его не колоколами, а страшным огненным боем. Королевича та гроза наставила на ум, и подмахнул он в монастырском селе Деулине мирный договор.

Батюшка, царь Михаил Федорович, любил Троицу, а любя, строил. Церкви, хоромы, сады. Деревянные кровли при нем заменили каменными сводами, купола перекрыли белым немецким железом, кресты вызолотили.

Радел батюшка царь Михаил Федорович о доме бога, а бог не дал ему долгих дней. Кого любит — того и прибирает.

Алексей, сидя возле открытого в сад окошка, горе свое как злую кошку ласкал: ее гладят, а она когтями дерет.

Набравшись храбрости, пришел к царю протопоп Стефан Вонифатьевич. Был протопоп ладен собой, черный, лицом строгий, а глазами добр. Поглядит — приветит.

Алексею и хотелось, чтоб его пожалели, и боялся жалости, боялся не те слова услышать, фальшивых слов боялся.

Стефан Вонифатьевич на порог, а царь, опережая протопопа, наказ ему:

— Как я сюда шел, дивное пение слыхал. Слепцы пели, по-малоросски на голоса расходились. Ты разыщи

их, они в лавру шли. Такое пение — великое украшение службы.

— О государь наш, цветочек наш!— Протопоп Стефан опустился на колени.— Прости мои слезы. Молод ты, как вишенка в цвету, горе твое — горше не бывает, а о нас, сирых, думаешь... О красоте церкви христовой печешься... Дозволь, государь, руку твою поцеловать.

Алексей подошел к протопопу, поднял с колен и сказал ему:

— Поцелуй меня, отец святой, в лоб, как батюшка целовал. Будь мне отцом духовным.

Алексей прикипал к людям сердцем сразу и надолго. Протопоп Стефан, обувший на паперти урода, сумевший пожалеть, не растравляя боли, покорил Алексея, как и Федя Ртищев, как малороссское церковное пение.

4

Перед сном Федя Ртищев, который, как заправский постельничий, осматривал приготовленную царю постель и ложился спать в той же комнате, у двери, нашептал Алексею на сон грядущий:

— Государь, нашел я место для истинно божеской милостыни... За монастырским селом, верстах в трех,— починок. Там мужика громом убило, а медведь лошадь задрал. Семеро сирот, мал мала, вдова топиться бегала, да вытащили.

— О господи!— воскликнул государь.— Одним людям Новый год — радость и ожидание новых радостей, а другим горе и горе.

— В молитвах и позабылось, что завтра первое сентября — Новый год! — удивился Ртищев.

— После молебна сразу и пойдем в починок,— сказал царь.— Сотворить завтра милостыню — многих угодников порадовать. Праздники все знаешь?

— На первое сентября,— начал вспоминать Ртищев святых, загибая пальцы.— Восемь получается.

— А забыл-таки один!— воскликнул Алексей, радуясь тому, что молодой Ртищев — великий знаток церковных дел, и тому, что сам-то он, царь Алексей, знаток больший.— Забыл-таки...

— Какой же?— Ртищев быстро перебрал в памяти святых.— Может, не сказал, что первое сентября — начало индикту, еже есть новому лету.

— Запамятовал Марфу, матерь Симеона-столпника,—

подсказал Алексей.— Давай поспим, Федя. Завтра, чует сердце, господь пошлет нам трудный, но благостный день.

В обыкновенных монашеских рясах, с посохами, с котомками, в лаптях, юркнули за монастырские ворота, степенно дошагали до леса, а по лесу бегом, хохоча, упиваясь игрой в переодевание, волей, молодостью. Они наперебой передразнивали монастырского воротника, который благословил их в дорогу.

— «Чьи?» — спрашивает!— хохотал Алексей.

— А я ему: «Иноки Кожеозерского монастыря!» — покатывался Ртищев.

— А почему Кожеозерского?

— Сказалось.

— Ох-ха-ха-ха!— заливаясь, Алексей прыгнул в зеленый мох, повернулся на спину, поглядел, как сосны покачивают головами высоко-высоко над землей, и перестал смеяться.

Они пошли тропинкой, плутавшей в папортниках, и вскоре услышали многоголосый недобрый шум.

— Не погоня ли? — остановился Алексей.

— Нет,— сказал Ртищев,— это в монастырском селе.

Они ускорили шаги, но двигались молча, ступали мимо сучков. Ртищев, шедший впереди, поднял руку и остановился. Алексей глядел из-за его плеча. Монастырское село гуляло, выставив столы на улицу.

— Новый год справляют,— громко, не таясь, сказал Ртищев.— Обойдем его стороной?

Алексей сжал ему рукой плечо.

— Погоди!

Посреди деревни из обычных снопов был сложен и связан огромный сноп, с избу. Из этого снопа посыпались вдруг людишки с харями, у кого лошадиная, а у кого и с рогами. Засвистели людишки в дудки, ударили в бубны. Медведь выскочил на задних лапах. Подбежал к столу, лапу тянет. Мужики смеются, а скоморох из кружки вино посасывает и медведя поддразнивает. Тут медведь схватил бабу скоморошью, задрал ей подол до головы и бегает по кругу. Потом уронил бабу и опять к столу. Мужики на баб своих покосились, поднесли медведю не то что кружку — бадью. Медведь прильнул, осушил, Напялил бадью на башку, сел и башкой крутит, довольный-предовольный. Пустились скоморохи ска-

кать, зады голые выставлять и всякое безобразие творить. Из грудей женских, фальшивых, молоко струей пускали, девок своих через голову кидали.

Смотрел Алексей на гулянье не шелохнувшись, и еще бы смотрел, да Федя Ртищев потянул его за собой и увел.

Шел Алексей за Федей Ртищевым да вдруг схватил его, повернул к себе и стал кричать ему в лицо, трясти и слюной брызгать:

— Да где же молитвами дойти до господа, когда в монастырском селе стыда не понимают? Перебить всех! Всех перебить — одно спасенье!

Накричался и опять пошел следом, задумчивый, безвольный.

— Вот и починок,— сказал Ртищев.

5

Починок был в три избы. Федя указал на крайнюю, ближнюю к ним.

Изба как изба. Зашли. Черно, блестит на потолке и стенах сажа. Детишки голые по полу ползают, а какие побольше — за столом. Корчага посреди стола с пареной репой. Едят едоки репу, водой запивают, а на хлеб только глядят. Четверть краюхи посреди стола лежит — на закуску.

Карапуз к Алексею подполз, за ногу схватился, встал, да шлеп на попу, звонко. И глядит. Дети не засмеялись, есть перестали. Женщина из-за печи выглянула.

— Чего вам, странники? Нету у нас ничего. Одна репа, садитесь, коли голоднее нас.

Ртищева передернуло, а Алексей подошел к лавке, помолился на иконку, сел, взял репу. Пожевал. Ртищеву деваться некуда, тоже за репу принялся. Ребятишки от стола откачнулись, уступили еду святым странникам, но глядят исподлобья, глазенки голодные. Карапуз вдруг припустился к столу, забрался на лавку, голым задом проерзал до корчаги, схватил репку — и назад.

— Спасибо за угощение!— Алексей встал, опять помолился.

Развязал котомку, и Федя свою развязал. Положили они на стол хлеба, сала, бочоночек меду и пошли вон под звучное урчание пустых детских животов.

А в монастыре царь спохватился вдруг: не та милостыня.

— Возьми денег,— сказал Ртищеву,— пошли вдове на лошадь и на две коровы. Да проверь, сполна ли донесли деньги.

6

На вечерне, во время чтения Евангелия, как бы дохнуло ветром, свечи затрещали, огоньки качнулись и пришли в трепет. Алексей Михайлович, сидевший на своем царском месте, удивился и оглянулся.

Подметая пол свободной черной рясой, к алтарю стремительно шел высокий, чернобородый, с черным огнем в глазах, незнакомый Алексею игумен. В сторону царя даже не покосился. Упал перед алтарем на колени, задрожал огромным телом, удерживая рыдания, и стал бить истовые поклоны.

От стремительных движений с монашеской одежды летела дорожная пыль. Свечи золотили пыль, и было Алексею удивительно.

— Это игумен Кожеозерского монастыря Никон!— шепнул царю стоявший возле его места Стефан Вонифатьевич.— Великий молитвенник, не знающий пощады ни к себе, ни к братии. Очень строг!

После службы царь пошел прикладываться к иконам, и тут, раздвинув вельмож, светских и духовных, к нему подошел стремительный игумен. Встал перед государем на колени.

— Царь и великий князь, заступник нам перед всевышним! Не ради своей нужды прошел я долгий путь, чтобы пасть к твоим ногам. Заступись, великий государь, за несчастную вдову Пелагею. Некий вельможа велел перепахать ее поле и оставил без хлеба насущного. Ныне тот вельможа осадил дом Пелагеи, домогаясь взять силой в наложницы ее красавицу дочь. Восстань, великий государь, против российских басурманов! Молю тебя слезно!

— Поднимись!— попросил Алексей.

Никон упрямо замотал головой.

— Обещай, государь, заступиться за вдову!

— Федя,— обратился Алексей к Ртищеву,— немедля пошли стрельцов, куда укажет игумен Никон, заступник за вдов и сирот. А ты, игумен, приходи ко мне на Верх. И теперь, и в Москве.

Никон вскочил на ноги, и сразу люди вокруг помельчали. Поклонился. Иерархи, стоявшие за спиной царя, зашептались осудительно, а Никон, не слыша ни-

чего, отошел к иконе своего покровителя — святого Никона и опять молился и бил несчетные поклоны.

7

Молодой Ртищев, помня наказ царя послать в починок царскую милостыню, обратился к игумену Троице-Сергиева монастыря, чтоб тот указал человека скромного и честного.

— Возьмите для царского дела служку моего Втора,— посоветовал игумен.— Втор кротостью подобен овену. Он — не чернец, дальний мне родственник, сирота. Грамоте обучен. Я его взял бумаги мои разбирать.

И вправду паренек оказался тихим, от каждого обращенного к нему слова заливался краской. Глаза опущены. Ресницы девичьи. Да и лицом как дева. Кожа тонкая, нежная, губы румяные, волосы шелковые, русые.

Дал Ртищев Втору деньги, велел купить лошадь добрую, двух дойных коров и отвести в починок.

Дня через два у Ртищева выдался свободный час — государю показывали сокровищницу,— поскакал Ртищев в починок, другой наказ царя исполнить.

Вдова его узнала, к ручке кинулась. За овечек благодарила. И впрямь — в загоне стояли три овцы. Ртищев подарил вдове алтын, на коня — и в лавру.

Игумен узнал про деяние родственничка, побелел. Сам отогнал вдове из монастырского скота двух лошадей и трех коров. Тихого Втора на скотном дворе высекли, поставили на дорогу и дали пинка.

Ртищев игумену обещал царю о мерзком деле не рассказывать и не рассказал. Царь от печалей своих отходить помаленьку начал, чего зря тревожить?

Государь забавлялся пением слепцов, которых привел в лавру поводырь Саввушка.

— Какая сладость неизреченная!— воскликнул государь.— Ах, завести бы во всех церквах русских такое дивное пение!

— Заведем, великий государь!— обещал протопоп Стефан Вонифатьевич.

— Неужто по всей земле нашей так ангельски запоют? Не верится?

— Государь,— молодой Ртищев знал, когда вступить в разговор,— прости меня великодушно, но, видя радость твою и сам оттого пребывая в радости, послал я

в Малороссию от себя за певцами и за учителями. Господь даст, будет у нас церковь Христова краше прежнего.

Стефан Вонифатьевич отправил слепцов в Москву, в свою церковь, государь собирался в обратный путь, да и нашлось у него новое приятное и полезное дело: вел беседы с игуменом Кожеозерского монастыря, подвижником Никоном.

Никону было сорок лет, самое время или крест на себе поставить, или, коль жажда жжет, схватить бычка, имя которому — Власть, за ноги и влачиться, покуда вытянет или растопчет.

— Государь,— говорил Никон, запустив пятерню в густую, росшую сосульками бороду,— ты и без нас ведаешь: людишки твои, забыв божий страх, предаются мерзостным увеселениям, монахи ищут роскоши, попы не знают грамоты и несут с алтарей такую дичь, что волосы встают дыбом. Спасать нужно мир от соблазнов! Спаси его, государь!

— Но что же я могу? — разводил беспомощно руками напуганный Алексей.

— Государь! Церковь Христова, вооружась именем господа, одолела идолов римских и славянских. Привести дом в порядок — не заново строить, одним веником справимся.

— Ты прошлый раз говорил, мало святых у нас, своих, русских.

— Мало, государь! Мало!.. А почему бы, наприклад, мощи московского митрополита Филиппа, погибшего от руки исчадия Малюты Скуратова, не возвеличить? Государь, я бы сам за теми мощами пешком пошел и на себе принес. Мощи Филиппа московского ныне на Соловках. Много исцелений и чудес от них молящимся.

— За какую провинность Малюта Скуратов убил святого отца?— Алексей спросил, а глазами в пол: ему стыдно за великого царя. Странная память в народе о кровавом неистовстве Ивана Грозного, но отец, царь Михаил, держался за тонкую ниточку родства и сыну завещал напоминать при случае о великом родиче.

Иван Грозный первым браком был женат на дочери окольничего Романа Юрьевича Захарьина, Анастасии. За тринадцать лет жизни с нею у Ивана родилось шестеро детей; царевны Анна, Мария, Евдокия умерли во младенчестве, нелепо утонул по дороге из Кириллова монастыря шестимесячный первенец Дмитрий. Царевич Иван был смертельно ранен отцом, выжил последний ребенок,

хилый Федор. Царь Михаил был сыном Федора Никитовича Романова, племянника Анастасии.

— О государь!— воскликнул Никон, готовясь отвечать на трудный вопрос.— Потомкам ли судить пращуров? Но грехи пращуров отмаливать потомкам. Великий твой прадед Иван Четвертый призвал Филиппа из Соловецкого монастыря, где Филипп устроил каменные соборы, келии, соединил каналами озера, построил гавань и ладьи. Филипп, придя в Москву, был истинным пастырем овец Христовых. Но он не пожелал благословить опричнину. Когда царь явился в Успенский собор с опричниками, митрополит не заметил царя. Кто-то из опричников закричал на него: «Владыко! Государь перед тобой. Благослови его!» На это митрополит Филипп ответил: «Государь, кому подражаешь, облекшись в такую одежду?» А царь ходил в те дни в монашеской рясе. «Ни в одеждах, ни в делах не видно царя!— воскликнул Филипп.— У татар и язычников есть закон и правда, а в России нет правды... Мы здесь приносим бескровную жертву, а за алтарем льется невинная кровь христианская». Так сказал митрополит царю. «Теперь вы у меня взвоете!» — затопал в ярости ногами царь Иван и низверг Филиппа с его престола. Самого не убил, отправил в Тверь, в монастырь, но убил десятерых Колычевых и поднес в подарок Филиппу голову любимого племянника.

Никон замолчал, перекрестился, зашептал молитвы.

Было поздно. За окошком, как больной зуб, ныл ветер. Хорошая погода кончилась утром. Дождь ворочается за стенами, словно живой, шуршит, шипит. Бьются друг о друга голые сучья яблонь. Стучат, бедные, как нищенки, просятся от непогоды в тепло.

Алексей оправил пальцами свечу. О больших делах он любил говорить при одной свече.

— Я знаю,— сказал он,— прадед мой грешен, я молюсь за спасение души его.

— Нужно восстановить справедливость!— Глаза у Никона засверкали.— Нужно вернуть митрополита Филиппа на его законный престол. Нужно его мощи перевезти в Москву.

— Спасибо тебе, святой отец, за доброе мудрое слово!— Глаза Алексея тоже светились.— О господи, будет ли прощено царю Ивану за его кровопролитие! Но ты не сказал, почему убил Малюта святого отца?

— Царь Иван покарал гневом Новгород Великий. Новгородского митрополита он приказал женить на ко-

быле, детей привязывали к матерям и бросали в воду с башен. Царь Иван убивал тысячу человек в день... Потом он опомнился и послал Малюту к Филиппу, чтоб тот дал царю благословение. Филипп не дал благословения, и яростный Малюта задушил его.

Алексей и Никон, затаившись, слушали, как трещит свеча.

Сидели не двигаясь, но их тени на стенах и потолке трепетали — страшные, дикие времена случались на Руси.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Владимирскому и Московскому государству и всем государствам Российского царства, всем городам, княжествам, землям и всем народам указано было 28 сентября, на память преподобного Харитона-исповедника, работы никакой не работать, дела никакого не промышлять, колодников отпустить на все четыре стороны, всем пить вино, гулять и славить царя. 28 сентября Алексей Михайлович Романов венчался на царство.

Торжества начались 27-го всенощной в соборной церкви Пресвятые богородицы, честного и славного ее успения. Служил всенощную патриарх, святейший Иосиф.

Назавтра в два часа дня Алексей Михайлович перешел из хором своих в Золотую палату и приказал созвать всех бояр, а воеводам и чинам быть в сенях в золотом платье.

Это и был Собор Морозова. Священство и весь синклит: бояре окольничьи, думные дворяне, дворяне московские и дворяне городовые и гости, приглашенные участвовать в венчании на царство, поставили подписи под бумагой, сочиненной Борисом Ивановичем, и это было «избранием» царя.

Проснулся в тот день Алексей — темно было. Не поднимаясь с постели, вспомнил по порядку весь чин венчания: тому нести животворящий крест, тому яблоко, повторил про себя речь, какую должен был сказать в соборе. Речь эта — как молитва, ни одного слова нельзя пропустить.

Лезли в голову сказки бахарей про хороших царей.

Господи! Всякий царь в мечтах видит, что у каждого

его холопа хоромы, скота полон двор, амбары с верхом, аж крыши трещат!.. Только в жизни другое: пожары, недород, мор, война... Где ж русским людям богатыми быть, земля скудная, пепел и пепел. Нет в земле ни золота, ни серебра. Чтоб своих денег начеканить, приходится покупать у заграничных королей монеты, а потом резать их, перебивать. Одна у русских надежда — на далеких сибирских соболей.

Так и лежал государь, мечась мыслями, вздремывая, покуда не явился постельничий — со спальниками и стряпчими. Оба Ртищевых, старый и молодой, тоже были здесь. У Михаила Алексеевича, у отца, должность стряпчего с ключом, у Федора Михайловича, у сына — стряпчего у крюка. Стряпчий с ключом — хранитель царской «стряпни»: постели, одеял, белья, одежды; стряпчий у крюка обязан царя одевать, обувать, омывать, чесать, ходить и ездить за государем, носить его шляпу, посох и прочую «стряпню».

Одевшись, умывшись, Алексей слушал заутреню в Крестовой палате. Потом вышел к столовому кушанью.

Велел подать постное. Боялся, как бы от мясной пищи живот на торжестве не схватило. Съел кусок черного хлеба с солью, поел соленых груздей, выпил пива с коричневым маслом, тем и доволен был.

До начала церемонии оставалось два часа, но Алексей лег подремать и даже заснул.

Одевали его в праздничное платье спешно, ошибаясь, мечась, и он успокаивал стряпчих:

— Успеется! Всей дороги — из хором в хоромы перейти.

Чуть припоздав к назначенному времени, Алексей, не по возрасту медлительно и чинно, прошествовал к царскому месту, стоявшему у стены, повернулся лицом к палате, пока еще пустой, и звонким мальчишеским петушком крикнул думному дьяку Ивану Гаврилёву:

— Созвать всех бояр, и воеводам быть в сенях в золотом платье!

Созывать никого не надо было, все уже собрались за дверьми. Спектакль начался.

Дьяк Гаврилёв широко растворил двери, и за дверьми тотчас колыхнулась сановная Россия. Колыхнулась, поплыла. Блестели седины черно-бурых шуб, драгоценнейшим темным золотом отливали соболя, вспыхивали, играли каменья — так снег горит под солнцем в мороз.

Бояре вошли и стали. Царь сел.

Дряхлому Иосифу-патриарху доложили — царь в Зо-

лотой палате, и патриарх, окруженный великой свитой, проследовал в Успенский собор. Теперь Алексею шепнули: патриарх на месте.

Вытягивая шею, чуть привскакивая на каждом слове, Алексей отдал приказ:

— За животворящим крестом и царским чином идти боярину Василию Ивановичу Стрешневу да казначею Богдану Миничу Дубровскому, с ними быть благовещенскому протопопу Стефану Вонифатьевичу и двум дьяконам.

Бояре, услыхав ликующий, чистый как родник, серебряный голос, слезами умылись от умиления.

Пока тянулись томительные минуты ожидания, Алексей сидел, тихо улыбаясь, большой, спокойный, торжественный мальчик. Бояре снова отирали слезы: «Благолепен!»

Посланные вернулись.

— Шапку возьмет боярин Лукьян Степанович Стрешнев!— объявил известное всем Алексей.

Лукьян Степанович принял у Богдана Минича Дубровского царскую шапку, а Василий Иванович Стрешнев поднес царю крест. Алексей приложился к кресту, и Стефан Вонифатьевич пророкотал, едва сдерживая сладостное рыдание:

— Достойное есть!

Подали на золотом блюде царский сан и златошитую поволоку с жемчужным крестом. Алексей накрыл блюдо поволокой и передал его протопопу Стефану Вонифатьевичу.

Поднял протопоп драгоценную ношу над головой и понес, а дьяконы поддерживали его под руки. За протопопом с животворящим крестом шел Василий Петрович Шереметев, царский чин несли: скипетр — боярин Василий Иванович Стрешнев, яблоко — казначей Богдан Минич Дубровский, блюдо — думный дьяк Иван Гаврилёв, стоянец кресту и царскому венцу — думный дьяк Михайло Волошенинов.

Когда шествие приблизилось к Успенскому собору, на кремлевских церквах, а за ними на церквах Москвы и всего государства ударили во все колокола.

Патриарх Иосиф встречал царский сан на паперти. У протопопа Стефана Вонифатьевича сан приняли Варлаам, митрополит ростовский и ярославский, да Маркел, архиепископ вологодский. Поднесли сан патриарху, тот принял, принес на налой и кадил крестообразно.

Беречь сан встали Василий Иванович Стрешнев и

Богдан Минич Дубровский, а Василий Петрович Шереметев пошел доложить царю — все готово.

Двинулись.

Впереди царя шли родственники по отцу, князья Черкасские, Яков Куденетович и Григорий Сунгелеевич. За ними Михайло Михайлович Темкин-Ростовский, Василий Андреевич Голицын, князья Михайло да Федор Никитовичи Одоевские, Петр Михайлович Салтыков, Борис Иванович Троекуров, Василий Иванович Шереметев, князь Юрий Петрович Буйносов-Ростовский, князь Алексей Иванович Буйносов-Ростовский, Иван-большой да Иван-меньшой Федоровичи Стрешневы, Родион Матвеевич Стрешнев, Никифор Сергеевич Собакин, Василий Васильевич Бутурлин, Богдан Матвеевич Хитрово, Иван Иванович Колычев, Василий Яковлевич Голохвостов, Афанасий Иванович Колычев, Афанасий Иванович Матюшкин и протопоп Стефан Вонифатьевич, который кропил святой водою царский путь.

Все эти великие и сильные люди Московского царства, престарелые и совсем молодые, были как прошлый день. Они еще вершили судьбы многих и были уверены — перемен быть не может при серьезном тихом царе-мальчике, и потому всякий, кто шел впереди, назад не оглядывался. А посмотреть бы им на последнего среди них, Богдана Хитрово, поискать бы им глазами в толпе, шагавшей за царем. Там среди многих затерялся Борис Иванович Морозов и многие другие незаметные люди.

Грех было не зарумяниться щекам в тот пронзительный синий день, в холодный и светлый. Теплый воздух отлетел от земли, и золотые кресты как бы вздрагивали, как бы текли, и казалось — вся Москва, замерев, вмерзла в синий лед.

Хор встретил царя «многолетием». Алексей молился, целовал многоцелебную ризу Иисуса Христа, прикладывался к мощам, принял благословение патриарха. Святейший Иосиф дрожащими от старческой немощи руками окропил царя святой водой и велел архидиакону начать молебен живоначальной троице и пресвятой богородице да Петру, митрополиту московскому чудотворцу, и преподобному отцу Сергию.

После молебна царь и патриарх сели на свои места в чертоге. Справа от царя стояли бояре, слева — духовенство.

Воцарилось молчание.

Царь встал, улыбнулся и, улыбаясь кротко, смирен-

ным голосом заговорил, все время отыскивая и находя сочувственные глаза:

— Апостольских престолов восприемницы; святые истинные православныя веры греческого собора столпы, пастыри и учители Христова словесного стада богомольцы наши: пречестнейшие и всесветлейшие о боге, отец отцам и учитель Христовых велений истины; столп благочестия, евангельские проповеди рачитель, кормчий Христова корабля святейший Иосиф, патриарх Московский и всея России и преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы и весь священный собор, и вы, бояре, и окольничии, и думные люди, и дворяне, и приказные, и всякие служебные люди, и гости, и все христолюбивое воинство, и всего великого Российского царства православные христиане...

Все это витиеватое Алексей говорил бездумно, не вникая в смысл, но в глазах его затрепетал ум, а слово стало сильным, когда помянул, что он, Алексей, наследник Рюрика, святого Владимира Святославовича, Владимира Всеволодовича Мономаха, греческого императора Константина Мономаха, помянул деда своего, царя Федора Иоанновича.

Глаза Алексея смотрели теперь поверх голов, голос звенел, взлетал, но не срывался.

Отвечал Алексею патриарх Иосиф.

Засидевшись, он ерзал на своем стуле и никак не мог встать. Наконец, повиснув на патриаршьем своем посохе, разогнулся и, не в силах унять дрожи старческих синих рук, трясся головой, раскашлялся, но когда заговорил, то будто спала с него обуза лет.

— О богом дарованный!— воскликнул Иосиф сильным бархатным голосом.— Благочестивый и христолюбивый, изрядный, сиятельный, наипаче же в царях пресветлейший великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея России самодержец!

Кончив речь, патриарх послал за животворящим крестом; его принесли на золотом блюде Серапион, митрополит крутицкий, да Маркел, архиепископ вологодский. Блюдо у них приняли митрополиты Аффоний новгородский да Варлаам ростовский. Патриарх трижды поклонился кресту, поцеловал и благословил им царя Алексея.

После молитв и малой ектинеи патриарх послал двух архимандритов и игумена за бармами. Бармы приняли архиепископы суздальский, рязанский и епископ коломенский.

После возложения на царские плечи барм и молитвы патриарх послал за венцом. Шапка Мономаха — это золотое кружево на гладком золотом поле. Восемь кружевных лепестков тульи уходят под золотой стоянец, на котором в золотой же оправе рубины и изумруды, сам крест прост, четырехконечный, гладкий, с тяжелыми каплями на концах.

Патриарх поднял венец над головой Алексея. Алексей закрыл глаза, ибо вот оно, мгновение, о котором он знал только, что оно когда-нибудь должно произойти. Когда-нибудь, а оно вот оно! Оно — теперь!

Мягкий мех соболя коснулся головы, и тотчас голову сдавил обруч тяжести. Шапка и впрямь нелегка была.

Патриарх поклонился венчанному, и Алексей, чуть приподняв руками венец, ответил поклоном. Последний раз в жизни царь обнажил перед человеком голову.

Когда в руки ему вложили: в правую — скипетр, в левую — яблоко державы, он поклонился патриарху одними бровями, свел и опустил, ибо вся земная власть была в его белых руках и никто в России не мог и в мыслях поставить себя рядом с ним.

Пели «многая лета», и все поклонились новому царю — сначала духовенство, потом бояре, окольничии и прочая, прочая...

Патриарх сказал Алексею поучение:

— Всех же православных христиан блюди и жалуй. И попечение имей о них от всего сердца, за обиженных стой царски и мужески.

Царь кивал головой и улыбался. Было радостно: чин постановления на престол удался, никто ни в чем не ошибся, не замешкался, в животе не теснило, боярского подвоха бояться не надобно, потому что он царь венчанный — от бога, теперь им надо бояться.

Солнце сияло, потеплело даже. Вся Москва — праздничный стол. Все хорошо!

А по кривым улочкам под трезвон колоколов расползался шепоток — не настоящий царь, подметный. А настоящий, сын царя Василия Шуйского, в бегах, от сыча Морозова едва-едва утек.

2

Светский царский праздник начался сразу же по выходе царя из Успенского собора. В дверях Никита Иванович Романов осыпал племянника золотыми монетами. Вдругорядь он осыпал царя монетами у Михаила Архан-

гела, в третий раз — на Золотой лестнице из Благовещенской церкви в царские покои.

На второй день праздника царь Алексей принимал в Золотой палате подарки, а сам отдаривал указами.

Борис Иванович Морозов, в знатности рода уступавший многим и многим боярам и князьям, дабы наверстать упущенное предками, придумал новый высочайший чин «ближнего боярина».

Из бояр в «ближние» пожалованы были Федор Иванович Шереметев, управлявший царством при царе Михаиле, князья Дмитрий Мистрюкович Черкасский, Борис Иванович Морозов и князь Никита Иванович Одоевский.

Себя в жалованной грамоте Морозов поставил третьим, но ни для кого не было секретом — наставник царя по близости к царю соперников не знает.

В бояре из стольников, минуя чин окольничего, были поставлены: князь Яков Куденетович Черкасский, Львов-Салтыков, князь Куракин, Федор Степанович Стрешнев, Темкин-Ростовский и князь Алексей Никитович Трубецкой.

Три дня шли пиры в Грановитой палате. На пиру царь указал быть боярам и дворянам без мест. Вняли указу, не местничались, не драли друг друга за бороды, оспаривая более высокое место.

В первый день великого царского пира возле дома Плещеева остановился старенький возок-карета боярина Бориса Ивановича Морозова — лошадь распряглась. Кучера кинулись поправлять сбрую, а Плещеев Леонтий Стефанович тут как тут, выскочил за ворота спросить: не нужна ли помощь какая, не соизволит ли боярин посетить родственный дом...

Морозов быстро отворил дверцу возка, усадил Плещеева рядом с собой и, опустив шторку, заговорил быстро и тихо:

— В городе болтуны завелись. Шепчут по углам, что царь подметный. Никто тебе не помощник, Леонтий Стефанович, но и помехи не будет. Опростоволосишься — пощады тоже не жди, но ежели толки прекратятся — не забуду тебя!— сказал и тотчас стал легонько выталкивать из возка.— Ступай да помни: для царя, как для себя, служи. Тебе будет хорошо и всему роду Плещеевых.

Едва Леонтий Стефанович ступил на землю, лошади рванули, Плещеева обдало грязью, все лицо залепило. Дома к нему кинулись с умыванием, но Плещеев всех

разогнал. Сидел в горнице, не зажигая света, сдирал с лица комья грязи, целовал их и улыбался.

3

Уж больно люто щипался слепец Харитон. Бежать Саввушка вроде бы и не собирался, в Кремле жил, одежонку ему дали новую, кормили хорошо, да, случилось, заспались слепцы после всенощной, а он и пойди погулять. За кремлевскую стену вышел, а тут торг идет! Народ толчется, семечки лузгает. Послушал, как торгуются. Один у другого шубу торговал-торговал да плюнул. Подошел другой покупатель, а первый говорит: «Не бери здесь, эти шубы молью биты, в дырьях». Торговец хвать за палку — да палкой, а ему в ответ посошком по лбу. И пошла потеха. Саввушка стоит глядит. Интересно. Крепко подрались мужики, а потом замирились и пошли в царев кабак. «Под пушками», тут же, у кремлевской стены.

Саввушка, рот разиня, потащился за драчунами, но дорогу ему пересекли два молодца на лощадях. Одеты красно. Сапоги у обоих желтые, штаны до колен синие, карманы над коленками — зепь — красные, воротники стоячие, жемчугом шиты, на кафтанах золотые цветы, шапки набекрень, соболем подбиты. Углядели девиц в толпе удальцы, в литавры ударили вдруг, кони от испуга на дыбы, люди шарахнулись в стороны. Поехали молодцы через площадь в Белый город. Побежал Саввушка за ними, а когда поотстал да опамятовался — вся Москва колоколами гудит. Слепцы уже давно на клиросе. Понял тут Саввушка — нет ему дороги назад. До смерти слепец Харитон его не защиплет, а вот укорами да попреками сживет со свету.

К ночи дело. Землю морозец прихватывает и Саввушкины ноги заодно. Бредет паренек из улицы в улицу, сам не знает куда. Вдруг теплом повеяло и мазюней. Из амбара запах.

Подошел поближе Саввушка, и ноги сами к дверям его принесли. Двери в амбаре нараспашку, печь пышет, возле печи двое. Каждый шириной — три человека поставь, а ростом как пеньки.

В ступе репу для мазюни толкут, ступа огромная, а ходуном под пестиками ходит, да пестики, слава богу, дубовые, каждый пуда на три. Из котла возле печки клубами пар. Патокой пахнет.

У Саввушки слюнки потекли. Глядит на котел да огонь как заколдованный.

Эти двое увидали мальчика, пестики отложили. Один взял тарель деревянную, другой половник деревянный. Один зачерпнул муки, другой патокой муку залил, говорит:

— Заходи, паренек, отведай нашей мазюни.

Саввушка икону поискал, не видно в темноте, на печь перекрестился и вошел в амбар.

Только за ложку взялся, застучал колотушкой пристав по стене:

— Братаны! Печь гасите!

— Слышим!— гаркнули братаны.— Прогорают дровишки, на жару пироги будем ставить. Заходи поутру за пирогами с вязигой!

— С вязигой — скусно!— прокричал пристав за стеной.— Зайду!

Деревянная Москва страдала от пожаров. Слободами выгорала. Оттого ночью печки топить сам царь запретил. Прежний. Новый ничего еще не запретил, да и не разрешил покамест ничего.

Саввушка поел мазюни, ложку отложил, перекрестился...

— Спасибо, добрые люди!

Один братан улыбнулся во весь рот, а другой одними глазами.

— На здоровье,— сказал тот, кто улыбался во весь рот.— Накормили тебя, теперь спрашивать будем. Мы — пирожники. Я — совсем молодец, а он на одно ухо не слышит. В кулачном бою на масленицу попортили. А теперь о себе сказывай.

— А я от слепца Харитона ушел!— вздохнул Саввушка.— Теперь и возвратиться нельзя.

Поведал он свою нехитрую жизнь, и братаны, даже не поглядев друг на друга, сказали:

— Живи у нас! Пироги да мазюню будешь продавать.

Спал в ту ночь удачливый Саввушка в тепле, богу благодарные молитвы перед сном нашептывал.

В первом часу дня — в семь утра по-нашему — понесли братаны пироги да мазюню продавать и Саввушке ящик с пирогами дали.

Два раза за пирогами в амбаришко бегали. Все пироги продали. Саввушка сразу понял: дело не в пиро-

гах, мало ли торговцев пирогами,— дело в голосе. Кричи: «Пироги горячи — едят подьячи!» — или: «Кипят, шипят, чуть не говорят!» — да так кричи, чтоб других не слыхать было, у тебя первого и купят.

Эх, пропади она пропадом, иная удача! Да кто ж знал, что в той удаче сердцевина была с червем. С мохнатым, черным...

Пришли они все в тот же трактир «Под пушками». Братья взяли себе вина: по чарке простого, по чарке доброго, по чарке боярского да по чарке двойного. А Саввушке взяли меду вареного: чарочку красного, да чарочку белого, да ягодного.

Чарочки — хороводом, друзья — косяком. Ахти! Деньжонок, говоришь, нет? Да ради дружка — сережку из ушка. И хоть друга в первый раз видишь и глазки у него, как лиса в клетке, туда-сюда, а всю душу перед ним наизнанку, потому как в друге себя любишь, а коли пьян, так любишь друга больше, чем себя.

Пьяный разговор на Руси зело умен. Трезвому такого и не выдумать, что пьяный, себе на удивление, сказанет.

Крестьянин воз сена продал, пузо прорехой прикрыл и тоже «Под пушки».

— Эх,— говорит,— заживу при новом царе! Царь молоденький, добрый, простит, чай, все долги наши!

И давай, давай коней настегивать. И жена-то у него будет в жемчугу, и детки-то у него будут маслом мазаны, а сам-то он все на тройке, на тройке!

Молчун, тугой на одно ухо, терпел-терпел да хвать по столу кулаком — ножка из стола и выскочила.

— Замолчи, дурень! Нет такого царя на всем белом свете, чтоб о тебе, голодранце, вспомнил. И этот, молоденький, будет не лучше других.

Тут и брат взвился:

— Как так! Будет жизнь лучше прежней!

— Подметный он, ваш царь!— заревел от ярости тугоухий.

А младший брат как бык:

— Оттого и лучшая будет жизнь, что подметный. Настоящие цари в терему сидят, а в терему окошки красенькие, и весь мир через них красенький. А подметный — промеж мужиков жил, знает, какая жизнь у тяглеца посадского.

И пошло. Одни кричат: подметный царь — хорошо. А другие кричат — брехня, лучше не будет! А третьи — все брехня!

Втор в том кабаке околачивался, тот самый Втор, что царскую милостыню вдове нес да по дороге всю просыпал. Послушал Втор пьяный шум да вышел бочком из кабака. Привел Плещеева с людьми. На братьев указал. Окружили люди Плещеева стол, а братья и не поймут, чего ради к ним подступаются.

— Садись, ребята! — говорят.— Пей!

А ребята, на каждую руку по пятеро, заломили и сапожным ножом при всем честном народе языки у братанов отрезали. А Плещеев сказал:

— Со всяким такое будет, кто о царе нечестивое как пес брешет!

И велел повару зажарить языки. Подождал, чтоб зажарили и вынесли напоказ. Весь трактир блевал, как с похмелья, на языки жареные глядя.

Саввушка без памяти на полу лежал кровяном.

Очнулся в амбаре. Печь не топлена. Мыши скребут, братья сидят обнявшись, голова к голове. И по всей Москве тихо. Только мыши скребут.

4

Увидали братья, что очнулся паренек, поманили за собой. Дом рядом с амбаром стоял. На дворе как в трубе — ничего не видно, даже звезд.

Зашли братья в дом, зажгли лучину; потом лампады зажгли в красном углу перед иконами. Встали на колени, на Саввушку обернулись, тот тоже стал. И опять поглядели братья на Саввушку, плачут оба, мычат.

— Господи! — закричал мальчик.— Не знаю, чего хотите! Во имя отца и сына!

А братья закивали головами, стали класть поклоны и креститься.

«Был глазами слепых, стал языком безъязыких»,— похолодел Саввушка. Он читал молитвы одну за другой, подряд, какие знал от матери, какие выучил у Харитона и его слепцов.

Братья то и дело поднимались с колен, шли в сени выпить квасу: горели страшные раны.

И вдруг тугой на ухо, вернувшись из сеней, ковшом хватил по образам. Все три лампады упали. По полу растекались лужицы горящего масла.

Саввушка кинулся гасить, обжег руки, но никто ему не помогал. Братья топали ногами, и взмахивали руками, и головами крутили, и хрипели, роняя кровавую

слюну. Хватали иконы, бросали под ноги, топтали, раздирали страшные рты в безголосом крике.

Пожара не случилось. Они все уснули на полу, где застал их сон.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Борис Иванович Морозов глядел, как мастера Оружейной палаты починяют, подновляют трон царя Михаила для царя Алексея. Меняли обшивку, укрепляли расшатавшиеся ножки — царь Михаил был грузен. Торчал Борис Иванович в Золотой палате не потому, что присмотреть за мастерами некому было. Ненароком. Зашел и загляделся. И думки всякие пошли, словно туман ядовитый с болота закучерявился, обволок, утопил с головой.

Прибежал в Золотую палату Афонька Матюшкин.

— Великий государь тебя зовет!

Вздрогнул. Выплыл из своего тумана, пошел за Афонькой, глядел ему в спину.

Новые люди заполняли дворец.

Соплячок этот — ближайший друг царя. Мать Матюшкина и мать Алексея — родные сестры. Сам Афонька с младенчества был стольником царевича, сверстник, учились вместе, играли вместе, на охоту вместе ездили. Вот и вся слава, рода Матюшкины не больно великого. Дед у Афоньки был дьяком в приказе Большого прихода, отец — думный дворянин. Сам Афонька, слава богу, ума небольшого, ему бы только с соколами гонять по полям, а то бы и вовсе опасный был человек.

Алексей сидел в своей комнате, глядел в окошко.

— Погода — диво дивное,— сказал и вздохнул.

И Матюшкин, теперь уже стоя за спиной Бориса Ивановича, тоже вздохнул.

«По потехе соколиной тоскуют,— смекнул Борис Иванович.— А поехать можно ли, не знают. Траур».

— Великий государь, развеялся бы ты!— сказал Борис Иванович.— Пока зима не грянула, возьми сокольников да поезжай. По себе знаю, как утешает сердце красная охота с птицами.

— Ах!— привскочил Алексей.— Я ведь и послал за тобой Афоню, чтоб спросить про то.

— Поезжай, великий государь! Никто худого не подумает о тебе. Чай, не в каретах к Троице ходил, пеший. А у меня и подарок тебе готов.

И Матюшкин, и Алексей так и замерли.

— Великий государь, сам бы в поля за тобой поехал, а где ж теперь о полях думать... Города ныне криком кричат о всяческих утеснениях, о городах думать надо, об устройстве их... А ты поезжай, потешься. И подарочек мой прими. С чистым сердцем тебе дарю, великий государь. Кому неизвестна твоя любовь к охоте этой красной?

— Неужто Гамаюна? — прошептал Алексей.

Борис Иванович, пряча улыбку, поклонился:

— Гамаюном челом бью. Прими.

— О нет! — воскликнул Алексей.— Это разве возможно? Лишить отца моего такого счастья — держать у себя столь великую и прекрасную птицу?

— Государюшко! — прослезился Борис Иванович.— Потому и дарю тебе Гамаюна, что никто другой не поймет, сколь изумителен сей кречет.

— Милый ты! Милый! — Алексей обнял воспитателя, поцеловал в губы.— Не знаю, чем и ответить на твою щедрость.

— Для меня, великий государь, твоей радости довольно,— опять поклонился Борис Иванович.

— Нет, я награжу. За сердце твое ангельское. Землями награжу! — Государь зарделся, заторопился.— Ты сколько мне служишь, а я как слепец... Друг мой бесценный, Борис Иванович! Ради бога, назови землю...

— Государь, смилуйся! Из одной любви служу тебе, радость ты моя единственная! — Морозов упал на колени.— Собираю я земли, чтоб украсить их плодами трудов своих и тебе же вернуть устроенными благолепно, тучными и процветающими! Пожалуй меня на Волге селами Мурашкином да Лысковом.

— Жалую, добрый мой человек! Не задумываясь жалую тебе на радость.

У Морозова дыхание перехватило. Такие села, такое богатство как с неба упало. Вот что значит быть к солнцу ближе других. Оттого подсолнух и выше трав, что солнцем обогрет более, оттого и глядит он солнцу в глаза, чтоб от земли убежать.

Царь кинулся сбираться на соколиную охоту, а Морозов поспешил к делам.

По дороге в свой Иноземный приказ повстречал Илью Даниловича Милославского. Илья Данилович кнутовищем охаживал своего нерадивого возницу. Умудри-

лись колесо потерять. Грязь после дождей была непомерная.

Илье Даниловичу теперь нужно было ступить в эту грязь, чинить возок спешно: не беда, что дорогу загородили, а беда, что загородили дорогу боярину Морозову.

Глядя на красного от ярости дворянина — красивый мужик, статный,— Борис Иванович приказал кучеру втиснуться между домом и возком Милославского и позвал:

— Илья Данилыч, перелазь в мою карету, пока колесо надевают.

Удивленный столь нежданной честью, Илья Данилович поклонился, вернее, согнулся и ступил на подножку кареты.

— Ко мне, сюда. Я подвинусь!— приглашал Морозов.

Пока Милославский усаживался, Борис Иванович уже успел свою быструю мысль оглядеть со всех сторон, как горшок.

— Илья Данилыч, рад видеть. Хотел посылать за тобой, а ты легок на помине. Сослужи государю службу. В Голландию поезжай, отвези грамоту с известием о воцарении света нашего, великого государя Алексея Михайловича.

Милославский таращил красивые глупые глаза.

— Отчего такая честь, государь мой Борис Иванович?

— Оттого, что человек ты хороший, быстрый. Молодому царю слуги нужны быстрые и ногами, и головой.

Милославский припал к руке боярина.

— Ну что ты, право!— вздохнул Борис Иванович.— Домой теперь сразу поезжай и собирайся в далекий путь. Три дня на сборы довольно?

— Одного хватит... Да я хорошо съезжу, Борис Иванович! Я же к турецкому султану ездил об Азове говорить, мир добывать. Ладно всё устроили. А потом обо мне забыли. Совсем забыли.

— Добрых слуг не забывают, Илья Данилыч. Службы, видно, хорошей не было, вот и не тревожили.

Бедный возничий, выкупавшись в жиже, разыскал колесо, принес и приладил.

И Морозов все это время ждал, не торопился высадить Милославского. А тот и сообразить не мог, отчего ему такая милость. И о том думал, и о другом, так ничего и не придумал.

А ему бы о дочках своих вспомнить, о красавицах, о Марии да об Анне.

Погрезилась Морозову затея затейливая...

2

Деревянное сухонькое креслице — спинка павлиний хвост, на подлокотниках львиные морды, зевом грозящие,— поскрипывало, повизгивало не умолкая. Хозяин кресла то перевешивался через подлокотник налево, к сундуку, выхватить очередной свиток, то подскакивал разгрести на столе и записать нужную цифирь, а то перегибался через правый подлокотник, где в другом сундуке лежали пухлые деловые книги Российского государства. Читал, вздыхал, подскакивал уже от негодования, ронял книгу, изможденно откидывался на спинку и тотчас, наливаясь яростью, стучал ладонями по львиным головам. Придвигал кресло ближе к столу, ногой отшвыривал фолиант и замирал, глядя в белый, хорошо побеленный потолок.

Невеселые картины открывались Борису Ивановичу Морозову. Ладно бы — казна пуста, но ведь и взять неоткуда. А взять нужно...

Вот тут-то и проскальзывала в голове Бориса Ивановича мыслишка. И он, вспугнутый мыслишкой, чувствовал себя раздавленным тараканом, уж так ему было мерзко от всей этой тьмы, которая, оказывается, жила где-то в нем, а теперь еще лезла наружу. Мыслишка, впрочем, была и не больно-то гадкая: «Деньги нужно добыть, хотя бы уже потому, что себе на пользу».

Борис Иванович принимался следить за каждой фразой, возникавшей в мозгу.

«Денег нужно взять много. Не возьмешь — грянет беда. Соседи милые, у которых нос и повадки гончей суки, если денег не будет — учуят добычу и кинутся гонять.

Чтобы нарастить государственную мышцу, народу нужна покойная жизнь, но, чтобы добыть покой, нужно ставить крепости, заводить полки иноземного строя, нужно посылать казаков в Сибирь за морским зубом, за соболями, а на все это нужны деньги и деньги».

Круг замыкался, а новый круг был столь же неприятен.

«Нужно стрельцам заплатить — неплачено, донским казакам должны, дворянскому ополчению должны...»

В феврале в Азове был съезд ногайских мурз. На

том съезде мурзы сговорились идти на Русь большим набегом.

Москва собрала полки, и весной воевода Яков Куденетович Черкасский двинулся со всей поместной армией на юг — встречать гостей. Прождали все лето, весь сентябрь и дождались: дворянство заколотил озноб недовольства.

Некий поручик Андрей Лазорев прискакал в Москву предупредить: дворяне двинулись, не слушая воевод, на стольный.

...Морозов отыскал челобитную. Собственно, это был только черновик еще не поданного армией прошения. Черновик выкрали и доставили еще раньше того, как прискакал Лазорев.

«Вотчины опустели, дома разорены от войны и сильных людей...»

Ничего нового в требованиях не было. Крестьяне, привыкшие в Смутное время вольничать, покидали бедные земли, бедных своих господ и бежали на монастырские земли, к боярам, к людям у власти.

Быть на земле нищего дворянина — все российское тягло изведать: на царя работай, на церковь божию, на господина глупого, на татарина лютого, на разбойника захожего, а на себя — что сил станет.

Морозов позвонил в колокольчик.

— Позвать Назария, и поручик тоже пусть придет.

Отодвинулся от стола, прикрыл веки, затих.

И тотчас «мокрица» выползла из щели. «Ближайший боярин... Достиг! Стал вровень с Шереметевым. Но давно ли было время, когда Шереметев носил тутул боярина «наитайнейшего»? А ну как Алешенька подрастет? Какой-нибудь Федька Ртищев тоже подрастет... Один подрастет, а другой постареет. Фавориты уходят, солнце царской власти вечно».

— Государь Борис Иванович?— полувопрос-полудоклад.

Морозов приподнял веки: думный дьяк Назарий Чистый в дверях. Голова не поместилась, шею вытянул — гусак гусаком.

— Побеспокоил?— спросил почти испуганно.

— Садись.— Морозов указал глазами на лавку, сам не пошевелился.

— Изволите беспокоиться о приезде польского посла?

— Ох ты!— спохватился Морозов, тотчас оживая.— Еще ведь и посла несет!.. Нет, Назарий, о посольстве и подумать времени не было. А подумать надо крепко.

Едет он против хана войну затевать... Вот что: на этой неделе Стрелецкий приказ нужно у Шереметева взять. Да не в конце недели! Сегодня же заготовь грамоту... Деньги нужны, Назарий! Что твои крючкотворы придумали?

Назарий длинными пальцами в тонких перстнях с большими каменьями как бы отер губы, но говорить повременил, выжидая, не скажет ли боярин еще чего.

Назарий Чистый был из ярославских купцов. Высочайшее купеческое звание «гостя» получил еще в 1621 году. Больше дюжины «гостей» в одно время не бывало. «Гости» торговали за границей, сбывали царские товары, взимали пошлины, покупали у государства право собирать налоги, заведовали чеканкой монет. Назарий Чистый и среди двенадцати был первым; торговых дел не оставляя, пошел служить и выслужил думного дьяка, а теперь был он при Морозове вершителем многих дел, послы называли его промеж себя «канцлером».

— Так что же вы надумали?— капризно поджимая губы, спросил в нетерпении Морозов.

— Для народного умиления и одобрения мы думаем искать деньги во дворце.— Назарий Чистый подождал окрика, не услышал и поглядел Морозову в глаза.— Убавить слуг следовало бы не меньше чем на треть. Хотя бы на первое время. Остальным же урезать жалованье. То же произвести и в патриаршем дворе. Можно лишить жалованья городовых приказчиков

— Эти не пропадут,— одобрительно, но мрачно кивнул Морозов.— А коли дворовых слуг сокращать, то мы вправе укоротить оклад господ послов. Укоротим!

— У сторожей нужно хлебное жалованье забрать, распустить приставов, взять жалованье у городовых пушкарей — все равно без дела, и крепостные сооружения запущены...

— Ну а, не дай Бог, нужда в пушкарях явится? Что же тогда?

— Пушкарям вменить для исполнения службу приставов, а кормиться им тогда будет легко, от частных просительских доходов.

— Мудро! Мудро, Назарий! Только мало. Разве города на эти деньги выстроишь?

— Государь Борис Иванович! Уж если с дерева сучки посбивали, надо дерево и ошкурить... Мы надумали взять денежное жалованье у кого только возможно. У стрелецких голов, сотников, пятидесятников, десятников, у городовых стрельцов, у казаков в замосковных, поль-

ских и украинных городах, у государевых мастеровых, у кузнецов и плотников — им поденный корм давать, когда будет государево дело, у воротников...

Назарий Чистый все говорил, перечислял, доказывал, а Борис Иванович плохо слушал, «мокрица» его все семейство, кишащее, лохматое, из тьмы вывела. Думалось о таком, что и в кошмаре — кощунство и ад. Будто царева спальня, Алешина, Алеша спит, шейку ребячью свою, с ямкой под головой, вытянул, а он, изверг и сам мокрица, дверь на засов и крадучись к постели, выставив лапы...

«Господи! За какие грехи видением казнишь!— охнул про себя Борис Иванович.— Да ведь случись что с Алешей, самому первому головенку открутят...» Но это теперь. «Теперь» он боялся за Алешеньку, а мысли-то в «потом» проскакивают. Оно ведь придет выжданное, вымоленное, поклонами отстуканное время, то самое «потом», когда вся власть перельется из многих сосудов в один, когда узы царевых детских привязанностей переплетутся узами родства,— Милославский уже не одну лошадь поменял, стремясь в заграницы.

Борис Иванович пресек-таки бег мысли, сгреб своих «мокриц», но ему на прощанье явилась карающая правдой картина. О такой картине Морозов совсем уже не знал, что есть она в его заглазье. Будто бы Лобное место, плаха, топор в плахе, а на помосте его собственная голова. Глаза мертвы, а губы шевелятся...

Вскочил. Вскакивая, опамятовался, ухватил ниточку разговора. Воскликнул:

— Так ведь стрельцы, Назарий, тебя первого растерзают, а меня вслед за тобой! И заступиться будет некому.— Морозов непочтительно толкнул креслице.

— Если бы просто отняли жалованье — убили бы! Мы же землю даем!— стоял твердо Назарий, не уловив, что Морозов пропустил его речи мимо ушей.

— Ах, земли?— Морозов сел.— Иностранцам тоже ведь можно вместо денег поместья дать? Краффору платим пятьдесят рублей, Гамильтону — тридцать!.. А по сколько земли стрельцам?

— Пятидесятникам по десять четвертей, десятникам по девять, рядовым по восемь.

— Но всех денег взять у служивых нельзя. Пятидесятникам платить в год рубля по четыре придется, десятникам можно по три с полтиной, а стрельцам — не меньше трех. Иначе нам голов не сносить, Назарий. А городские сметы смотрели?

— Смотрели. Да ничего не высмотрели.

— А я вот высмотрел!— Морозов положил руки на свитки, загромоздившие его стол.— Сегодня же пиши грамоту: погасить все недоимки, взыскивая их с воевод, с приказных людей, с подьячих... С умерших воевод тоже взыскивать. С жен воеводских, с детей... Вот погляди.— Морозов развернул столбец.— Устюжская четь... На стольнике Матвее Прозоровском недоимок 1126 рублей 13 алтын, на стольнике Степане Хрущеве 957 рублей 5 алтын, на подьячем Григории Сапсонове 264 рубля 3 алтына 4 деньги, на Михайле Еропкине, покойнике, стало быть, на детях его,— 346 рублей 3 алтына 4 деньги, на Андрее Волконском, тоже покойник, царство ему небесное, на жене его — 246 рублей 7 алтын 4 деньги, на Максиме Стрешневе 640 рублей, а на Михайле Стрешневе и подавно 1533 рубля 9 алтын. Это же деньги! До смерти будем пороть всякого должника, но долг возьмем.

— Города помногу должны,— сказал, вздыхая, Назарий Чистый.

— И с городов возьмем!

— С городов взять рука не поднимается. Вязьма вот челом ударила, я с собой челобитную взял.— Лицо у дьяка подернулось непроницаемостью: не согласен с боярином.— С них берут, с посада, по писцовым книгам 1630 года. Из-за Смоленской войны, на разорение, были им дадены льготы на десять лет...

— Никаких льгот! За десять лет тоже с них взыскать.

— Такой указ мы уже посылали им. Они первый раз били челом в феврале. Просили сделать опись посаду. Государь покойный Вязьму пожаловал, а дьяк сделал свою приписку: «Взять к делу».

— По всем таким делам приписка должна быть одна: «Взять к делу». Пусть бумаги полежат. Нам сейчас посадские дела решать недосуг. Нам деньги нужны. Не дадут по доброй воле — выколотим. Во все упрямые города послать стрельцов! Недели за две чтоб с этим управиться.

— Государь Борис Иванович, а будет ли толк? В Вязьме раньше числилось 500 дворов и 575 плательщиков. Платили они казне 225 рублей 23 алтына 3 деньги. К 1630 году осталось посадских 150, а теперь и того меньше — 116. Из них 38 — дворов вдовьих и охульных. А берут с посада за стрелецкий хлеб — 420 рублей. Ямской приказ пишет им 416 пищальных денег, в

приказ Большого прихода подавай 140 рублей, да еще четвертные, а всего получается 1030 рублей. И это вместо 89, если брать не прошлое, а настоящее посада.

— Может, ты сам хочешь за них заплатить?— В голосе Морозова разлилась сладость.— Ты из Вязьмы сам?

— Нет, я не из Вязьмы.

— Ну и славно. Какая это у них челобитная?

— Третья.

— «Взять к делу» начертано?

— Начертано.

— Вот и возьми эту челобитную к делу, а в город пошли человек двадцать стрельцов. Поставим посад на правеж. Поглядим, водятся ли в посадах денежки. Выбьем — нам же легче. Не выбьем — придется что-то делать.

Думный дьяк собирался что-то сказать, но Морозов рта ему раскрыть не дал.

— Назарий, я на тебя как на крепость надеюсь. Наговорили мы тут с тобой много. Пиши указы. Наградой нам за труды — благоденствие государства. Жестокосердным не хочешь прослыть? Так ведь ты слуга царю. Не высечешь мужика, разжалобясь,— соседи разлюбезные с государства порты спустят... Вот и выбирай, кого щадить.

— Благодетель мой, государь Борис Иванович! Помилуй меня, неразумного, и прости. За науку твою век буду Бога молить, чтоб дал тебе долгих лет и всего, о чем помышляешь.

Борис Иванович вздрогнул, глянул в большие серые глаза дьяка: умен, да ведь не может же он мысли читать, такие мысли, что и в словах несказанных не обозначены?

— Назарий, у меня свободные деньги есть. Самая малость. Хочу в рост пустить. Ты ведь в этом деле кудесник. Присоветуй что?

— Поташное дело сейчас самое прибыльное.

— Поташные заводы советуешь ставить?

— Коли есть свои леса, считай, что не деревья растут — рубли.

— Есть у меня поташные заводы.

— Чтобы большой доход иметь, надо широко брать, надо так брать, чтоб у других заводчиков и духу не хватило тягаться... Тут главное, чтоб капиталу хватило развернуться. А развернешься — барыши успевай считать. Как ручьи в болото бездонное сбегаются, так и тут. Только хлюпнет, из чужих кошельков высасывай. Знаешь, как трясина хлюпает?

«Покуда не царь, деньги нужны!— подумал вдруг Борис Иванович, испуганно вскидывая глаза на дьяка.— Ишь! Опять... «покуда»? Господи, не хочу в цари! Не буду. Как буду — так и погиб. В тот час и погиб. Не хочу!»

Нужно было отпускать Назария, дел ему задал — другому и за год не управиться, да наедине с собой и полминуты быть невозможно, хоть к знахарю беги. К попу с такими мыслями идти отваги не хватит.

— Спасибо тебе, Назарий!— Нашел на столе колокольчик, позвонил.

Тотчас в комнату заглянул подьячий.

— Зови поручика! Пришел поручик? А ты, Назарий, помни... — заторопился Морозов; любил он с людьми с глазу на глаз говорить, людей шло много, приходилось повторяться, но одно дело — повторяться перед собой, а перед другими — все равно что сунуть палец в дверь и самому же дверь прихлопнуть.— Ты, Назарий, вот что помни: мы с тобой телегу не вытянем, других лошадок запрягут. Еще каких лошадок! Об этом всегда помни...

В комнату, согнувшись, чтоб не стукнуться о притолоку, вошел офицер. Этот был еще длиннее Назария. Поручик поклонился. Морозов глядел на него, а говорил Чистому:

— Вечером, Назарий, жду тебя со всеми указами. Времени у нас нет.

Думный дьяк откланялся.

Морозов прикрыл глаза, провел рукой по лицу, как бы снимая лихорадку озабоченности. Поручик Андрей Лазорев даже головой дернул — другой перед ним сидел человек, ну совершенно другой. Слабеющий, добрый старичок, радуясь силе и стати молодого человека — вот оно какое, воинство русское!— поднялся из-за стола, подошел, усадил на лавку, сел рядом, на ту же лавку, положил воину белую слабую руку на плечо и, поглаживая, стал как бы успокаивать.

— Ах, господи!— говорил Борис Иванович тихо и проникновенно.— Есть ли лучше слава и доля — служить верой и правдой государю и всему государству! Счастливые вы люди, детки вы наши! Ну, что наша молодость? Смута. Война. Война со своими же, с русскими людьми. Чаще даже с русскими, чем с поляками. Война на своей же земле, разорение своих же крестьян, горящие деревеньки — свои деревеньки... Для вас, дети, мы готовим другую судьбу. Будут бить барабаны, будут реять знамена, будет враг бежать... И наконец-то земля

наша русская обретет свои древние границы, вернет свои земли, разорванные междоусобицей, неистовых предков... Но ведь может статься — опять раздеремся между собой, растратив свою чудную силу на злобу друг против друга. И уж новой Смуты не перетерпеть нашему уставшему народу, а не быть тогда русскому царству не только щитом божьим против всех нехристей, но и вообще не быть.

— Да как же это так?— удивился Андрей Лазорев.

— А ты сам подумай. Привалит на днях бунтующее дворянство в Москву — это опора-то царю и православию? Пойдут грабежи и убийства, подстрекательства, партии станут составляться... Всё как в Смуту... Ведь сами небось не знают, чего хотят и почему?

— Ну, как не знают?— возразил простодушно Андрей Лазорев.

Был этот малый рус, синеглаз, румян, губы пухленькие — только бы миловаться.

— А чего ж хотят эти горе-воины? Навоевать не навоевали, а беспокойства от них — как от татарского нашествия.

— Да как же им не шуметь? Одно ведь только звание — дворянин. Все пообносились, отощали. Лошадь и то не у каждого.

— Отчего же ты не с ними? Отчего сюда прискакал о буре известить?

— У меня... — Лазорев замялся, не зная, как называть боярина.

— Зови меня отцом,— помог ему Морозов.

— У меня в деревеньке одна мать живет да странники, утомившиеся от хождения. Сообща живут, сообща от трудов своих и кормятся... Крестьяне давно уже все утекли. Да и было полтора десятка душ. А здесь я потому, отец мой, что клятву дал царю служить, а не мамоне. Мне и родной отец, умирая, заповедал — царю служить, о себе не помня.

У Морозова глазки как пауки обволокли малого: неужто, бестия, не врет? И чудно́ — не видел игры затаенного ума...

— Ну, а что бы ты сам для дворянства сделал, если бы, скажем, местами мы с тобой поменялись?

— Я бы его, отец мой, прости за дерзость, палкой бы! За такую службу палкой бы! А потом, конечно, наградил. Теперь ведь не поймешь, есть ли урочные годы крестьян своих сыскивать, нет ли. Вправе ли искать своих беглецов? Или что с возу упало, то уж и пропа-

ло? Все хотят, чтоб на крестьянах крепость была твердая, лет на десять чтоб крепость была, не меньше.

— А вот скажи теперь, что же царю нашему, соколу молодому, делать?— пытал Морозов.— Дворяне крепости хотят на крестьян, а крестьяне хотят выхода. Ждут. Еще как ждут!

Андрей Лазорев запыхтел.

— Без дворянства, без силы, врагу супротивной, державе не быть. Дурят крестьяне, да ведь лошадь, когда ее объезжают, тоже норовит седока скинуть. Тут божий промысел, нашему разумению недоступный: родили тебя крестьянином, так чего же на господина зверем глядеть? На судьбу обижаться грех.

— Да ты умный человек!— воскликнул Морозов, ожидавший, что простодушие, высказанное поручиком, от избытка силы и от малого ума.— А что же князь Яков Куденетович, большой ваш воевода? Что же он не остановил волнение?

Поручик вдруг встал.

— Позволь, боярин, отец мой, позволь испросить у тебя милости — в глаза тебе поглядеть.

Морозов пуще удивился.

— Ну, погляди.

Ясная, до самого дна ясная синева устремилась на боярина. Глядел долго, и Борис Иванович заерзал.

— Что усмотрел?

— Ладно,— сказал поручик,— я знаю, у вас, бояр, хитрости, как воды в море, немерено. Только знай, боярин, отец мой, я говорю не ради того, чтоб награду у сильного сыскать, а ради государевой правды. Мне почудилось, князь Черкасский, Яков Куденетович, и разжигает страсти. Его люди на сборищах самые шумливые.

«Чуяло мое сердце»,— подумал Морозов и спросил:

— Отчего же ты на князя Черкасского грешишь, разве он враг молодому царю? Ведь он двоюродный брат князя Ивана Борисовича Черкасского, а тот был двоюродным братом царю Михаилу Федоровичу.

— Что видел, о том и говорю. Князь против царя умысла не имеет, а вот с кем из бояр он хочет счеты свести, это тебе, отец мой, лучше знать.

— Да-а!— развел руками Борис Иванович и поглядел на поручика.— Огорчил ты нас своими известиями, но горькая правда дороже сладкой лжи... Вот что, Андрей Лазорев, от меня выйдешь, скажи дьяку, чтоб написал бумагу тебе. Будешь служить в моем Иноземном

приказе. Правду у нас не больно где любят, но у Морозова правда в чести. Знай это и получи.

Морозов подошел к ларцу, стоявшему за его креслом, отпер замок, открыл крышку, достал суконный мешочек.

— Лови!— кинул деньги Андрею Лазореву.

Тот поймал, зарделся, сделал шаг вперед и положил мешочек на стол.

— Прости, отец. Не подумай, что гордыней обуян. Только я не ради денег старался, скакал в Москву. Прости...

Поручик, пригнув голову, попятился к дверям.

— Стой!— грозно окликнул Борис Иванович. И опять это был другой человек. Властный правитель стоял перед дворянином.— Возьми деньги. Это твое жалованье. Тебе и платье новое придется купить, и лошадь добрую. Мой полк иноземного строя — дворянскому ополчению не чета.

— Рад служить государю и тебе, боярин, отец мой!— Глаза у поручика засияли безмятежностью; шагнув к столу, взял деньги и, грохая сапогами, выскочил за дверь.

Борис Иванович поставил локти на спинку своего кресла, положил бороду на ладони, покачал головой.

— Ах, Яков Куденетович! Мы вас в бояре, а вы на нас — войско. А ведь мы вас гусиным перышком сейчас вот и расколотим в пух и прах.

Морозов решительно сел за стол, смахнул столбцы и книги, достал бумагу и полетел по ней пером:

«1. Сохранить урочные годы на десять лет.

2. Послать в московский уезд и во все города стольников и дворян добрых, которые должны переписать все тягловое население, крестьян и бобылей, за кем сидели раньше, а не теперь сидят.

3. Как перепишут, по тем переписным книгам крестьяне, и бобыли, и их дети, будут крепки без урочных лет».

Отбросил перо, встал, вышел из своей комнаты в комнату, где сидели дьяк и подьячие.

Все, кто был тут, вскочили, приветствуя боярина. Морозов махнул рукой, чтоб сели, подошел к столу дьяка.

— По моей этой записи немедля составить указ. А я домой — устал сегодня.

На некоем пустырьке, не доезжая дома, Борис Иванович пересел в закрытую старенькую каретку и поехал

на окраину, к Земляному валу. Карета заехала в открытые ворота, на пустынный двор весьма неприметного, новой постройки, но совершенно безликого дома.

Во дворе, кланяясь, встретили его молчаливые, но весьма понятливые люди. Отворяли перед ним двери не мешкая, почтительно, но без церемоний. Он прошел в дальние покои, в комнатку, обитую красным ярким сукном, сел к изразцовой печи, уже предусмотрительно затопленной, хотя холода большие еще не наступили. Сел на низенькую, со спинкой, мягкую скамеечку, взял легкое сухое полено, рассек его надвое острым топориком и положил обе половинки в печь.

За спиной боярина отворилась дверь, кто-то вошел, встал у порога.

— Подойди ближе,— сказал боярин, не поворачиваясь, но глянув в зеркало.— Говори.

Человек покашлял, поерзал сапогом по полу. Был он в красном бархатном кафтане с двуглавым золотым орлом на груди — сокольничий царя.

— Великий государь,— сказал тихо сокольничий,— изволил сегодня молиться. Ловлей птиц и охотничьей потехой себя не тешил. С ним на молитве был стольник Федька Ртищев и кожеозерский игумен Никон. Слышал я, говорили, что великий государь обещал поставить его игуменом в Новоспасский монастырь.

— С Никоном о чем беседы были?

— Не ведаю. Они всю ночь вдвоем молились.

— А Федор зачем приезжал?

— Смилуйся, господин. Тоже не ведаю. Мы люди маленькие. Государя издали зрим.

— Как здоровье-то хоть у государя, про это ведаете?

— Здоровье будто ничего. Крепенький. Румяный. Разве что от поста послабел, государь-то наш великий. Они с Никоном все три дня постились.

— Никон все три дня при государе?

— Все три дня.

— Ступай! Береги государя. Особенно на ловле. Да смотри не за птицами гляди, за ангелом нашим. Ступай!

Сокольник тихо вышел.

Морозов расколол еще одно полено, поразмыслил, расколол и половинки надвое. Огонь в печи стал светлым, высоким.

Дверь снова отворилась. Вошел монах, неопрятный, косматый, но по глазам если судить — умный человек.

— Федор Иванович Шереметев всю неделю хворал.

Взаправду хворал, доктора немецкие к нему приезжали, и знахарь у него был, из монастыря тоже, святой целитель. А вчера был у него боярин Никита Иванович Одоевский. О тебе, боярин, говорили.

— Что?.. Да ты не мнись, говори их словами, прибавишь — грех на тебе, и убавишь — тоже.

— Говорили, что ты зело умен, боярин. Но ум твой пойдет России во вред. Неродовитый, мол, человек приведет к власти людей умных, да все волчат. Будут хватать что придется. До того нахватаются, что, пожалуй, не переварив, околеют. И смеялись очень.

— Это кто же так говорил, Федор Иванович или Никита Иванович?

— Никита Иванович молчал.

— Но смеялся?

— Смеялся.

— Что же они решили?

— Решили, что самое верное для них дело — подождать, покуда волчата...

— Ладно, ступай и ты... Стой! Еще нечего сказать?

— Федор Иванович удивлялся все: «Отчего это у меня приказы никак не заберут?»

— Всему свое время. Ступай!

Третьим был Плещеев. Борис Иванович подвинулся на своей скамеечке.

— Садись, Леонтий Стефанович! Люблю на огонек поглядеть. Дымком как бы голову прочищает от всякой дряни. Что Москва уличная? Чем живет?

Плещеев росточка был малюсенького. Складный, в движеньях решительный. Глаза узкие, горячие. Такой всякое дело в сердцах делает, как бы на кого распалясь, как бы с обидой. Дай такому чего построить, ни за что под крышу не подведет, отвлечется, расхолодится, а вот если дать ему разрушить — разрушит скоро, и не по одному приказу, а еще и по личной своей охоте.

— Прищучил я говорильщиков, теперь помалкивают про царевича подкидного. Правду сказать, другой теперь шепоток объявился.

— Так, так,— одобрил Морозов, настораживаясь, даже рукой ухо свое как бы поправил.

— Человек мне один, весьма проворный, служит.

— Кто таков?

— Некий Втор, племяш игумена Троице-Сергиева монастыря.

— Что же он говорит?

— Сегодня доложил, будто бы грамотку в одном кабаке читали, от законного будто бы наследника престолу, так в грамоте написано, что сына царя Василия Шуйского, Тимофея.

— Ишь, негодник! Все в сыновьях ходит. Как только не стыдно человеку... Тимошка этот — бывший подъячий Посольского приказа, по фамилии Анкудинов. Нашкодил в Москве — жену живьем в доме сжег — и убежал в Литву. Литве лжедети наших царей надоели, и пришлось ему другой раз бежать к молдавскому господарю, а Василий Лупу — хитрей хитрого, ему бы и султану угодить, и нашего государя ласку не потерять. Туркам беглеца передал... А Тимошка, не будь дурнем, пообещал султану, если тот поможет ему сесть на московское царство, Казань и Астрахань со всеми людьми и землями... Вот кто он такой, Анкудинов.

— Пресекать? Ловить?— Плещеев преданно вытаращился на боярина.

— Ловить и пресекать!

— Свет наш, Борис Иванович! Я служу тебе, живота не щадя...

— Не торопи, Леонтий Стефанович! Сам знаешь, поспешишь — людей насмешишь. Я тебе обещаю такую службу, что терпение твое будет десятикратно вознаграждено.

— Борис Иванович! Благодетель! Помилуй, да я не о себе собирался говорить, о родственнике своем, о Траханиотове.

— Я обо всех помню, и всему свое время.

Плещеев понял: затеял он разговор не в добрый час и, чтоб скакнуть хоть куда, лишь бы в сторону, брякнул:

— Я сегодня волхва изловил. Его купец Чалышев нанял напускать злые чары на врага своего, купца Мордоворотова. Мордоворотову о кознях шепнули, он волхва изловил и принялся при всем честном народе убивать. Еле отнял.

— А что же он, волхв твой, и впрямь чародей?

— Может, и вправду чародей... Соломоновой звезде поклоняется, о шести концах которая.

— Где он у тебя?

— С собой прихватил, испросить твоего повеления.

— Приведи.

Плещеев кинулся за своим пленником.

Костлявое существо с провалившимися щеками, кафтанчик на спине разорван надвое: кто-то по-медвежьи

лапой махнул. Нос — осетром, в красных крапинах, воспаленные, красненькие крошечные глаза обмывали осетру-носу бока. Рот безгубый: щелочка, а не рот.

Чародей, охнув, склонился перед боярином. Охнув, разогнулся. Били его, видно, всласть.

— Правда ли, что ты волхвуешь?— сказал Морозов.— Можешь ли ты из железа сделать золото?

— Смилуйтесь, господин!— Голос у чародея по его плоти никак не подходящий — густой, ровный.— В Европе много бродит обманщиков, которые обещают золотые горы доверчивым князькам. Я могу поставить на ноги запущенное хозяйство.

— Ты говоришь, что не знаешь чародейства, а сам напускал дурное на купца?

— О господин! Я вижу, вы человек мудрый. Вам нетрудно, посмотрев на меня, понять, что в моем положении можно было взяться и покойника воскрешать. Я был голоден.

— Кто ты?

— Я был среди купцов из Константинополя. По дороге нас ограбили казаки, а потом еще раз ограбили. Кажется, уже татары. Почти все мои спутники были убиты или взяты в рабство. Я притворился мертвым, спасся, но остался гол среди поля. Одежду с меня сорвали... Ваши добрые крестьяне дали мне одежду, кусок хлеба и указали дорогу к большим городам.

— Отчего ты так хорошо говоришь по-русски?

— В Константинополе я оказывал всякие услуги русским паломникам. Чтобы приносить им наибольшую пользу, я выучил язык. Они столько рассказывали мне об изобилии и благолепии Московии, что я крестился в православие и отправился в далекий и опасный путь. Увы мне! Увы!

— Тебе не понравилась Москва?

— Москва — лучший город Вселенной, но у меня ни дома, ни друзей.

— Сколько рассказывают о чудесах восточного волхвования. Жаль, что ты не знаешь этой науки.

— Я, верно, не знаю черной магии, но я все же кое-что умею. То есть это совсем не колдовство, даже наоборот!— Чуть ли не постукивая костями, неудачливый путешественник подскочил к Плещееву.— Умоляю! Не погнушайтесь! Возьмите меня за кисть пальцами.

— Возьми,— кивнул Морозов.

Плещеев сдавил руку своего пленника.

— Очень хорошо,— сказал тот,— так и держите.

Думайте обо мне! Только обо мне... Так! «Отвратителен, но, чует мое сердце, он пойдет далеко!» — вот что вы подумали. Я сказал неправду?

Пленник заглянул в глаза своему властелину.

Плещеев покраснел.

— Он угадал?— спросил Морозов, поднимаясь со своей скамеечки.— Да не таись ты!

— Слово в слово.

— Ну-ка возьми меня за руку!— решился Морозов.— Думать о тебе?

— Пусть ваша милость думает о чем угодно.

Угадывальщик набычил голову, глазницы у него наполнились слезами, глаза помутнели, на впалых висках проступили толстые синие жилы. Он выдернул вдруг руку из руки боярина, отошел к стене.

— Ваша милость изволили думать вот что: «Я его обману, шельму! «Отче наш иже еси на небеси...» А ведь он не дурак. «Отче наш иже еси на небеси...» А на что бы он мог пригодиться... «Отче наш иже еси...» — Угадывальщик повернулся к Морозову.— Дальше я могу спутать,— и умными глазами посмотрел на боярина.

Морозов стоял, словно его громом ударило.

— Это не чародейство!— испугался угадывальщик.—

— Это любой человек сумеет, только нужно...

— Черту душу заложить!— подсказал Плещеев.

Несчастный еврей упал на колени.

— Оставь мне его!— сказал Морозов Плещееву.— Тут колдовства нет. На нас с тобой кресты, в комнате иконы. Лови тех, кто о Тимошке болтает.

Плещеев, поклонясь, ушел.

Морозов долго бесцеременно разглядывал угадывальщика.

— А что, если я тебя управляющим поставлю? Какие ты мне доходы обещаешь?

— Ваша милость! От великой радости, что мне сохранена жизнь и что наконец-то я буду иметь крышу над головой, надо было бы обещать двойные доходы. Но я честный человек, я хочу посмотреть сначала то хозяйство, которым буду управлять. Я ведь действительно не колдун.

— А мне как раз колдун нужен!— мрачно сказал Морозов.

— Ах, ну если так! Позвольте подняться с колен?

— Вставай! Тебя никто не ставил.

— Ваша милость, в жизни столько превратностей,

никогда ведь не знаешь, где тебя ждет награда, а где плаха... Я учился всему и у всех. Я думал так: маленькому человеку любое умение когда-нибудь да и сослужит добрую службу... Упаси меня Бог! Я никогда не связывался с Сатаной, Вельзевулом, Люцифером, а вот с Астаротом, сообщающим о прошедшем и о будущем, я завел некоторые отношения. С Бельфегором еще — это гений открытий. Мне противны Асмодей, Ваал, Адрам-мелех, Самаелл! Ибо первый есть черный ангел-истребитель, а второй — дух адских легионов, а третий — канцлер ада, четвертый же, как известно,— истребитель новорожденных... Ничего злого я совершить поэтому не умею. Но я умею предсказать будущее, могу изготовить талисман счастья, талисман для приобретения покровительства коронованных особ, талисман для взятия неприступных крепостей...

— Ступай садись в мою карету! Я знаю, ты будешь верно служить, ведь по тебе костер плачет! Нигде ты такой защиты не найдешь, как у Бориса Ивановича.

Сказал и поморщился: «На тройке несет! Того и гляди совсем вожжи потеряешь. Экое глупое бахвальство, хотя все это правда истинная».

3

Для первой своей царской охоты избрал государь Алексей Михайлович красную охоту соколиную. И место выбрал красное — в семи верстах от Пресненской заставы и села Хорошова. О Хорошове всяк присказку скажет: «Хорошо Хорошово, да не наше, а царево».

Чтоб лишних толков в народе не было,— мол, не успел отца с матерью похоронить, а уже потеху завел,— взял с собою Алексей Михайлович не весь свой сокольничий полк, а только Петра Семеныча Хомякова, начальника над сокольничими, самого зоркого человека, может, во всей России, взял великого любителя соколиной потехи князя Юрия Ромодановского, Матюшкина, вестимо, да четырех простых сокольников: Михея, Терентия, Парфения Тоболина, Ярыжкина Ивана.

Подарила осень последний, видно, в том году чудный день. Октябрю имя — Грязник, ни колеса, ни полоза. А тут уже Прасковея Пятница — день от ночи пятится, на Казанскую дождик шел, все луночки залил — верный знак скорой зимы, а вместо зимы лето воротилось.

Теплынь, хоть кафтан скидай! Небо — как полынья,

чистое, синее, безмерной глубины, радости беспричинной.

В поле сквозняк, но не тот, что через пóры до самых костей пробирает, а тот, который с рыву, с маху деранет по спине лапой, и уж тут не от холода вздрогнешь, а от пробужденной молодой своей силы.

С четырьмя всего птицами поехали. Со старым челигом — этого Алексей Михайлович пожалел: до весны-то, может, и не доживет; с кречетом Свертяем, с новым челигом, безымянным, да с красным кречетом Гамаюном.

Соколиная охота верховая. Без коня делать в поле нечего. Птица с поднебесья словно по лучу съезжает, за добрых полверсты от места боя, бывает, приземлится; пока пробежишь, от добычи лишь перья и добытчик уже не охотник.

Алексей Михайлович, как выехал, все спешил, все в рысь пускал коня, а в поле забыл про узду. Тихо ехал.

Голова кружилась у царя от простора, от сини, от будущей радости соколиного лёта. И пора бы уж птиц пускать, а все медлил, продлевал муку ожидания.

Сердце аж заколотилось, когда обернулся к Ярыжкину с его Свертяем:

— Пускай!

Ярыжкин снял с глаз птицы клобучок, поднял рукавицу. Кречет, белошелковый, черноокий, как колдун, зыркнул глазами окрест и кинулся в небо.

Свертяй, конечно, видел: не один он в небе, ворон в синеструе плавает, выглядывает сверху падаль. Но Свертяй был замечательным кречетом. Он не кинулся на добычу. Он словно бы и знать о ней ничего не хотел, пока не утолит своей первой радости — высокого лёта. Кречет взмывал кругами. А Алексей Михайлович, следя за ним, обмирал от восторга.

Птица, плавая, винтом всходила с высоты на высоту, и глаза стали терять ее.

— Великого верха достиг!— шептал Алексей Михайлович, следя из-под руки.— Господи! Точка! Совсем точка! Пропал! Петр Семенович, ты-то видишь?

— Ну как не видеть? Твоему величеству на радость на такой верх забрался...

— Молчи! Молчи!— замахал руками Алексей Михайлович, словно говор людской мог помешать тому, что должно было произойти в следующее мгновение.

Кречет замер, прицеливаясь, и кинулся камнем на ворона, который хоть и умен, да не учуял беды.

Удар пришелся в крыло. Ворон закувыркался, но Свертяй догнал его, еще раз ударил, распарывая от хвоста до шеи. Снизу казалось, что бьет кречет грудью. На самом же деле он рубил жертву прижатыми к груди острыми, как ножи, когтями.

Убитый ворон все еще падал, а Свертяй уже взмывал ввысь, чтоб лучше углядеть, куда рухнула жертва. Забрать Свертяя поскакал Ярыжкин, а охотники, утешенные удачей, взяли галопом к озерцам. Вспугнули двух уток.

— Михей, твоего пускай, молодого!— решил Алексей Михайлович.

Молодой челиг сделал круг, а второго не закончил; увидал уток, забыл о небе, кинулся на селезня. Закогтил, понес.

— Глупый! Глупый и глупый!— сокрушался Алексей Михайлович.— Одной даже ставки не сделал.— До того огорчился, что слезы на глазах выступили.

Петр Семенович Хомяков, чтоб унять цареву досаду, подъехал к нему с Гамаюном.

— Ах ты, господи! Боже великий!— Царь тотчас забыл о глупом челиге.— Помыслить о такой красоте невозможно, а она — явь. Нет таких слов, чтоб красоту невозможную эту пересказать. Гляжу на него, а в груди слезы хлюпают! Восторг неизреченный!

Гамаюн, как бы раздумавшись о некой загадке, сидел на рукавице Петра Семеновича, белый, благороднейшей стати, черные глаза его были горячее, чем у сородичей. Глаза сияли, но не по-звериному и не по-человечески, в них был нездешний ум, да и кто знает, с какого неба опустилась на землю эта птица. Одно о ней ведомо: из Сибири. А Сибирь — тайна и тайна. Необузданный, уму неподвластный простор дремучих лесов, океан туманов, вечной ночи, вечной зимы.

Петр Семенович пустил кречета.

— Этому не надо дичи спугивать. Этот сам найдет!— приговаривал сокольничий начальник, трогая лошадь.

Гамаюн широкими кругами плыл и вдаль и ввысь. Он замер вдруг, паря на небольшой еще высоте, словно позволял людишкам полюбоваться собой. И опять принялся закручивать незримую пружину.

— Летит, а за ним как бы след!— подивился Алексей Михайлович.— Верно, Петр Семенович?

— Такая уж птица!— согласился Хомяков.

Гамаюн сделал ставку в порядочном верху, но остался недоволен высотой и стал забирать еще и еще.

— Не вижу!— воскликнул государь.— Матюшкин, Федька! Ты видишь? Князь Юрий?

— Уж не улететь ли вздумал?— испугался Матюшкин.

— Петр Семеныч, ты-то как?

— Я-то? Вижу еще! Только и мне теперь не понять, то ли все поднимается, то ли ставку сделал.

— Падает!— закричал государь.— Падает!

Охотники шарили глазами по небу, выискивая птицу, которую выбрал Гамаюн.

— Коршак! Вон коршак!— кричал государь.— В великом верху! Петр Семеныч, миленький

— Вижу, государь!

Гамаюн бил коршака жестоко, но не до смерти. Он наносил рану, взлетал, делал ставку и падал. Несчастный хищник стал добычей другого хищника. Трепеща в предсмертной агонии, коршак падал, с каждым мгновением набирая скорость. А Гамаюн шел опять вверх. Замер, и словно клинком полоснуло по небу. Кинулся в последний раз и вырвал жертву в двух саженях от земли.

— Слава! Слава!— Государь кинул с головы шапку, помчался к птице.

Матюшкин, князь Юрий и сокольники — за ним, а Петр Семенович — за царевой шапкой.

Старого челига тоже пускали. Челиг кречатый — самец кречета, самцы не столь прекрасны видом, и охотники они похуже. Но старый челиг не подвел. Добыл государю две совки. На одну совку ставок у челига было пятнадцать, расшиб в таком великом верху, что — где упала — не сыскали, а на вторую совку было двадцать. Вырвал ее старый челиг у самой земли.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Братьев-пирожников свалила горячка. Тот, что был тугой на ухо, сгорал безропотно. Очнется, разлепит губы, глазами Саввушку ищет, а тот уже воды несет. С младшим братом беда. Мечется, бредит, а то с постели соскочит и пускает по избе что только под руку попадет.

Саввушке страшно, а куда деваться? Мыслимо ли оставить одних не помнящих себя горемык. Соседи, торга-

ши мелкие, отшатнулись. Ни один проведать болящих смелости не набрался.

Да и как их осудить, соседей. Языки урезают врагам самого государя, предерзостным врагам. А ведь у каждого язык один, второй не вырастет.

Перемена царя — все равно что ледостав. Станет река, утихомирится — тогда и кажи нос из берложки-то! А пока крутит да вертит — сиди. На маленьком человеке невесть за что могут отыграться.

Голодать Саввушка не голодал. В амбаре у братьев и мука была, и репа, и пшено. Куры неслись. В курятнике и отсиживался, когда меньшой в беспамятстве избу громил.

Саввушка хоть и боялся буйного брата, а жалел не меньше. Тряпицы мокрые на головы обоим клал, за обоих перед образами молился. Отобьет за одного брата, тугоухого, сто поклонов, а потом и за буйного — сотню же.

Смилостивился господь, отвел болезнь, а Саввушке новое испытание. Он в курятнике каждый день, а на дню-то раза по три, а то и по четыре и по пять сидя, привык к курам. Сколько слез пролил перед рябыми да хохлатыми. Они ему в ответ: «Ко-ко-ко! Курр». На душе-то и полегчает.

И вот хоть в голос плачь, а утешителям — головы долой. Человеку после болезни еды нужно немного, но чтоб в еде крепость была, без куриного варева не обойтись.

Братья на Саввушку глядят, как он по дому хлопочет, радуются. Мимо идет — притянут, посадят возле себя на кровать, по голове гладят. Ручку его к сердцу своему прикладывают.

Тут еще вспомнилось Саввушке верное средство от лихорадки. Стал он паутину по углам собирать, толочь и поить братьев. Болезнь-то и совсем прошла: то ли от лечения, то ли время ей было, красноглазой, убираться.

Тугой на ухо вставать начал, по дому Саввушке помогать. А другой брат и посильнее, и болезнь одолел раньше, но ни к чему рук не прикладывал. Или в потолок, лежа, глядит, или сядет возле окошка, палец в слюне мочит и трет слюну. Сидел он так однажды... да как застонет, как заскрипит зубами, словно ворота на ржавых петлях распахнул.

Тут-то Саввушка и сообразил наконец: не знает он, как братьев зовут. И стыдно, и горько — не знает.

Спросить не у кого. Стоит Саввушке на улицу выйти, улица и пустеет.

А тут новая беда.

Однажды младший брат сидел-сидел у окошка да и вскочил, глаза круглые, кинулся за печь, топор нашарил и на улицу бежать. Тугой на ухо во дворе за подол рубахи успел его ухватить. Затащил в избу, а буян мычит, рвется:

— Гы-ы-ы! Гу-у-у!

Задрожал весь, перекорежился, топор взамах на брата. Метнулся Саввушка, как бельчонок,— на топорище повис.

...Плакали братья. Саввушку целовали. А потом достали из сундуков обновы, вырядились и один свой кафтан обкорнали, подарили мальчику.

В церковь пошли. Вечерню отстояли.

На братьев поглядывают, но украдкой. Возле братьев — простор. Прихожане от них — как мышки от кошки, лишь бы рядом не оказаться. И шепоток: «Плещеев, человек боярина Морозова, языки резал».

Молились братья смиренно, на коленях.

А выходить из церкви стали, увидел младший брат с паперти дворянчика-щеголя. Гарцевал на коне мимо церкви молодицам напоказ.

— Гы-ы-ы!

Людей вокруг себя меньшой хватает, на дворянина пальцем тычет, как бы науськивает. Все шарахаются. Кинулся было следом за щеголем, но старший брат удержал-таки.

Дома лампаду зажгли. Повечеряли. Тихо, славно.

И тут пришло старшему на ум тесто для пирожков ставить.

Младший брат отвернулся. Лег в потолок глядеть. А наглядевшись, вскочил, схватил бадью с тестом и выкинул за дверь.

— Гы-ы-ш-ш!— зашипел, как гусак, тугой на ухо да и вдарил ладонью брата по плечу.

Младший так и сел. Да тотчас вскочил, за рогач и рогачом печь крушить.

Сцепились братья, рухнули на пол, катаются, давят друг друга, душат.

Закричал Саввушка, кинулся из дому. А ведь осень, грязь, темень.

Прислонился к забору и заскулил: ни зги! Куда бежать? Кто поможет?

Вдруг зачавкала грязюка.

— Эй, кто сопли распустил?— Человек взял Саввушку за шиворот и поднял, чтоб самому не нагибаться.— Стряслось, что ли, чего?

— Убивают они друг дружку. Богом тебя молю, спаси!

Человек поставил мальчишку на землю, подумал.

— Переночевать место есть?

— На всю дюжину места хватит!

— Пошли.

Лампадка раскачивалась. Стол и лавки завалились. Два медведя на четвереньках пыхтели, упираясь друг в друга башками.

— Да в темноте и смазать как следует невозможно!— захохотал человек.— А ну-ка, божия душа, где ты? Запали огонь, чтоб мимо рожи кулаки не летали.

Саввушка метнулся к печурке, зажег лучину.

Братья отползли друг от друга.

Свет лучины выхватывал разбитые в кровь лица.

— Спьянели, что ли?— спросил человек, поднимая лавку и стол.

— Не пили,— сказал Саввушка.— Из церкви пришли и разодрались.

— Не поделили-то чего?

Саввушка разглядел: на человеке иноземный, в позументах, мундир, сапоги высокие, с раструбами, на руках перчатки, на боку шпага. Шляпу человек кинул на стол.

— Берегись!— крикнул вдруг Саввушка.

Невзлюбивший дворянчиков меньшой брат, не спуская глаз с незнакомца, тянулся к ножу. Нож, видно, упал со стола. Как только в драке не подхватили!

Офицер, сидя, ботфортом шмякнул по руке татя.

— Они что, разбойники?— не теряя веселости, спросил незнакомец.

Тут Саввушка упал на колени:

— Помилосердуй! Он не виноват! Им языки Плещеев отрезал.

Человек поежился, улыбка сошла с его лица.

— За что же так?

— Они в кабаке спорили. Один говорил, что царь даст крестьянам волю, выход, а другой говорил, что все останется как было.

— Откуда знаешь, что Плещеев языки резал?

— В церкви слышал.

Офицер встал, потупил глаза и вдруг быстро поклонился тихому брату и буйному тоже.

— Не виноват, а прощения у вас прошу.

Опять задумался. Махнул рукой.

— Э-э! Если думать про все такое, служить будет невмочь. Спать лягу. Я в городе первый день, вы уж приютите.

Тугой на ухо согласно кивнул.

— Вот и славно... Пожалуй, на плечи лягу, а то,— кивнул на меньшого,— как бы среди ночи не соблазнился глотку мне перехватить...

— Я с тобой полезу,— встрепенулся Саввушка.

— Ты кем же им доводишься? Сын? Бабы-то есть в доме?

— Не женаты они. Я — приблудный. Они меня взяли к себе, а тут вон чего приключилось.

— Давай-ка, брат, спать! Тебя как зовут-то?

— Саввушка.

— А меня — Андреем. Иноземного полка поручик Андрей Лазорев!— Поручик хмыкнул с веселым удивлением и тотчас захрапел.

2

Проснулся Саввушка в великой радости.

Всю ночь ему дом снился. Матушка в сарафане золотистом, в кокошнике, молодая, щеки круглые, ласковая. Братишки да сестренки за столом сидят, из двух чашек кашу едят пшенную, масленую, по краю с корочкой. У всех ребятишек головы гребнем частым чесаны, рубашки да платья на всех новые, братишки в сапожках, сестренки в желтиках. И будто бы и отец где-то близко, смотрит на семью, улыбается

Спохватился Саввушка: «Разыскать бы отца, поглядеть бы на него живыми глазами, он, может, и оживет». Где только не лазил ночь напролет, по чуланам, в подполье, под печкой, в печурки заглядывал, под лавки, в сундук... И уж вроде бы найти должен был. Все к этому сходилось... Да черная сила как застучит в дверь — Саввушка и проснулся.

Лежит и никак от сна не отойдет. Хорошо ему — своих видел, и горько — не успел на отца живыми глазами поглядеть...

Светло уже, печь теплая, во чреве ее гудит пламя. А тугой на ухо, старшой, в ступе сушеную репу для мазюни толчет.

Саввушка спрыгнул с печи; ночной благодетель исчез, не разбудил попрощаться.

Саввушка покрестился на иконы, вышел во двор по нужде.

Где-то в центре Москвы играла веселая музыка.

«Видно, вернулось войско, ходившее крымцев перехватывать»,— догадался Саввушка. Ему хотелось побежать поглядеть, но боялся он оставить братьев одних. Старшой, кажись, переупрямил, печет пирожки, а там как знать...

Когда Саввушка вернулся в избу, младший брат сидел у окна, чинил распоровшуюся под мышкой шубу.

Мальчик умылся в темном углу, за печью, подошел к раскрасневшемуся от жаркого огня старшому.

— Я — вот он, чего мне сделать?

Старшой улыбнулся Саввушке и показал на лавку у стола.

Завтракать сели вместе. Старшой уже и щей успел наварить, и каши.

Братья ели трудно, давились, как гусаки. Саввушка то в чашку глазами упрется, то в окошко, чтоб на них не глядеть.

Вдруг ему показалось — по двору ходят люди.

— Там кто-то пришел,— сказал он братьям.

Старшой отложил ложку, пошел поглядеть. Вернулся бегом, толкнул брата в плечо, сам за топор, а брату на пестик в ступе показывает.

Саввушка тоже из-за стола выскочил, ухват в руки — и за братьями следом.

Во дворе пятеро молодцов из дворянского ополчения сбивали замки с амбаров и подклетей. С саблями, с пистолями, они делали свое разбойное дело открыто, не торопясь — разве посмеет жалкий торгашек из дома сунуться? Они даже не обернулись на звук открывшейся двери, и Саввушка, выбежавший последним, перепугался за грабителей: сей миг случится убийство, братья, грозя, крикнуть не могут. И тогда он сам закричал петушком, голос сорвался:

— Лупи татей!

Дворяне развернулись — щелчок дать, а на них — два сбесившихся быка. Кинулись вояки к воротам, один саблю уронил — не обернулся, только бы ноги унести.

Захлопнул тугой на ухо ворота, меньшой брат запер их да еще бревном припер.

Отошли братья от ярости, Саввушку с ухватом увидали, руки в боки — и хохотать, а из глоток вместо колокольчиков — стон да клекот.

Замки на амбарах поглядели, где что поправили, со-

брались со двора домой, и тут в ворота сильно застучали.

Братья в руки что потяжелей и Саввушке показывают: погляди. Саввушка на забор залез — ночной постоялец на коне, а с ним — солдаты иноземного строя.

Увидал мальчишку, рукой помахал.

— Грабители минули ваш двор?

— Как минули? Гостевали, да братья их чуть не прибили.

— Ну и слава богу. Шалят нынче в Москве. А я тебя чего-то вспомнил, мимо ехали, вот и завернул... Будь счастлив! На Красную площадь едем, царя оберегать.

Дал лошади шпоры — грязь из-под копыт полетела аж до шапок.

3

Со стороны двор Бориса Ивановича Морозова — обычный боярский двор. Бревенчатый тын, терема за тыном, куполок домашней церкви. Двое ворот, парадные и хозяйственные, но и те и другие с башенками. Такой двор глазу приятен: терема друг перед другом красуются, и маковки тут, и шатры, и шпили, стрелы, коньки, петушки. А изнутри двор — не игрушечка. За тыном вроде бы пруды, да почти полным кругом, все равно что ров с водой. А на берегу вал, не высок, за тыном его не видно, но самый настоящий, для отражения приступов.

Морозов ходил по двору, глядел, как устанавливают на валу пушечки. Пятью пушечками в казне разжился. Бог даст — не пригодятся.

Для спокойствия ставил: спокойней, когда вокруг двора пушки.

Во дворе строились в ряды холопы, человек триста. Плохо строились, толкались, перебрехивались — всыпать бы, да время ненадежное.

Борис Иванович взошел на крыльцо. Дворня замерла, ожидая приказаний.

— Пойдите на Красную площадь. В оба глаза глядите за дворней князя Яшки Черкасского. Сами драк не затевайте и в драки не вмешивайтесь, но вот если дворня или даже кто из дворянского ополчения к моей особе будет добираться или — избави Бог!— царских слуг кто начнет теснить, тогда бейте разбойников без пощады.— Повернулся к стоявшему за спиной Мои-

сею:— Вели раздать большие ножи, кастеты, ослопы, но чтоб все не напоказ. Сторожить дом оставь не меньше полусотни. Как со всем управишься, немедля приходи в мои покои.

Моисей — одна нога здесь, другая там.

— Что угодно, господин?

Морозов, в парадной, но старенькой шубе, шапка собольяя, но тоже старая, на руках из перстней всего один, с камушком-охранителем, в руках свиток указа.

— Погадай, удержусь ли?— сказал на Моисея не поглядев.

— Нужна свежая проточная вода...

— Эй, кто-нибудь! Чтоб тотчас принесли с реки воды. Бегом!

— Еще бы молока из персей...

— Бабьего, что ли?

— Без этого никак...

— Федулка, гони к дворне... Сколько молока нужно?

— Ложку.

— Пусть баба кормящая надоит малость. Да мигом! Мигом!

Слуги умчались. Моисей подошел к боярину:

— Извольте волосок из бороды.

— Дергай.

Моисей выдернул, отошел в сторону, ожидая воды и молока.

— Верное ли гадание? — спросил, помолчав, Морозов.— На молоке беременной бабы гадают, когда хотят знать, дочь будет или сын. Потонет молоко — жди дочь.

— Не извольте, господин, беспокоиться. Я гадаю по древнейшему обычаю.

Принесли воду и молоко.

Моисей выслал слуг вон.

Налил воды в серебряную тарель. Сжег на свече волос из бороды, пепел кинул в молоко, молоко вылил в воду, напрягся, жилы выступили.

— Рупа, джива, линга, шарира! Боров, дракон, коса, можжевельник — приветствую духов Сатурна!

Помешал воду перстнем.

Молоко плавало, пепел свился спиралькой.

— Господин может быть спокойным.

Морозов, сидевший неподвижно, встал, улыбнулся не без издевки.

— Карету!

4

Царь Алексей Михайлович, натешившись красной ловлей птиц кречетами, возвращался в Москву. Ему было известно: дворянское ополчение явилось в стольный бить челом о разорении и бедности, и Борис Иванович, озаботясь, нашел-таки средство отвратить челобитчиков от бунта.

Первым, кто встретил царя еще за две версты от Пресненской заставы, был игумен Никон.

Алексей Михайлович ему обрадовался, сошел с лошади, благословился.

— Великий государь! — воскликнул Никон, сверкая черными глазищами.— Дозволь в сей час испытания быть возле тебя. Дворяне озлоблены, в Москве грабежи... Собою дозволь заслонить, коли, не дай господи...

— Что ты всполошился, отче?! Борис Иванович обещал постараться, чтоб все тихо было, славно. Но тебе, друг мой, спасибо! Спасибо.

Поехали вместе.

— Накопились у меня жалобы горькие,— сообщил Никон.— Приходить ли мне в назначенный тобой день?

— Друг мой! — слегка укорил Алексей Михайлович.— Об этом больше никогда не спрашивай. Приходи каждый раз. Я ради милосердия и ради твоих христовых хлопот все дела оставлю.

Возле Пресненской заставы царя встречали бояре, митрополиты, Никона оттеснили во второй и в третий ряд, а на Красной площади он уже плелся в хвосте царского поезда.

«Ужо погодите у меня!» — грозился он неведомо кому и не вслух.

А в народе его узнавали, пальцами на него друг другу показывали, кланялись.

— Заступнику нашему!

Радость, подмешавшись к обиде, распирала Никону грудь.

«Ужо погодите у меня!» — повторял он свою невысказанную угрозу, но теперь не с отчаянием, а с веселой, бесовской надеждой.

Едва шествие вступило на площадь, запруженную народом, к царю метнулся под ноги Васька Босой, известный на всю Москву юродивый.

— Царь, возьми меня собачкой на службу! — завопил он во весь тоненький, на сто шагов слышный голосок.— Гав! Гав! — Юродивый прыгал босыми ногами по заинде-

велым камням площади.— Царь, вон твои дворяне!— И, заливаясь злобным лаем, он кидался на мрачных ополченцев.— Они тебя зарезать пришли. Ты — агнец. А я не дам тебя зарезать, я твоя собака. Гав! Гав! Гав!

Дворяне, попавшие в первые ряды, отступали перед юродивым, норовили с глаз долой.

К юродивому кинулась стража, но Алексей Михайлович рассердился вдруг:

— Отойдите прочь от божьего человека!

Ударили колокола кремлевских соборов, из Спасских ворот шел встречать государя патриарх.

Царь благословился и рукой указал на дворян:

— Благослови их, отче!

Патриарх Иосиф, совсем уже старенький, перекрестил дворян. И тотчас зычный дьяк с Лобного места принялся читать царскую грамоту о льготах лучшему российскому сословию.

Дворяне кинулись слушать.

— Урочные годы на десять лет... Розыск и возвращение беглых крестьян... После переписи крепость на крестьян, бобылей и детей их, без урочных лет, навеки.

— Слава! Слава государю!— Дворяне кинулись на колени перед молоденьким, но таким мудрым и хорошим царем.

5

А пирожкам, поставленным в печь, что? Испеклись.

Взял старший брат, тот, что на ухо тугой, ящик, другой ящик дал Саввушке. Навалили пирожков, пошли торопко на площадь, пока народу много. Слышат, грязь за спиной у них больно уж чавкает. Повернулись, а это — младший брат, улыбаясь во весь рот, с ящиком за ними поспешает. У старшего брата слезы так и брызнули, а младший к нему голову на плечо положил, погладил по щеке и подтолкнул слегка: что было, мол, то прошло, пошли работать.

Царя Саввушка, как ни прыгал, не увидал. Видел издали шапки боярские, митры да клобуки духовенства, серебряные пики да топорики царской стражи.

На площади люди все с саблями, с пистолями да с ружьями — дворяне. Толкался мелкий торговый люд, нищие, шныряли хищно холопы Морозова, у каждого под полою то шестопер, то кистень. Были тут и крестьянского звания люди из ближних сел: кому купить чего надо, кому продать.

Когда дьяк с Лобного места объявил царский указ и когда другие дьяки стали читать тот же указ в разных концах площади, чтоб не случилось чрезмерной тесноты и смертоубийства, Саввушка с братанами кинулся к ближайшему дьяку — послушать. И послушал, да ничего не понял. Но тут по дворянству как бы волна прошла — на колени пали перед царем, сначала те, кто неподалеку от Радости России стоял, а потом — до самых дальних уголков площади. Когда многие на коленях, торчком торчать — гордыню казать, да ведь и боязно: запомнят и прибьют в переулочке. Крестьяне хоть и поняли, что царева милость для них — и намордник, и шлея, и кнут, а тоже встали на колени, склоняясь перед государевым словом.

Младший брат, когда с колен поднялись, ящик с пирожками скинул, поставил на землю и в ноги брату своему поклонился: мудрый ты, брат мой старший. Я, дурак, в цареву правду верил и пострадал за нее, а правды царевой, чтоб всем людям ласки поровну,— нет и быть не может. Есть одна правда — сильных над слабыми.

Потом поднял свой ящик, ходил по площади и раздавал пирожки тем, кто в армячках да в овчине с прорехами, и все мысал чего-то, урчал... с лаской.

6

Покой вернулся в дом пирожников. Стучала ступа, горела печь... Поставили братья тесто, сели перед печью на огонь поглядеть, а Саввушка у окна: за окном — сине, печь красным пышет, а за печью да в углах тьма — ямой угольной.

Братья плечом к плечу сидят, как две большие печальные совы.

И вспомнились отчего-то слепые певцы Саввушке, их песнопения, и запел он, будто сверчок, что на ум пришло:

Как невыразимо хорошо
жить братьям вместе!
Это — как драгоценный елей на голове,
стекающий на бороду
На бороду Аронову.

И еще ему вспомнилось, и, помолчав, запел он опять:

Ты будешь есть от трудов рук твоих —
блажен ты, и благо тебе!
Жена твоя — как плодовитая лоза
в доме твоем.
Сыновья твои как масличные ветви
вокруг трапезы твоей.

Спел как сверчок и замолчал как сверчок. И в тишине, как из-под земли, раздались вздохи, придавленные, но неудержимые. Тогда только и сообразил мальчик, какой беды он наделал. Жил он у братьев и никогда не задумывался, отчего они одни, без жен. Может, делить хозяйство, женившись, не хотят. Может, наоборот, деньжонки копили. Как теперь узнаешь? Только не было за все житье Саввушкино в доме братьев женщины, а братья-то не старики, хоть и бородаты. Старшему, может, лет уж двадцать, а то и с годом, младшему и двадцати нет.

Кинулся Саввушка к братьям в ноги. Старший обнял его, приласкал, а младший шубу на плечи, повозился за печкой чего-то и ушел. Ждали его ужинать — не дождались. Ждали спать вместе ложиться — опять не дождались. Пришлось дверь запереть.

А среди ночи загрохотало.

Саввушка с печи слез, нашарил лучину в печи, угли раздул, чтоб лучину зажечь. Открывать пошел старший брат.

По спокойному топанью ног Саввушка понял: вернулся младший брат.

Дверь отворилась — верно, он.

Улыбается, а сам весь мокрый. Мокрое это блестит жирно, и руки в мокром, и в обеих руках ножи.

— Да ведь это кровь!— воскликнул Саввушка.

Младший брат головой закивал, а сам улыбается.

— Он убил,— догадался Саввушка.

Поплыло тут у него в глазах, изба словно бы подскочила, перекувырнулась, и больше уж он ничего не помнил.

Когда в себя пришел, увидал: окошко на солнышке горит и красным, и синим, и желтым — зима.

— Зима!— сказал Саввушка, стягивая с себя шубу и садясь на постели.

К нему подошел с кружкой горячего питья старший брат. Саввушка отпил глоток — вкусно, с брусникой питье. Еще отпил.

Старшой головой кивает, глаза у него светятся — рад, что ожил мальчишка.

— А где же?..— вспомнил Саввушка меньшого.

— Фу-у!— подул старший брат и пробежался по избе.

— Ушел? Убежал? Куда?

Старший брат развел руками.

— Значит, убежал... Зима. Была бы весна, мы бы тоже ушли.

Старший брат, соглашаясь, закивал головой.

— Посплю маленько!— Саввушка опять лег и заснул, но это был уже настоящий сон, а не забытье.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Семнадцатого декабря колесом ходит халдейское гульбище.

У халдеев бороды медом мазаны, на головах у них шапки из бересты да из всякого дерева, в руках — огонь. Потому и бороды в меду, чтоб не спалить ненароком. Целую неделю, до самого рождества, ночь пугают. Только откупаться успевай! Не подаришь копеечку, сена у тебя воз — сено сожгут, борода густа — так и бороду.

Халдеи — слуги Навуходоносора. Когда-то угораздило покорителя народов соорудить золотого истукана, все люди царства истукану поклонились, кроме Седраха, Мисаха и Авденаго (иудейские их имена — Ананий, Азарий и Мисаил), были эти трое воспитанниками Навуходоносора, за их ученость и ум отдал он им в управление Вавилонию, а они отплатили за милость дерзостным непослушанием. Разгневался владыка, приказал разжечь пещь всемеро более, нежели как обыкновенно разжигают. Связали строптивцев, бросили в огонь, а они не горят, оковы с них пали, гуляют они среди пламени, гимны поют, а с ними четвертый, пресветлый отрок — сын божий...

Патриарх Иосиф посчитал игрища богомерзкими, и приказано было отваживать охотников с огнем по ночи бегать. А народу от веселиночки отказаться не хочется.

Для халдейских проказ весь август со мхов шишечки люди собирают, посушат их, потолкут и — в бычий пузырь, на продажу. Пирамидку набьют зельем, подне-

сут огонь к отверстию — так и улетит злат цветочек в небо ночное, распустит там искры и пыхи веселого нестрашного огня.

Весь день буран из домишек душу вытрясал, снегу намело по самые трубы.

Алексей Михайлович коротал время с дураками, карлами да бахарями. Радость свою делил с Федей Ртищевым.

Карлы щебетали как птички, кувыркались в дальнем конце палаты, а возле царя и дружка его, опираясь на палочку, сидел на чурбаке беленький и как бы даже заплесневелый, с прозеленью, зажившийся старичок. Не будь у него палки, он, может быть, и не удержал бы своего иссохшего тельца, но вот в голове у него было ясно и молодо.

— Как родник в сгнившем срубе,— шепнул Алексей Михайлович Феде.

— Кто?— не понял Ртищев, но точас закивал, догадался: верно, старичок был как родник, что все выбивается и выбивается из-под земли и все звенит, все так же холоден и сладок, а сруб и замшел, и прогнил, сядет комар — дерево прахом развеется.

— Так ты, сказываешь, бывал в Царьграде?— пытал Алексей Михайлович старичка, и не впервой,— хотелось или уж уличить в брехне, или счастливо удостовериться в правде.

— Бывал, государь. В Царьграде многие бывали... Я еще бывал и в таких землях, в которых, может, никто, кроме меня, из православных людей и не был.

— А что ж Царьград-то, хорош?

— Да ведь как же не хорош. Ая-Софья у них — это все равно что целое государство под крышей.

— Неужто так велика?

— Велика, государь. Такой себя блошкой там чувствуешь, уж такой махонькой, будто тебя и вовсе нет, будто ты и на свет божий родиться не успел.

— Так ведь в Ая-Софье мечеть! Басурманы осквернили великую церковь божию. Ты-то как проник? Басурманился, что ли?— Царь поглядывал на Ртищева: здорово, мол, путаю старикашку?

— Нет, государь! Басурманиться не басурманился, а, правду сказать, халат и чалму напяливал. Велика была охота хоть тайно, а побывать в величайшем доме господа нашего.

— Так господь за грехи отступился от этого дома.

— Что нам знать-то дано?.. Ты если о чудесных-то

странах послушать хочешь, так и слушай, а о Царьграде тебе твои послы рассказать могут.

— Прости, прости меня, старче. С великой охотой мы с Федором тебя послушаем.

— Был я, государь, в такой стране, где на многие дни пути песок — как зыбь морская. И бывает среди того песка живая земля, ибо напоена водой. И бывал я, государь, в странах, где люди черны как ночь. Страна у них дикая, лесная... Днем — помираешь от жары, а ночью — от великого ужаса, ибо в лесу поднимается рев звериный, и клики всякие, и вопли, и змеиный шип... А есть, государь, острова на море. И море там, государь, синее как небо. А небо синее как море. И цветы цветут круглый год. И люди не ведают ни холода, ни голода...

— Что же там, земной рай?

— Нет, государь! Люди, говорю, ни холода там не понимают, ни голода, а все недовольны, все им чего-то нужно, чего-то мало. Лик у земли, государь, разный, а люди хоть ликом и не схожи, а собачатся по-нашенски.

— Ну ладно, ступай себе!— отпустил умного дедка Алексей Михайлович.— Вася, иди-ка ты к нам да позови с собой тех, кто про колдунов да про оборотней знает.

Юродивый Василий Босой, взятый во дворец, был одет, как прежде: в рубище, на шее пудовая цепь, бос, но умыт, чесан, рубище в печи прожарено. Коротконогий, тучный, лобастый, был он, видно, страшно силен и страшно упрям. Брови всегда насуплены, а глаза из-под бровей — детские. Радости в них — на всю Москву хватит.

— Ты, батюшка, трусоват,— сказал Васька, садясь рядом с царем на его скамеечку.— Подвинься, чего расселся?

— Отчего же ты этак думаешь?— удивился Алексей Михайлович, подвигаясь.

— А вру, что ли? Трусоват. Боишься ведовства, вижу.

— Васька, дружок! Ну, сам ты посуди, как же не бояться? Против неприятеля войско можно выслать...

— А против чародейства есть крест!

— Так ведь как верим-то, Васька! Веры на маковое зерно ни в одном из нас нету!

Подошла к царю карлица, принялась ушами двигать: одно ухо вверх, другое вниз. Царь поглядел-поглядел, засмеялся. Тотчас другой карл закинул ногу за шею и прискакал на одной.

— Кыш!— махнул руками на карлов Васька Босой.— Ты, батюшка, правду сказал, дозволь ручки твои поцеловать.

Алексей Михайлович дал поцеловать обе руки да еще погладил Ваську по кудлатой его голове.

— Вера в упадке, государь. А все ж крест от всяческого наговора и колдовства — защита наилучшая! Я сам одну мерзавку испепелил до того, что в головешку обернулась.

— Ну-ка, ну-ка, сказывай!

— Мал я в те годы был, а уже юродствовал, уже познал радость служения господу. Взяла меня к себе одна баба. Видно, черти надоумили ее свернуть меня с пути истины. Кормит меня, холит, а за день-то у нее лба перекрестить времени нет. Возвращаюсь я однажды с обедни, и привязалась ко мне коза. Бородатая, роги — как турецкие сабли. Я шагу — она шагу, я бегом — она бегом! Свету невзвидел, как бежал! Во двор-то наш через плетень сиганул, а коза тут как тут — лбом калитку вышибает. Заорать бы — голос от страху совсем пропал. Тут вижу я корыто хозяйкино во дворе. Я — за корыто. Да и пригнись, чтоб коза меня потеряла. А под корытом-то — светы мои!

— Чего же там?— всплеснул руками государь от страха, от нетерпения.

— А под корытом-то — тело. Хозяйки моей.

— Это уж как водится!— взрокотав, встряла в разговор крошечная головастая карлица Верка. Чем она нравилась государю, так это усищами и неимоверным басом.

Федя Ртищев даже вздрогнул. И знал о Верке, а все равно вздрогнул, всякий раз вздрагивал и крестился.

— Это все правда истинная!— пропищал карл, сморщенный, с лягушиными перепончатыми лапками вместо рук.— Ведьмы, когда им приспичит в козу или в свинью обернуться, тело под корытом оставляют.

— Погодите!— отмахнулся государь.— Как же ты страсть такую пережил?

— А так и пережил! У меня на груди ладанка была, и святой воды в сулее нес. Я ладанкой тело и перекрести, а потом давай святой водой кропить! Да крест-накрест! И, веришь ли, тело поганое, что под корытом-то, на глазах почернело и стало как уголь.

— А коза?

— Провалилась!

— В землю?

— Уж не знаю куда, а только как и не бывало ее.

— А я что говорила!— грянула Верка.— Как ведьмам в коз не любить оборачиваться, когда всякий рогатый скот — создание дьявола.

— Что ты мелешь?— возмутился Алексей Михайлович.

— Правда истинная!— пропищал карл-лягушонок.— Черт овец, коз и всякий рогатый скот создал. Сам слышал — рассказывают. Погнал он свою скотину пасти да и заснул. А скот весь у него был одноцветный. Уж какого цвета — не знаю, а только одноцветный.

— Черный небось! Какой же еще?— грянула Верка.

— Может, и красный. Ну, уснул черт и уснул. А тут, известное дело, овода, комары, скот и разбежался. А господь собрал животин в сарай да и прикоснулся к бокам вербой с большими пушинками. Стал скот пестреньким.

— Неверный рассказ,— покачал головой Алексей Михайлович.— Все скоты земные — творение господа бога. Про то помните!

— Будем помнить!— пропищал карл.

— Чтоб нечистая сила стороной обходила,— решился заговорить один из бахарей,— нужно с собой травку носить по имени «кудрявый кягиль». Если на тощее сердце его съесть, никакая порча не возьмет. На пир с травкой этой ходят. В волоса спрячь и смело ступай хоть к боярину, хоть к царю. И почет будет, и все тебя будут любить.

Государя окружили кольцом. Рожи страшные. Федя Ртищев улыбается уродцам, кто поближе — погладит, а они рады, и царь рад: сердечные люди Ртищевы, что отец, что сын.

— Это смотря какая стрела пущена!— возразил бахарю другой бахарь.— Есть стрелы ужасные. Есть икоты, есть стекла, есть волосцы. Бабы еще ругаются: «Волосцы те в щеки!» Волосцы исцелить нетрудно. А вот икоты да стекла! Тут на колдуна великого знахаря ищи. А не найдешь, ничто тебя не излечит. Так поглядишь — человек как человек. И вдруг начнет его корежить, гнуть, начнет он икать, лаять, мяукать. Ужас.

— Ужас!— согласился государь.

— А правда за праведниками!— Васька Босой вскочил, цепями загремел.— Правда, государь, за праведниками!

— Истинно так!— прошептал государь.

— Кыш вы!— стал Васька поколачивать карлов.—

Послушай-ка, государь, об Ульяне Устиновне праведнице. В голодные годы, в Смуту, Ульяна Устиновна всем крестьянам своим волю дала и все голодные годы кормила из своих запасов, пока закрома да сусеки не опустели. А как опустели, так крестьяне не бросили благодетельницу, не ушли от нее, а стали драть кору с деревьев, а хлебы пекла Ульяна Устиновна. И были те хлебы слаще ржаного и пшеничного.

— Истинно так!— воскликнул государь.

В палату пришел отец Федора, постельничий Михайло Ртищев.

— Великий государь, Никон, игумен, приволокся с челобитиями.

— Иду!— проворно встал со скамейки Алексей Михайлович.— Васька, скажи мне: хорош ли Никон?

— Хорош-то он хорош... Отчего ж не хорош? Очень даже хорош!

— Рад, что и тебе нравится заступник вдов и сирот... Играйте без меня. Пойдем, Федя, порадуем нашего друга доброй вестью.

2

Каждую пятницу Никон приходил в дворцовую церковь к заутрене, а потом вел с государем приятные уму, очищающие душу беседы.

Скоро дни без Никона стали казаться Алексею Михайловичу пустыми, и велел он ему приходить чаще. Пускали монаха во все дворцовые палаты, но он ожидал выхода в красных сенях перед царскими покоями. Здесь на стол клали Евангелие, чтоб ожидающие времени даром не теряли, набирались бы мудрости.

— Что читал наш любезный друг?— спросил государь Никона.

— От Луки, главу десятую. «После сего избрал господь и других семьдесят учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им: жатвы много, а делателей мало; и так молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите. Я посылаю вас, как агнцев среди волков»...

Алексей Михайлович смотрел на Никона с восторгом.

— Наизусть все помнишь?

— Помню, великий государь. «Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому се-

му. И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится».

— Как это прекрасно — иметь всегда с собой вечную книгу... Но зачем же ты читаешь, Никон, если книга в голове у тебя?

— Для крепости, великий государь! Для смирения, для радости!

— Садитесь!— позволил Алексей Михайлович.

Сам сел на лавку возле окна, Федя Ртищев и Никон — на красные стулья.

— Слушаю тебя, драгоценный наш друг!

Никон развернул свиток, куда записывал прошения.

— Вдова стрелецкая Марья жалуется на стрелецкого пятидесятника Федота, соседа своего. После пожара ставил Федот новый забор да и оттяпал у вдовы половину огорода, а тем огородом, бедная, только и кормится. Детишек у нее семеро, и все еще малы, заступиться за мать не могут.

— Пожаловать Марью,— решил государь, глядя в стеклянное, в светлое окошко: сугробы, словно пироги из доброго теста, белы, а на макушках розовая корочка — заходит солнце.— Пожаловать ее, бедную. Пусть огород ей вернут да у пятидесятника-то у самого сажени на две пусть оттяпают, чтоб знал, как обижать слабых.

— Вдова Аграфена из дворян городовых, да обнищавшая вконец, челом бьет: дочь у нее в девках засиделась. Жених вроде бы сыскался, но хочет за женой двадцать рублей сверх приданого. Четырнадцать рублей у вдовы есть, а шести рублей взять неоткуда.

— Девицу по бедности замуж не брали или уродлива?

— И по бедности, великий государь. Уродства за ней не замечено, но уж больно нехороша. Лицо плоское, скучное, и сама тоже как доска.

— Бедненькую пожалеть бы! Коли сыщется человек, который пожертвует, так деньги тотчас и вручить вдове Аграфене. Была бы моя воля, так бы и приказал, чтоб страшных девок бабы не рожали, не плодили бы горемык.

— На все воля божия!— Это сказал Василий Босой. Ему тоже было дозволено по всему дворцу без докладов ходить.

— Садись, дружок, возле меня!— пригласил Алексей Михайлович.— Послушай, тот ли мы суд творим?

Василий Босой сел царю в ноги.

— Мне здесь хорошо. Читай, Никон!

Игумен поднял глаза на государя, помедлил.

— На попа Мирона из Казанской церкви многие жалобы. Блудом поп объят, как геенной. Девок попортил многих, вдов соблазняет, два мужа, у коих он жен собратил, побили его, а не унимается. Лютует.

— В Сибирь его, чтоб охладился,— подсказал Васька Босой.

— В Сибири попов мало...— раздумался Алексей Михайлович.

— В Сибирь! В Сибирь!— приказал Васька.

Никон поднял глаза на государя: юродивый становился ему невыносим.

— В Сибири попы нужны,— вздохнул государь.

Никон вдруг поднялся из-за стола и упал на колени.

— Будь, государь, милосерден ко мне! Никому я в прошении отказать не смею, и приходится просить по делам совсем уж несуразным, за людей недобрых, но ведь все мы стадо Христово.

Алексей Михайлович кинулся поднимать Никона с колен.

— Что ты, право? Не отрину я тебя.

— Как же не отринешь?— слезами плакал Никон.— За Улиту Кириллову дочь Щипанова приходили просить все десятеро ее деток, а она под стражу взята по твоему указу.

— Улита Щипанова?— стал вспоминать государь и вспомнил.— Ворожея из Важского уезда?

— Государь, десять деток у нее. От порчи она травами да кореньями лечила. Кнутом ее наказали в уезде и в Москве... Перекрестить бы ее на крещенье вместе с халдеями, взять слово с нее, чтоб не знахарила, да и отпустить бы.

— Так и будет!— сказал государь, улыбаясь.— По твоему слову. Как ты сказал. А нам тебе, вдовьему радетелю, тоже есть чего сказать. Верно, Федя?

— Верно, государь!

— По великому молению братии Новоспасского монастыря быть тебе в том монастыре игуменом.

Государь улыбался, и Ртищев улыбался, и даже Васька Босой, а Никон побледнел вдруг. Он уже успел встать с колен, но теперь опять повалился.

— Освободи, государь. Недостоин людьми править. Молиться хочу. В пустыню опять хочу, на океян.

— Господи!— Алексей Михайлович обнял Ртищева, прижал к себе.— Федя, сироты мы с тобой, опять сироты.— И заплакал.

Ртищев упал на колени, распластался перед Никоном.

— Молю тебя, святой отец! Не надрывай сердце ангельское господина моего лучезарного.

Никон с колен вскочил, подошел к государю, хотел, видно, сказать что-то сильное, доброе, но Алексей Михайлович припал головой к груди его и плакал навзрыд. Тут и Никон пролил обильные слезы.

Посморкались, помолились, простили друг другу прегрешения.

За окошком сугробы уже стояли синими, пора было отобедать, к вечерне пора, но Алексею Михайловичу не хотелось расставаться с другом своим любезным.

— Скажи, отец святой! Уж больно, что ли, хорошо на океяне-море?

— Несказанно, государь!— воскликнул Никон.— Стужи лютые, зима долгая, но все претерпеть готов ради не угасаемых дней лета. Сурово на океяне. И земля суровая. Деревья ветрами в жгуты скручены, камни, мхи. Стоишь на молитве, а никого нет вокруг с суетой человеческой. Только ветер волну гонит, только птица редкая по небу метнется да только ангелы в тишине парят. На океяне человек от бога невдалеке. Глаза не застит ни успех чужой, ни чужое богатство или привилегия какая. Об одном спасении помышляешь, и посылает тебе господь в награду неизреченную радость, когда видишь, что силы господнии разлиты и в океяне, и в каменьях, и в деревах, и в самом малом существе.

— Ах, мне бы на океян!— Алексей Михайлович привскочил с лавки.— Федя, как бы хорошо на океяне помолиться... Отец святой, еще расскажи.

— Государь, свет очей моих, а челобитные-то как же?

— Да-а! Ну, давай послушаю. Только быстрей говори, к вечерне собираться пора.

— Из города Вязьмы, как шел к тебе, посадские люди перехватили меня и слезно просили челобитную передать. Пишут, что стрелецких и ямских денег хотят с них взять как с девяти городов: Ужига, Кашина, Твери, Торжка, Городецка, Лук Великих, Можайска, Дмитрова, Венева, а четвертных денег — 507 рублей 20 алтын — в сорок два раза больше, чем с Торжка. Дворов посадских в городе против прежнего в пять раз меньше, а берут так же.

— Пожаловать их надо. Напиши им вместо пятисот четвертей две сотни, напиши, напиши, а то дьяк черк-

нет «взять к делу», и никакого дела не будет, а так-то, может, и послушают...

— У вдовы кузнеца Авдотьи Малаховой козу со двора свели... Одной козой и кормилась.

— Федя, а где ж мы козу возьмем? Святой отец, пожаловать надо вдову... Найдется если человек, который на бедность готов пожертвовать, так о вдове не забудьте.

— Еще одна вдова жалуется, молодая, осьмнадцати лет. Сосед, старик, к бане ее бегает подглядывать. Баня без окошек была, так он два прорубил...

— Кнута охальнику!

В комнату вошел старший Ртищев, Михаил.

— Великий государь, Борис Иванович пожаловал.

— Батюшка, с делами, чай!— испугался Алексей Михайлович.

— С делами.

3

Трудный день выдался у Бориса Ивановича. От крымской напасти — а то, упаси господи, и от турецкой — в южной степи строилась оборона: две цепочки крепостей-городов. При царе Михаиле были поставлены Чернавск, Тамбов, Козлов, Верхний и Нижний Ломовы, Усерд, Яблонов, Ефремов.

В первый год царствования Алексея осенью заложены новый Белый городок в Козловском уезде, в Воронежском уезде — острожки Орлов, Усмань, Отемар. Предстояло поставить Коротояк, Инсар, Недригайлов, Обоянь, Олешню. Думали и о сибирской оборонительной черте, о крепостях, имя которым будет Симбирск, Корсунь, Саранск, Чалны, Аргаш, Сурск, Тагаев, Уренск, Белый яр... В городах этих видели надежду на будущий покой государства. Но где же денег набраться?

Компанион по торговле солью, богатейший гость Василий Шорин продал Назарию Чистому мыслишку, не за деньги — за участие в деле. Посоветовал гость гостю все многие налоги: стрелецкие деньги, четвертные, данные, оброчные, ямские и прочие, прочие заменить одним налогом, да не прямым, а косвенным. Таким налогом, от которого ни один житель Московского царства не отвертится, будь ты хоть самим патриархом. Предложил Шорин Чистому продавать соль по две гривны за пуд. Гривна в те поры равнялась одному рублю семидесяти копейкам.

У Назария глазки заблистали. Если откупить у государства право сбора соляной пошлины, то прибыль со всех-то русских земель уж такая выйдет, что не только торговля — грабеж столько не даст.

Думный дьяк из купцов свои деньги умел считать, но особенно хорошо он считал чужие. Иноземные послы терпели от Назария многие убытки: вымогал он у всякого посла и у всякого посольства и деньгами, и подарками. Брал суммы по тем временам неимоверные. С голштинских послов, которые ездили в Персию устанавливать правила торговли, слупил до тысячи ефимков да еще украшение персидской тончайшей работы, с изумительными каменьями, вместе с душой вытянул, а стоила та запона две тысячи талеров. Голштинский князь Фредерик даже грамоту царю Михаилу присылал с жалобой на взятничество Назария, да сошло с рук — все ведь берут!

В торговых делах Назарий, когда прибыль сияла как солнышко на восходе, был скор и дерзок, составил грамоту и в тот же день явился к Морозову. Грамоту хитро составил: «...Та соляная пошлина всем будет ровна, и в избылых никто не будет, и лишнего платить не станет, а платить всякой станет без правежу собою. А стрелецкие и ямские деньги собирают неровно, иным тяжело, а иным легко, и платят за правежом с большие убытки, а иные и не платят, потому что ни в разряде в списках, ни в писцовых книгах имен их нет».

Борис Иванович прочитал грамоту и долго не мигая глядел на думного дьяка; тот было плечами под шубой соболиной поеживаться начал, а Морозов, не отводя пронзительных глаз, улыбнулся одними губами и спросил:

— Не пора ли тебе, думный дьяк, в судьи Посольского приказа?

— На то воля государя да твоя, Борис Иванович, милость,— поклонился Назарий.— Мне где укажет государь, там и буду, живота не щадя, на твои мудрые советы полагаясь. Только позволь и мне сказать накипевшее слово. Господин мой, приказ Большой казны без твоего начальства — совсем как сирота. Умоляю тебя, возьми приказ в свои умные руки.

— Без моего начальства в приказе Большой казны цену на соль поднять невозможно. Верно ты говоришь, Назарий Иванович, боярину Шереметеву, наитайнейшему-то, пора бы и честь знать!— Морозов достал вдруг

из ларца грамоту.— Для почину приказ Новой четверти на себя беру.

— Вельми мудро решил, Борис Иванович! Питейное дело — государю прибыльно.

— Прибыльно, Назарий Иванович, прибыльно. А скажи, кого бы мне взять в дьяки в Большую-то казну? Одного дьяка я держу на примете: что ты скажешь о Матюшкине Иване Павловиче?

— А что скажу? Очень хороший человек!

И оба подумали: ну как Ивану Павловичу быть нехорошим, когда сынок его Афоня первый товарищ у государя.

— А вторым дьяком кого взять?

— А вторым возьми Анания Чистого.

— Твоего брата?— Борис Иванович так и уставился на советчика.

— Я об Анании словечко молвил не потому, что он брат мне, а потому, что польза от него будет государю великая. Ананий чужой копейки под ножом не возьмет, а в Большой казне хорошо считать нужно.

«Ну и наглец!» — ахнул про себя Морозов, хотя и понимал: Назарий три раза прав. В приказе, где ведают всей наличностью государства, всеми доходами, теперешними и будущими, чтоб руки-то хоть немножко погреть, за труды-то, за ночи бессонные, за вечный страх, за всеобщую нелюбовь и зависть, своего нужно человека держать, единокровного — ведь никому верить нельзя!

А во-вторых, вся торговля солью идет через Назария, без доверенного человека в приказе ему никак не обойтись.

Ну и, наконец, в-третьих: Ананий — муж ума государственного, ему не страшно дело доверить.

— Анания возьму,— согласился Борис Иванович.— Половину прибыли тебе. С кем ее делить будешь, знать не хочу.

«Меня рукастым зовут,— подумал Назарий,— а этот цапнул половину куша и в лице не переменился».

— Я тебе, Назарий Иванович, доверяю, но не спросить все-таки нельзя: хорошо ли посчитал, покроет ли налог на соль все прежние налоги, не будет ли казне убытку и не слишком ли соль дорога?

— Господин Борис Иванович, мы с Василием Шориным считали по-всякому. Меньшей цены, чтоб налоги покрыть, взять никак нельзя. Однако астраханскую и яицкую соль, которая идет на соление рыбы, нужно обложить вполовину, одной гривной.

— Неужто избавимся от постоянной муки выколачивать недоимки из тяглецов?!— воскликнул Морозов, отдаваясь радости.— Я думаю, для верности всего предприятия нужно разрешить курение табака, а торговлю табаком сделать царской монополией. Кнуты свищут, а дымок все равно колечками вьется.

— Ах, Борис Иванович! Я об этом и думать не смел, чтоб не вызвать твоего неудовольствия.

— Уж коли все зовут меня правителем, надо править. Без смелости править нынче невозможно, новые времена настигли матушку-Россию.

Морозов говорил это, подчеркивая каждое слово, и Назарий Чистый понимал: говорит боярин для того, чтоб вся Москва перешушукалась.

4

В тот же день Борис Иванович Морозов и Назарий Иванович Чистый имели долгий разговор с боярином Василием Ивановичем Стрешневым. Боярина отправляли послом к польскому королю Владиславу для поздравления его величества с новым браком на Людовик-Марии Мантуанской. Посольству вменялось говорить о подтверждении Поляновского мира, о союзе и совместной войне против крымского хана, но более всего и прежде всего посольству вменялось требовать наказания всем, кто в грамотах московскому царю допустил пропуски и умаления в титуле. За большие ошибки надлежало требовать смертной казни, за малые — наказания жесточайшего.

И на этом великом и тайном промысле не закончились дела у Бориса Ивановича.

Посылал он за Петром Тихоновичем Траханиотовым и говорил с ним с глазу на глаз.

— Плещеев за тебя тут хлопотал,— сообщил правитель своему шурину, посмеиваясь.— Душа человек! Словно это он сам на моей сестре женат. Не корю, а хвалю твоего друга и родственника. Так-то верней, когда за своих стоят и при случае хлопочут. Ты-то и вправду «Тихоныч». Другой на твоем месте все уши бы мне прожужжал о родстве-то, а ты молчишь, ждешь. Или, может, гордишься?

Петр Тихонович, поерзав, сполз с лавки и очутился на коленях.

— Да сиди ты!— Морозов как бы отмахнулся, но и одобрил улыбкой смирение шурина.— Дело я тебе даю совсем не овечье, волчье даю тебе дело. Сам свою судь-

бу и решишь. Сделаешь все, как нужно,— получишь приказ. Волю государь дает тебе большую, но зазря князьков-то, а особенно духовенство, не обижай. Когда нужно обидеть, тоже много не раздумывай, а без дела — не трожь!.. Вижу, навострил ушки. Значит, скучаешь в Москве без службы. Поедешь недалеко, во Владимир. Будешь собирать посадских людей, беречь их, стоять за них. Города теперь вконец расстроены, тяглецы поразбежались: кто под патриаршью руку нырнул, кто ушел на монастырские земли, кто к сильным боярам. За кем бы ни числились людишки, если они в прежних грамотах не записаны,— забирай в посад. Города не стенами должны быть сильны, а людьми.

— По каким книгам в посад возвращать?— спросил Траханиотов без всякой уже игры.

— По писцовым книгам 1637 года. Заберешь в посад всех огородников. Всю землю, за кем бы она теперь ни числилась, посаду вернешь. Торгашей тоже в посад,— говорил Морозов жестко, а кончив о делах, помягчел.— Видишь, сколько всего? Тут псом и псом нужно быть. И не тем, который тявкает, а тем, который сразу берет за глотку.

— Выдюжу, благодетель ты наш, свет Борис Иванович!

— Выдюжишь! Чего не выдюжить! Не от своего куска, чай, землю будешь резать. У других отнять легче!— И засмеялся белозубо.

«Крепкий старичок!» — подумал Траханиотов о зяте.

— Пока о разговоре нашем даже сестре моей не говори,— предупредил Борис Иванович, провожая Петра Тихоновича до дверей комнаты.— Потерпи. Сначала нужно сесть в приказе Большой казны. Но в дорогу, однако, собирайся. Я бы на твоем месте послал во Владимир человека смышленого, который все бы тебе и доложил, когда в городе объявишься.

Петр Тихонович поклонился, коснувшись рукой пола, истово и искренне.

Были в тот день у боярина Морозова и другие многие дела: гонял дьяков, слушал доносы на Шереметевых и Черкасских, занимался своим Иноземным приказом, слушал отчет управляющего нового и лучшего своего владения — Лыскова и богатейшего села Большое Мурашкино. Управляющий на всякий вопрос ответ давал

круглый, ласковый, и Морозов решил: надо послать на волжские земли Моисея.

Кажется, совсем уж изнемог под тяжестью наитайнейших и великих дел, и вдруг — гонец. Да такой гонец, что со смертного одра пришлось бы встать и выслушать.

Молдавский государь Василий Лупу извещал: турецкий падишах Ибрагим затеял морскую войну с Мальтийским орденом, Ибрагиму теперь гребцы на галеры нужны, требует от крымского хана, чтоб тот без промедления шел в набег за русскими сильными мужиками. Хан Ибрагима ослушаться не смеет...

Добрых полчаса сидел Борис Иванович в кресле, ни о чем не думая. Рукой пошевелить и то было противно.

5

Алексей Михайлович встал, приветствуя своего воспитателя, пошел ему навстречу, но не потому, что слишком обрадовался Борису Ивановичу, а потому, что хотел немножко схитрить.

— Приветствую тебя, великий государь, в добром здравии, в красном цвете твоих весенних лет!— пышно пропел Морозов, напуская на себя беззаботность.

«Ну, ясно как божий день,— смекнул Алексей Михайлович.— Пожаловал с вестями самыми худшими. Надо от него сбежать».

— И мы приветствуем нашего добролюбца,— ответил царь и поискал глазами молодого Ртищева.— Федор Михайлович, за шубой-то моей сходи. Мы, Борис Иванович, на вечерню идем. Такие разговоры разговаривали, что и не отобедали.

— Помолись, заступник ты наш, помолись за всех нас!— продолжал игру Морозов, поздоровался с Никоном, к Василию Босому подошел, а тот вдруг отвернулся.

— А ну тебя к бесу! Войну за пазухой держишь.

Морозов даже рот раскрыл, засмеялся было, но смех оборвал, оглядел присутствующих.

— Так я шубу пойду надену,— сказал царь и пошел в спальню; увидал, что Васька-юродивый, провидец, не промахнулся, и, чтоб не выставлять из кабинета близких сердцу людей — государственная тайна дружбы не знает,— вышел сам. Морозов пошел следом.

— Крымский хан получил от султана Ибрагима приказ добыть лучших гребцов на галеры. Султан Ибрагим объявил войну Мальтийскому ордену.

— Я догадался, лучшие гребцы — русские мужики!— сказал Алексей Михайлович, пробуя пальцами пушок на верхней губе: не стал ли пожестче.

— Верно, государь! Русские мужики.

— Надо войска навстречу послать, как батюшка в прошлом году посылал.

— И без всякого мешканья, государь! Я как получил известия, с час тому всего, да и раздумался: кончать надо крымского волка, великий государь.

«Господи, ну чего он тянет,— думал Алексей Михайлович,— говорил бы скорей, чего надумал, да и отпустил бы меня».

— Да, надо кончать!— твердо сказал государь.

— Я, Алешенька, вот что надумал,— перешел на шепот Борис Иванович.— Ох, прости, бога ради, по старой привычке... Алешенькой-то.

Хитрый старик согнулся, поставил одно колено на пол.

— Я не сержусь, мне по душе от тебя слышать «Алешенька».

— Дело, государь, промедления не терпит, я твоим именем посылаю в Астрахань стольника Семена Романовича Пожарского. Он возьмет астраханских стрельцов, соединится с тверскими казаками да дворянами и пойдет на Дон, а на Дон с деньгами пошлем военного человека, чтоб набрал войско. Соберем армию в Воронеже. А в Белгород пошлем Большой полк.— И тут вдруг в глазах Бориса Ивановича проскочила искорка.— Пусть полк поведет князь Никита Иванович Одоевский.

— Пусть!— согласился Алексей Михайлович.— Борис Иванович, на вечерню я опаздываю.

— Государь, я тебя держать не хочу, но завтра надо тебе в Думе быть. Посла в Польшу посылаем, приказ Большой казны надо у Федора Ивановича Шереметева забрать, болеет князь, в приказ не ездит, глаза стыдно показать — недостача у него большая. Оттого и казна пуста.

— А без меня не обойтись?

— Не обойтись, государь!

— Ну ладно. Я завтра приду в Думу, посижу. А уж сегодня, будь милостив, отпусти. Люди меня ждут.

— Смею ли задерживать твое царское величество?— поклонился боярин.— Одно скажи, лепо ли воеводой Большого полка поставить князя Никиту Ивановича?

— Очень хорошо!— согласился Алексей Михайлович, ныряя в шубу, которую принес и держал Федя Ртищев.

Одевшись, государь стал вдруг медлить, перчатки попросил на рукавицы заменить. Рукавицы принесли красные — попросил зеленые. Вспомнил, что надо бы на дорожку облегчиться, скинул шубу, наскоро простился с Борисом Ивановичем, а стоило тому за порог — шубу на плечи, рукавицы взял красные, Федю обнял:

— Прости, брат!.. При Борисе Ивановиче уходить из дворца не хотел. Пришлось бы по-царски, а мы — тишком!

Никон слушал радостный шепот царя и глядел в сторону. Тишком, тайком... Он мечтал быть с царем на людях, чтоб все видели, чтоб во всем великолепии.

— Святой отец!— услышал Никон царя.— Идем-ка в малую какую церквушку.

И опять у Никона сердце печально екнуло: мечтал явиться с царем в Успенский, чтоб митрополитам, самому патриарху кинуться в глаза, а у царя на уме одно мальчишество.

— Великий государь, это изумления достойно, что ты не забываешь самых сирых во владениях своих...— Голос у Никона дрожал от обиды, но все приняли скоки в голосе за умиление.

6

В церквушке было тесно. Алексей Михайлович весьма удивился: церковь убранством бедна, свету в ней мало, иконами не знаменита.

Служили три попа. Скоро стала государю понятна завлекательность этой церквушки. Здесь пели священные тексты в шесть голосов сразу. Шесть человек читали разное. Понять ничего было нельзя, но служба зато кончилась так скоро, что государь и его спутники в себя еще не успели прийти от изумления.

Народ, весьма довольный, тотчас покинул церковь, а государь все стоял на месте — губы сжаты, глаза узкие.

— Никон!

— Слушаю тебя, великий государь.

— Вертеп!

— Вертеп и есть.

Царь сорвался с места, вбежал в алтарь, схватил изумленного попа за грудки. Поп был огромный, краснощекий.

— На Соловки!— крикнул государь в лицо молодцу в ризах.— Всех на Соловки!

И пошел из церкви вон.

— Чего это он?— улыбаясь, оглянулся на своих товарищей поп-молодец.— Да кто это? Да как он смел за грудки-то меня? Догнать бы...

Старый поп одной рукой схватился за сердце, другой замахал:

— Это — царь! Это — сам царь! Погибли!

Поп-детинушка почесал в затылке, но тотчас скинул с себя облачение, взял у послушника кружку с деньгами, высыпал в полу рубахи, зажал полу в кулак, шубу да шапку подхватил и двинул в ночь, не оглядываясь.

Государь в сердцах тоже расшагался, Никон не отставал, а Ртищеву приходилось петушком семенить.

— Великий государь,— говорил Никон с напором,— весь этот срам и блуд искоренять надобно рукой железной. В Москву надобно собрать таких попов, которые Москвы достойны. Вот в Нижнем, знаю, поп Неронов служит. Брошенную церковь к жизни вернул. К тому тоже народ валит, но не затем, что служба скорая,— слово хотят слышать. Неронов-то, Иван, словом божьим как пламенем прожигает.

Алексей Михайлович снял рукавицу, пожал холодную большую руку Никона.

— Спасибо!— И позвал:— Федя, где ты?

— Я здесь, великий государь.

— Запомни: Неронова из Нижнего в Москву надобно позвать. В Успенский собор!

Они стояли на засыпанной снегом улочке.

— Великий государь, во дворец пора, спохватятся!— сказал Ртищев.

И тут из переулка с факелами выскочила ватага халдеев.

— Эгей! Ликуй! Жги!— Они вскрикивали звонкие слова без всякого смысла, веселия одного ради. Увидали людей без огня. Закричали, загалдели пуще прежнего:— Держи! Держи их!

— Государь, к церкви!— закричал Федя, загораживая Алексея Михайловича. Но размалеванная, разухабистая толпа была уже вот она.

— Откупиться надо!— Ртищев рвал на шубе петли, чтоб достать в кафтане деньги.

Опережая толпу, выскочил мальчик с факелом.

— Копеечку!— И шапку лубочную скинул, кудри просыпал на плечи.

— Сгинь!— Никон в черном одеянии своем шагнул толпе навстречу, взметнул кверху руки, словно крылья

развернул. В правой руке тяжелый медный крест — с груди сорвал.— Ис-пе-пе-лю!

Халдеи остановились, смех умер.

— Монах!

— Игумен!

— Да это Никон, заступник!— Толпа качнулась, распалась, огоньки прыснули во все стороны.

— Прибирать нужно Русь-матушку,— сказал государь тихо и печально.

— Куда?— не понял Ртищев.

— Прибирать! Как в горнице прибирают. Чтоб чисто было!

Быстро, молча шли по темным улицам к центру Вдруг государь остановился, Ртищев чуть не налетел на него.

— А мальчишка-то! Ведь я его видел. Точно ведь видел, только где?.. Вот царская доля: мелькнет человек, посветит и канет, как звездочка слетевшая.

У Спасских уже ворот Алексей Михайлович тихонько засмеялся:

— Вспомнил! Я этому мальчику рубль пожаловал, когда к Троице шли.

— До чего же глаза у тебя, государь, остры!— удивился Ртищев, а сам о другом подумал: не робок сердцем царь, такая горячая минутка удалась, а он лица рассматривал.

— Сокольнику без хороших глаз в поле делать нечего!— очень довольный собой и похвалой Ртищева, засмеялся государь и стал прощаться с Никоном.

А у того кровь в висках все еще бухала: «Прости меня, господи! Прогневил понапрасну. В Успенский собор жаждал с государем явиться. А ты вон что послал — заслонить кесаря от нечестивцев».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

На обоих оконцах, огораживая от света божьего, висели шубы, а свет все ж трепыхался по избе. Печь белела, как побитое крестом, оробевшее привидение. Серебряная потухшая лампада выступала из черного тумана, ризы на иконах мерещились. Дух в избе: вдохнешь, воздух не течет по груди — колом пробадывает.

Волосатый, как домовой, громадный, лежал мужик

на полу, раскинувшись во все стороны. Завозился. Сел. Пошарил вокруг слабыми от многозелья руками. Охая, придвинулся к окошку, потянул шубу. Как ножом резанула голубень.

— Бело-то! Господи, царица небесная, де-ень! Который только? Марковна, который сегодня день?

— Святой мученицы Агафии, февраля пятый...

— Э-э-э! — сказал грустно мужик.— Со сретенья, стало быть, себя не помню. Третий день...

Задрожал. Обнял руками колени, подтянул к груди, пытаясь согреться.

— Господи! Трясуница! Марковна, чего холода напустила? Печь-то, чай, не топлена? Господи! Да ведь масленица! А блины и не поставлены, чай?

— Как во тьме-то кромешной поставишь? Огня запалить не даешь. Окна шубами закутал.

— Ты на печи, что ли?

— А где ж, как не на печи! Себя и младенца от лютости твоей спасаю.

Весело заверещал Ванюшка, откликаясь на подобревший голос отца: второй годок идет первенцу.

Мужик закрутил головой, жестоко двинул лбом стену и затих.

— Петрович, ты чего? Ай зашибся?

— Стыдно мне, Марковна!— И выдохнул из себя скопившийся смрад.— Дай, бога ради, квасу и прости.

Сдернул шубу с окна. Подождал, пока брюхатая, пострашневшая жена подаст квасу, выпил, стуча о ковш зубами, и опять лег.

— На постель ступай!— попросила Марковна.— А печь я затоплю, блины поставлю.

— Куда мне, псу, на постель? И на полу больно хорошо.

Марковна нагнулась, накрыла мужа шубой.

— Спасибо, голубушка! И прости меня, прости!.. Сама знаешь, не пил никогда. Отцовское, видно, взыграло. Он, царство ему небесное, ни себя, ни вина не щадил.

Закрыл глаза.

Марковна отошла на цыпочках, захлопотала у печи.

— Марковна!— позвал, не разжимая век.— Зарока, убоясь гнева божия, не даю. Но было сие и не будет больше. Иван Родионович на грех навел... Ванюшка не упадет с печи?

— Я его загородила.

Встал, подошел к бадейке с квасом, хотел зачерп-

нуть кружкой, но передумал. Кружку поставил, поднял бадью, прильнул.

— Петрович, не лопни!— всполошилась Марковна.

Петрович, улыбаясь, показал бадью жене:

— До гущи высосал. Новый заправь квасок... Теперь легче,— и хватил кулаком по столу.— Будь он проклят, антихристов сын.

— Господи, кого ж ты этак?— испугалась Марковна.

— Ивана Родионовича, вестимо.

— Не шумел бы ты, Петрович! У начальников руки длинные, а ум короток. Разорит он нас, до смерти прибьет.

— Все равно — негодяй, собака, прыщ вонючий. Таких на привязи надо держать.

— Ну вот,— тихо заплакала Марковна.— Опять ты за свое. Опять гневен и неистов.

Петрович кинулся к жене. Обнял легонечко, живота драгоценного чтоб не потревожить.

— О матушка! Прости! Прости! Бесы загрызли вконец. Пойду в лес, помолюсь. Успокою душу, молитвой натружу.

И тотчас шубу на плечи, малахай на голову, рукавицы под мышку и за дверь.

Не человек — буран.

Петрович вылез из избенки своей и не возрадовался, что вылез.

— Ой, да ты мать твою! Ой, да мать!.. Уу-ух! Мать твою-ю-ю!— давил в себе стон, перемогался на все Лопатищи, знать, терпеливый какой мужик. За тыном, на широком воеводском дворе Ивана Родионовича перемогался.

Петрович шмякнулся спиной об избенку, пятерней по груди завозил, замотал головой, словно самого пластовали.

Петляя по утонувшим в снегу тропкам, трусил с воеводского двора, с оглядкою, шабер Петровича Сенька Заморыш. Увидал, как попа ломает, остановился.

— Ты чего, батько Аввакум? Ай угорел?

— Терпежа нет слушать... Все забавляется ворог мой?

— Пластует!— засмеялся Сенька.— Всех пластует! Все Лопатищи, в очередь. Я, слава господи, свое оторал.

— Чего же весел?

— А я кату посул сделал. Он и надоумил, добрая душа.

Сенька пооглядывался, присел на крыльцо, скинул валенки и стал вытягивать из-под штанин длинные толстенькие дощечки.

— Во!— И залился счастливым смехом.— По ногам лупцуют. Без валенок! А как же? Чтоб чуял. К столбу веревкой и по ногам. А мне ничего. Только все равно ору, аж визжу. Сам Иван Родионович заступился. Ух, рявкнул! «Не обезножь, кат, мужика». Правду сказать, напоследок перепоясал меня, мерзавец, по заднице, за то, видно, что орать перестарался. Ну да задница — не ноги, на пузе посплю.

— Сколько же изверг измываться будет над людишками?— опять покрутил Петрович лохматой головой.

— Недоимков за десять лет. Да хоть до смерти запори, много не выбьешь. С палачом туда-сюда, а с царем расплатиться, хоть сам себя продавай,— кишок не хватит. И оброчные деньги требуют, и четвертные, данные, доимочные, стрелецкие. Покойный царь стрелецкие деньги в семь раз повысил. Виданное ли дело?.. А потом, ты посуди, Петрович, за десять лет народу из посада ушло — да вполовину! Кто в бега, кто в стрельцы, кто на монастырские земли переметнулся. А кто не убег, тот и плати за всех.

Дурным голосом завыла на воеводском дворе баба. Петровича передернуло, сунул пальцы в уши, в лес кинулся. Прямиком, как лось.

По лесу пахал, пока сил не стало. Повалился лицом в голубой пуховик сугроба.

— Господи! — шептал.— Возлюбим друг друга... Возлюбим друг друга...— Поднялся, махнул руками на лес, закричал что мочи: — Возлюбим друг друга! Ой, да возлюбим друг друга!

Плакал как ребенок. На снегу лежал.

Когда опять поднялся, почувствовал — застыл. Синё и в небе, и на земле. Вечер.

— Свете тихий славы святой бессмертного отца небесного, святого блаженного Иисуса Христа! Пришло солнце на запад, и дано нам увидеть свет вечерний, и поём отца бога, бога сына и святого духа божия.

Возликовал душой Аввакум, выбрался из снегов по следу своему, домой не заворачивая, пошел в церковь.

Служил вечерню, светом невидимым осиянный. Слезу из прихожан вышибал словом. Слово — звук, но макни его в иордань сердца — без кресала и камня высечет огонь.

В тот вечер жена Ивана Родионовича исповедалась со слезами и стоном.

Оттого, видно, воевода и стукнулся за полночь в домишко поповский.

— Отвори, Петрович!— захрипело за дверьми.— Не пужайся. Один пришел.

Аввакум отодвинул засов.

— В избу не пойду. В сенях поговорим.

Иван Родионович мужик был статный и нестарый и лицом недурен. Нос тонкий, зубы белые, ровные, глаза от висков узки, а к носу в полную луну. И все ж таки — зверь. Бог его знает, на какого нетопыря он походил, а только страшно с таким вблизи жить. Говорил медленно, словно трудно ему было языком ворочать и словно думал очень, прежде чем сказать, а думать ему было нечем. Над переносицей едва взбугрило да тотчас и поросло конским негнущимся волосом. Глаза хоть и горят, да весь огонь — бабу за подол ухватить. Ухватить бабу за подол, за подол бы ухватить... Вот и весь пых. Щеки у него лоснились, губы пунцовели. Перстни на пальцах, белых, длинных, искрами сорили. Такой воевода упрямому попу — крест и крест. Умный бы — трети не углядел, а Петровичу во всех кучах покопать нужно, расшевелить, чтоб все дерьмо поверху плыло.

Тут еще строгости московские пошли: подавай новому царю налоги сполна, и про недоимки забыть тоже не захотел. Твердая рука Ивану Родионовичу как бы дождь после засухи, тосковал без указующего перста.

Лопатищи — глухомань-матушка. Для худородного дворянина оно, может, и больно хорошо: кормление, службишка... А все ж вроде бы и на выселках. Иван Родионович, конечно, рад расстараться, чтоб углядели сверху. На такой правеж Лопатищи поставил — крику не хватало кричать.

Увещевал поп Аввакум воеводу. Просил, молил, грозил... Да попу-то двадцать пять лет всего, петушок. Довел дело до бури. После вечерни прихватили на пустыре подосланные, кто по уху, кто по животу. Постукали и разбежались. Нет бы и самому до дому кряхтеть — вдогонку кинулся. У ворот воеводских другие ребята переняли. Побили на глазах у воеводы. Тот только похрюкивал.

Гордыней как колесом переехало. Ни спать Аввакум не мог, ни есть, ни службу служить. Право слово — осатанел. Бегал к воеводскому двору с колом и с огнем. Колами и отваживали от дурости.

Повесил тогда Петрович шубы на окна, отгородился от белого света и запил. Первый раз в жизни. Отец его, известный мытарь, так не пивал.

— Прости ты меня, Петрович!— сказал воевода.

— Бог простит!

Возликовал Аввакум. Как же! Одолел ворога, на поклон ворог явился. А Иван Родионович посопел в темноте да и зашушукал:

— У тебя баба моя на исповеди была?

— Была.

— Всякое такое говорила?

— Не мне, Иван Родионович, говорила,— грудью напыжился Аввакум.— Богу говорила.

— Все равно тебе.— Воевода пошелестел губами: пересохли, видать.— Держи, Петрович, ефимок, а мне про то, чего тебе баба говорила, все как есть и доложи.

Тут дверь из сенец на волю фыкнула, из сенец Ивана Родионовича выдуло, а на крыльце кособоченьком ох уж и размахнулся Петрович да со всего плеча по роже. Хруст был и вихрь — подняло воеводу на воздуси и опустило в снежную купель.

Аввакум крест сорвал с груди, вознес над головой да и грянул на все Лопатищи:

— Изыди!

На карачках уполз воевода за свой острозубый тын.

А Петрович помог Марковне с печи слезть, в узелок, что под руку попало, сгреб, да и бежали ночью, дороги тореные обходя.

Притащились в макарьевский Желтоводский монастырь.

2

Ох ты, большая вода! Да какая же ты, большая вода, умница! Без оглядки катит, без мыканья взад-вперед, вдаль все, вдаль — вечный укор, пример недостижимый.

Стоят берега, поглядывают вослед. Вот уж воистину человеческой судьбы символ. В одну сторону обратись — грядет, накатывает, в другую — безвозвратно пронеслось, а тебе — только плеск да ветром по глазам.

Вода суть время, время суть жизни. Да вот и на воду, на большую, есть свой хомуток. Успокоилась подо льдами, утихомирилась.

Глядит Аввакум на Волгу. Сил нет взгляда отвести. Бело на сто верст.

За спиной людишки ворохаются: возы скрипят, лошади фыркают, мужики матерки роняют, монахи на высоком старославянском языке шакают да вшикают — проходит человечья жизнь.

— Ну что, дружок, раздумался больно!

Повернулся Аввакум тучей, да тотчас и просветлел.

— Иван Миронович, отец мой, здравствуй и благослови!

Стоит мужичонко в зипуне. Щеки круглые, рыжие, нос между щек круглый, рыжий, глаза синие — морг, морг, брови косицами на глаза сползают. Усы и бороденка жидкие, где рыжо, где русо, а где уж и сединой взялось.

— Славно, Петрович, что и ты сюда пожаловал. Я-то попрощаться притащился. В Москву царь зовет.

— Сам царь?!— охнул Аввакум.

— Кто бы подумать мог, а вот и до царя дошло: есть, мол, в Нижнем старатель божий. А я ведь, Петрович, много стараюсь. В великий грех впадал, плакал и жизни себя решить силился,— господи, прости,— и били меня. Много били. И все за веру, за правду, за порицание греха. О, Петрович! Чаю, мыслишь, люди хуже волков? Волк, мол, неразумен, человек же на семи хитростях замешен? А ты поверь мне — дитя он, человек, неразумное. Слышал я про твои беды. И не говорю тебе — смирись. Живи, душа моя, как живешь. Дай бог тебе силы. Правдой живешь.— За руку взял.— Пошли, помолимся вместе.

3

Келия, в которой остановился Иван Миронов, была и подслеповата, и тесна — двоим в ней, прежде чем поворотиться, сообразить нужно, куда ногу поставить, куда руку протянуть. Иван Неронов, так перекрестила Мироныча косноязычная молва, по своей теперешней славе мог бы в покоях игумена гостем быть, но любил он эту келейку. А теперь, когда самой Москве стал желанный человек, келия — лучше и не придумаешь. В каждом русском сидит это — постником прикинуться на пиршестве скоромном. Впрочем, Иван Неронов за собой такого греха не знал — жить напоказ.

В свои пятьдесят пять лет был он совсем старик. Поистратила жизнь христолюбца.

Родом он был с реки Сары. Из местечка Лом Водожской волости. Это верстах в шестидесяти от Вологды.

В Смутное время какая-то шайка — поляки ли, свои ли — сожгла гнездовье, всю родню вырезала. И бежал Иван от пожара и смерти в Вологду. Было ему в те поры пятнадцать лет.

В пять лет человека угадаешь, а в пятнадцать не берись. Да только не про Неронова это сказано. В пятнадцать был Иван тот же, что в тридцать. Богу молился, меры не зная. Упрям и упорен как мельничный жернов: зерно насыплют — зерно перемелет, насыплют камней — камни будет молоть. Жернову — лишь бы вода колесо крутила; Неронову — лишь бы веровать, лишь бы кровь не захолодала.

В Вологде, в тот приход свой, когда жизнь спасал, искать кинулся архиерейский дом. Не о том думал, где пропитание найти, а о том, как ему жить, познавшему от людей, от христиан, такое немыслимое зло. Отца с матерью тати убили ради куража только.

Показали Неронову, в какую сторону идти, и по дороге набрел он на гульбище. Ему говорят: «Это и есть архиерейский дом. Слуги гуляют». А Иван головой — как мерин от мух: «Быть этого не может! Архиерейский дом — пристанище стаду Христову, в нем от грехов удаляются всячески, а в этом беса тешат. Не верю! Не архиерейский это дом!» На всю улицу возопил, кулаками только и вразумили.

Нашел он пристанище под Великим Устюгом. Взял его в учение дьячок Тит. Бил его дьячок нещадно, выбивал тупость: полтора года одолевал Неронов букварь, одолел-таки. Однако, научившись плавать в книжном море, поплыл с великой охотой. Научился у дьячка читать вечерню, повечерие, Псалтырь.

В поисках места забрел в Юрьевец Повольский. Взяли псаломщиком. Благочестием, строгостью до того пронял попа, что тот отдал за него дочь замуж.

Жить бы да жить!

Только где же это видано, чтобы русский правдолюб о правду шишки себе на лоб не присадил?

Героев издали любят.

Об усердии Неронова-молитвенника слава по всей Волге шла, а жители местечка, где подвижник сей обретался, настрочили донос патриарху Филарету. Простого человека тоже надо понять. Ну, любишь правду и люби. Да хоть в постель ее с собой положи, если жены мало. А то степенных людей при всем честном народе

поносить взялся. Как это, мол, православный человек жену свою за куш, не моргнув глазом, заложил? Да ладно бы заложил, но ведь и не выкупил! А теперь ее, православную, в воровство блудное продали. Оно хоть все чистая правда, но нехорошо, когда вслух такое при многих людях говорят. А Неронов чешет!

Или набьются людишки в церковь зимой. Холодно. Ну, шапок и не снимают. Или забудутся. А Неронов налетит, руки распустит. По шапкам без разбору бьет. А шапка шапке рознь.

Или купец, молодой, богатый, все ему должны, а Неронов и на него лает: «Как же ты, сукин сын, посмел на родной сестре жениться? Божьего страха не знаешь? Ужо тебе вспомянется!»

Вот и написали о праведнике такое, хоть сей же час на плаху. Стража приехала с ружьями, да успел в монастыре укрыться. Архимандрит заслонил. Дал письмо к патриарху. Прибежал Неронов в Москву. Патриарх Филарет к руке его допустил, выслушал, одобрил. Недели после того не прошло, посвятили в дьяконы, а через год в попы. Приход получил на Нижнегородчине, в селе Лыскове. Служил Неронов там с Илларионом, сыном попа Анания.

У Анания приход был в Кирикове. Село это против Лыскова неприметное, однако ж окрестные попы за мудростью к Ананию шли своей охотой. Неронов неделями у него жил. Народ Анания любил, а воеводы делали вид, что любят. Уж какие соколы на воеводстве сидели! Им с разбойниками взапуски бы — пограбить, а в Кирикове рук не распускали, и не потому, что поп ученый. Дело было в том, что сын Анания женился на Ксении, сестре Павла, епископа коломенского, а Коломенское — любимая царская вотчина, место царева отдохновения и душеспасительных бесед.

Поучившись у попа Анания книжной мудрости и правилу, понес Неронов слово божие в народ. А народ в Лыскове, что ли? Народ — в Нижнем Новгороде. Туда и приволокся поп Иван.

Сначала по книге Златоуста «Маргарит» возвещал на базарах путь спасения, потом церковку брошенную облюбовал. Стал служить в ней. Сам был и за звонаря, и за дьячка, и за священника. Народ пошел к нему.

На тайный взнос церковь подновили, построили келии для божьих невест.

У Нерона на дню нищих кормилось человек по ста.

Ученость, как сад, разводил. Учил детей и взрослых, награды не требуя.

Со скоморохами войну затеял. На святки с богобоязненной дружиной ходил отнимать рожки, дудки, бесовские колпаки.

О спасении воеводских душ пекся. Правду искал. Били его и в тюрьму сажали, а теперь в награду за побои, многотерпение и непреклонность ждало его место ключаря в московском Успенском соборе. Чин невелик, но Успенский собор — первый на Руси.

Беседовать с Нероновым молодому попу Аввакуму было лестно. Сидел, глаза в пол, стеснялся на святого отца в упор глядеть.

— Не знаю, кто про меня государю рассказал,— делился радостью Неронов.— Воеводам выгоды нет. Я от них натерпелся, да и они от меня тоже. Разве что Никон, игумен кожеозерский.

— Тот, что из Вальдеманова?— встрепенулся Аввакум.— Вальдеманово от моего села, от Григорова, верстах в пятнадцати всего.

— Вальдемановский... От верных людей слышал — в Москве он теперь. Через него простой народ жалобы царю подает. Я Никона хорошо знаю. Суровый человек, к себе без жалости, а для других на доброе дело охоч. Одним словом сказать — мордва. Эти если веруют, так, хоть убей, не отступятся. Если, конечно, от своих идолов откачнулись.

Тут Неронов разулыбался, положил руки Аввакуму на плечи, притянул к себе, облобызал.

— Брат мой, прости! О себе говорю, занятый своею радостью, а ты душой страждешь.

Аввакум голову еще ниже опустил.

— Не по силе моей замах. Один против всей неправды выпятился. Это ведь тоже гордыня.

— Вижу, сильно тебя напугал воевода. Не за себя, думаю, напугался: дите малое, жена на сносях...

— Нет, батько Неронов! Я побоев не боюсь! Я все готов перетерпеть ради Христа. А вот когда стадо, к которому я приставлен пастырем, в долгах и слезах и когда постоять за него всей моей силы — зареветь в три ручья, такого, батька, стерпеть никак нельзя.

— Аввакумушка, меня воевода голодом хотел живота лишить, а я вон жив. А другой воевода по пяткам меня велел бить. И били. Кинули в яму, на шею, как на пса, цепь накинули. Сорок дней сидел. Дождь на меня падал, пыль садилась, листья засыпали, с дерев ветром

отрясенные,— а я пел. Все сорок дней пел во славу Христа. И в ледовитые Корелы меня отсылали, в монастырскую тюрьму. Сам Филарет сподобил на сей подвиг. Оно хоть в царях Михаил был, а все деяния умыслом Филарета совершались. Услыхал я, что затеялись воевать с поляками, и бегом из Нижнего в Москву. В самом деле бежал. К царю припыхал, а он — ни то ни се, от царя к патриарху поволокся. Увещевал не лить христианской крови. Послушал меня Филарет — и с глаз долой, в Корелы... Думаешь, я не знал, на что иду? Знал. А не пошел — совесть загрызла бы. Чего с других спрашивать, коли с себя спросить не сумел. Тяжело за правду стоять. Нет слов, как тяжело. Но ведь и награда велика. Ты, Аввакумушка, раздумайся да и реши, как тебе жить. Правдой жить — век тужить. Меня в Москву зовут. Думаешь, на сдобное житье? Нет, брат мой! На му́ку. Я-то уж знаю. Да чему быть — того не миновать. Я про свою жизнь все знаю, господи, прости меня! А ты раздумайся, чтоб в горький час от себя же самого не отречься.

— Отец, будущего не ведаю. За тот полог сокровенный не то что глазами, умом страшусь проникнуть. Всё в руках господа. Но про себя мне решать нечего. Решено.

— А семейство?

— Горько мне на родных людей своим неспокойствием бурю наводить, но Марковна терпит.

— Дай нам, господи, всем терпения.

Неронов опустился на колени и указал Аввакуму место возле себя.

А помолиться как следует не довелось. Приехали к Неронову гости: из Лыскова поп Иларион да его отец поп Ананий.

Ананий усыхал. Остался от него тонконогий, с веточками-руками старичок, голубой лицом, волосенками бесцветный, подлунное улыбчивое существо.

— А!— припал он к Неронову, улыбаясь, но как бы про себя, как слепцы улыбаются.— Рад, что дал бог обнять тебя. Благослови, отче.

— Смилуйся, отец Ананий!— заплакал сокрушенный добродетелью старца Неронов.— Ты всем нам отче. От тебя принять благословение — все равно что воды испить истомившемуся в пустыне.

— Не упорствуй! Я знаю, у кого прошу благословения,— улыбался все той же лунной улыбкой Ананий.

Стоять ему было тяжело. Острые коленки упирались в лавку, сзади напирал животом плохо поместившийся в келии Иларион. Был Иларион лицом бел и породист. Волосы каштановые, кудреватые, губы как бы прорисованные, пущенный в рост живот нисколько не портил молодца — огромного, властного.

Неронов благословил старика Anания, все свободно вздохнули и сели на кровать, рядком.

— Вот и мы!— сказал Иларион.— Надолго ли в наши края?

— Теперь можно хоть поутру ехать. Коли благословит меня отец Ананий в дорогу, завтра и поеду.

Отец Ананий искоса откровенно разглядывал Аввакума.

— А это кто?

— Аввакум я,— потея от неловкости, осипнув, назвал себя Аввакум.— Из Лопатищ. А родом из Григорова.

— Знал твоего отца,— покачал сокрушенно головой Ананий: то ли Аввакума пожалел, то ли и теперь еще удивлялся какому-то воспоминанию.

— Наслышан о тебе,— сказал Иларион Аввакуму.— Молодой еще совсем.

— Хороший он человек, хороший,—закончил этот разговор Неронов.— Ну, отцы, на что вы меня в Москве благословляете?

— А будь таким, как был,— Ананий улыбнулся.— Мудреная Москва простоту любит.

— Жалеет,— поправил отца умный Иларион.

— Любит,— не согласился Ананий.

— Пускай любит! Не о том речь!— От волнения Иларион встал, но тотчас сел — у Неронова в келии не разбежишься.— Вы подумайте только, отцы мои! Никон — у царя ближний советчик. И тебя, батько, в Москву позвали. Подпереть Никона. А как же? Кому, как не землякам, подпереть... Если все подопрем да подтолкнем, эко как взлетят нижегородцы. Ныне нижегородцам друг за друга крепко нужно стоять.

Неронов развел руками.

— Иларион, ну что ты, право! Меня зовут в ключари, а Никон покуда еще не митрополит — игумен, каких много. Да и велика ли будет прибыль церкви, если нижегородцы митры наденут? В какой такой святости наш брат нижегородец преуспел?

— Батько, но ведь мы и не хуже других.

— Лучше были бы, а то —«не хуже»...

— Но ведь тебя, батько, зовут в Москву. Отчего, скажи?

— Может, оттого, что людей вокруг меня много. Многие ко мне идут. А знаешь, почему идут? Потому что верю.

Иларион покраснел, дорожки пота катились по толстым его щекам.

— Но я-то о чем говорю? Я о том и говорю, что, если праведники, подобные тебе, отец наш, придут со всех концов земли в стольный град, быть Москве третьим Римом. Быть русскому народу избранным народом божьим, как были жиды, потерявшие благодать.

— Иларион!— вскричал тоненько Ананий.— Что говоришь?

— А то и говорю. Вымолим у бога благодать. Всенародно.

Иларион опять вскочил, отдавливая ноги Аввакуму, протиснулся под иконы, опустился на колени и, обернувшись, сделал жест рукой, призывая быть с ним заодно.

— Помолимся.

Аввакум стал гадать, как ему пристроиться, но на плечо ему легла рука Неронова.

— Пошли, Аввакумушка, на волю. Душно в келии. А ты, Ананий, когда Иларион помолится за нас, грешных, отдохни... Игумен обедать приглашает.

4

Зимний день отблистал. С поголубевших сумеречных снеговых полей летел, драл лицо жгучий огонь холода.

— Засиделись,— сказал Неронов, раздвигая плечи, чтобы набрать грудью свежего воздуха.— Пошли, Аввакумушка, к твоим, благословлю Марковну. Знаю, каково ей.

— Я в крестьянской избе, на постое,— покраснел Аввакум.— Тесно.

— Что же ты бедности, неразумный, стыдишься?— укорил Неронов.— Сын божий в яслях родился. Помнить про то надо и радоваться, коли господь послал тебе испытание.

Шли вдоль монастырской деревеньки.

— На краю избенка-то,— опять повинился Аввакум.— Я тебя, отец, провожу обратно. Марковна больно будет рада тебе.

— Погляди, как звезды радостно загораются. Воисти-

ну Онисима-овчарника день,— Неронов остановился, оглядывая налившийся густой синевою небесный купол.

С того конца села, куда шли, вдруг звонко окликнули:

— Эгей!

И тотчас окликнули с другого конца:

— Эге-ге-ей!

— Ой ли! Ой ли!— позвала певуче женщина совсем недалеко где-то.

— Ишь ты!— заулыбался Неронов.— Звезды окликают. В честь Онисима. Дай, господи, хорошего приплода овечкам.

Кривенькой тропой пробрались к избе. Словно по бревну шли, размахнув руки, чтоб в снег не оступиться.

Изба на чистом снегу чернела, как подсохшая, отболевшая язва. Шагов за десяток ударило в нос скисшим дымом, детскими поносами, сгнившей в грязи овчиной, собачьей шерстью

— Петрович, ты?— От стены отделился человек.

— Марковна, чего это на морозе?

— Душно! Мутит меня. Ой, да ты не один!

Неронов отстранил Аввакума, подошел к Марковне.

— Прими благословение мое, женщина!

— Это Неронов, Марковна!— сказал из-за спины Неронова Аввакум.

Марковна поклонилась, поцеловала попу Ивану руку.

— Помолись за нас, отче!

— Вы за меня помолитесь!— Неронов нежданно опустился на колени.

— Да что это! Да как же!— испугалась Марковна.

— Перекрести меня!— попросил Неронов.— Святые вы у нас, женщины вы наши, дающие нам детей и принимающие в награду от нас одни только муки.

— Отче!— взмолился Аввакум.— Встань.

— Нет, Аввакумушка! Преклони-ка и ты колени!

Аввакум послушался.

Постояли в снегу на коленях перед потерявшейся Марковной, поднялись.

— Не провожай меня,— попросил Неронов.— И молю тебя, помни — возлюби женские муки, не будь суров к прихожанкам своим. Когда потребуют на них суда, себя суди. Тут и весь мой сказ, Аввакумушка. Прощай.

И ушел.

— Вот ведь какое дело!— развел руками Аввакум, пригораживая Марковну от поднявшегося с сугробов ветра.

5

Синяя льдина неба на февральском солнце не таяла. Земля, раздавленная холодом, растеклась, как блин по сковороде.

Конца-края нет пустыне. Сидеть бы человечкам, в трубу дым пускать. Ан нет! Шевелятся.

Заиндевелые лошадки гривами помахивают, трусят, трусят; на миг единый остановись, так и вмерзнешь в пронзительную глыбу неба. Обоз велик, идет он в Нижний Новгород из купеческого села Большое Мурашкино, отданного в вотчину ближнему боярину Борису Ивановичу Морозову. Идет обоз кружным путем. Новый управляющий всеми имениями Морозова колдун Моисей, отправляясь на торг, заодно надумал помолиться новым для себя богам в макарьевском Желтоводском монастыре.

Игумен хотел было сказаться больным, но Моисей пожертвовал воз овчинных шуб и тулупов, игумен передумал, принял управляющего в своих покоях и не промахнулся.

Собеседником Моисей оказался не только замечательным, но и наиполезнейшим. От Моисея игумен узнал новую цену на соль. Правда, утром прибыл из Нижнего гонец с официальным известием, но к утру, когда обоз выступал в дорогу, у монахов уже было готово пять возов рыбы. Рыбу следовало сбывать по холоду. С этим же обозом отбыл в Лопатищи поп Аввакум с семейством.

Игумен для человека, приятного Неронову, саней не пожалел.

Ехали Волгой. По льду сани сами катятся.

— Марковна, терпишь?

Аввакум разгребал сено, открывал щелочку в огромном воротнике тулупа. Из недр овчины выкатывалось облачко пара.

— Жива, спрашиваю?

Марковна, чтоб не застудиться, рот на замке держит. Улыбается, закрывает и открывает свои солнышки: все, мол, хорошо!

«Ишь ты!— удивлялся Аввакум, пряча жену от мороза под овчиной и сеном.— Глаза-то у Марковны в синь кинулись, а на самом-то деле серые глаза. Уж та-

кие это глаза, что и нет таких других на всем белом свете».

Монах-возница торкает Аввакума в бок:

— Петрович, не дремлет Марковна-то?

— Не-ет!— Аввакум утирает лицо ладонями: не прихватил ли где мороз.

— А то ведь сегодня Тарас-куманник, днем кумаху наспать можно.

— У Марковны лихорадки не бывает.

— Это хорошо, а все ж поглядывай!

— Спасибо на добром слове.

— Петрович, а как же с рыбой-то теперь будем? Без соли-то — только вонь разводить.

Аввакум тяжело трясет головой: он тоже не понимает. Утренний гонец воеводы всем задал мозгами так и сяк крутить. Оказывается, с седьмого уже февраля цена на соль сделалась немыслимо дорога. Пуд теперь стоит три рубля тринадцать алтын с деньгой. Слыханное ли дело?!

Сани повизгивали все звончей да звончей. Небо-то все текло, текло да и ввалилось наконец в ночную тихую заводь.

Извозчики то и дело спрыгивали с саней, бежали рядом по насту, разгоняли стынущую кровь.

Аввакум, заглядывая под тулуп Марковны, теплым дыханием отогревал ей нос, щеки, глаза в стрельчатых от инея ресницах.

— Ничего, Петрович! Ничего, дотерплю!— шевелила Марковна посиневшими губами, а улыбалась счастливо: жалеет муж.

— Да уж потерпи! Дымы вон за окоемами столбами поднялись. Близко до ночлега. Мальчонка-то наш не задохнулся?

— Живехонек, все бока затолкал.

— Марковна!..

— Да нет, Петрович. Неопасно толкается. Спит он теперь.

На постой принял их мужик богатый, маленько торгующий.

— Ночуйте, места хватит. Алтын всего и беру с человека, а по деньге накинете — пожалуйте за стол. Что сами едим, то и постояльцам.

Аввакум заплатил полуполтину, рубленный на четыре части талер с царским клеймом.

— Вот тебе деньги, душа человек. Да чтоб щи были огненные, да пирогов с грибами подай — пост начина-

ется. Да дровишек-то не жалей, топи так, чтоб от жары волос трещал. Закоченела у меня женушка, а заболеть ей теперь, сам видишь, никак нельзя.

Мужик монетку на зуб попробовал и давай домашних пошевеливать: сыновья натащили дров, жена загремела чугунами, свечи зажег, в лампаду масла долил.

— Только тебя-то, батюшка, на печи положить не могу! Странница у меня ночует.

Как бы подтверждая слова хозяина, заскрипела рассохшаяся лесенка за печью, и, повязывая платок, чтоб на людях не быть простоволосой, вышла из-за печи молодуха. Слова вымолвить не успела, а все уже гордыню-то свою тотчас и положили ей в ноги. И ладно бы мужики, но и женщины! Женщины в первую очередь, потому что понимали — какая это красота. Молодуха первая поклонилась новоприбывшим, со вниманием и почтением животу Марковны, на сынишку и на монаха-возницу не посмотрела даже, а на Аввакума подняла глаза. У попа душа и пискнула, как рыбий раздавленный пузырь. Не глаза — ночь! Ночь и ночь, да только огненная. В ушах так и забухало. Тут ведь плюнуть бы да и перекреститься. Ан нет, скосила глаза жгучая стыдная сила на грудь, на округлости, ласковые да беззащитные будто бы... Обомлел Аввакум. Обомлел и подурел. Спрятать бы свой позор за слово: «Мол, погода-то! Мороз-то! Куда крещенскому!» Так ведь нет — не то что слова разумного в голове в тот миг не сыскалось, но даже и мычанья телячьего. Да и сил не было спрятать немочь стыдную, розовым туманом с головы до пят обволокло.

А дева в шубу вырядилась да и пошла в катух. Тут только и отпустило маленько Аввакума.

Хозяину избы красота будто и нипочем.

— Наказанье с этими бабами. Ладно, когда мужик мыкается по дорогам, а то баба. Говорю: «Чего мыкаешься?» А она в ответ: «Скучно на одном месте». Я ей: «Куда муж смотрит?» А она: «Некому за мной смотреть. Девица я». — «Отчего ж,— говорю,— замуж не идешь?» А она хохотать: «Ровню себе не сыскала. Ни один из вашего брата крылышки не опалил».

— Так она гулящая, что ли?— высохшим горлом просипел Аввакум.

— Вестимо, гулящая! Да только ниже воеводы к себе не допускает. Тьфу ты!— И хозяин сплюнул через плечо, да уж больно что-то деланно.

Вернулась в облаке мороза девица.

— Небо тучами затягивает. К утру потеплеет.

Сказала, и всю грязь, какой хозяин забросил и ее саму, и гостей, смыло. Будто и не слыхали ничего.

— Петрович!— позвала Марковна Аввакума.

Тот так и подбежал, по-собачьи, не понимая, что нужно сделать, но готовый исполнить и вовсе невыполнимое.

— Петрович?— удивилась Марковна.

— Да вот он я!

— Ванюшку возьми! Устала я, чай. Залезу на печь, а ты мне его подашь.

— А поесть?

— Разморило в тепле.

— Молока хоть выпей!— сказала красавица.— Хозяйка, дай молока гостье.

Хозяйка принесла кринку молока и хлеб. Красавица взяла молоко, налила в кружку, подала Марковне. Та пила, не спуская глаз с прекрасного лица девицы.

— Что ты так смотришь?

Марковна улыбнулась.

— От радости это я! Дочку жду. На хорошего человека поглядеть — дитю польза.

— Господи, господи!— Тучки пошли по лицу красавицы.— Было бы в красоте счастье, а то ведь по-другому говорят: не родись красивой...

Ночью, лежа на полу на тулупе и под тулупом, Аввакум изнывал от жары: тулуп сбросишь — вроде холодно, и уснуть никак нельзя от греховных картин, плавающих в мозгу.

На печи, тихонько посапывая, нежная голубушка Марковна с птенчиком, но подлая мыслишка Марковну стороной обтекает, шарит в горячей тьме.

Сбросил-таки Аввакум тулуп, на коленях приполз под иконы и стал молиться. Да так разошелся, что и заплакал.

Услыхала Марковна молитву Петровича, сошла с печи, стала рядом. А тут и ночная соседка Марковны очнулась от грез, послушала шепот в красном углу и тоже на молитву встала. Так и молились до петуховы под богатырский храп монаха-возницы.

6

Утром — диво дивное. Из-под земли, что ли, вывалился туман, да такой — в двух шагах лошадь

не разглядишь. Снег липкий. Стены изб влажные, черные.

— Василий-капельник грядет и свое всегда возьмет!— сказал Аввакум, выходя на крыльцо с Ванюшкой на руках.

У Аввакума с обозом пути теперь расходились. Усадил в сани Марковну, Ванюшку к ней под тулуп. Можно бы и в путь-дорогу. И тут вышла из дому девица-красавица. В шубе из черной лисы, платок как облако пушист, нежен.

— Вы ведь в Лопатищи? Возьмите меня!

У Аввакума голос опять пропал.

— Батька, что же ты молчишь?— удивилась Марковна, силясь повернуться вместе с тулупом к облучку.

— Садись,— выдавил из себя Аввакум: мало сатане ночных мук, мало бессонной ночи и видений пагубных.

— Меня Палашкой зовут!— сказала девица, усаживаясь рядом с Марковной.

Та опять окликнула мужа:

— Петрович, сеном-то закидай нас.

Поп слез с облучка, не глядя женщинам в лица, подоткнул сено с боков.

Вынырнуло из тулупа личико Ванюшки, глазки сожмурил, а рот, как у лягушонка, до ушей раздвинулся — улыбнулся отцу.

— Ванюшку спрячь, не надышался бы холодом!

Укрывая женщинам ноги тулупом, глянул-таки на Палашку, а та тоже смотрит, и в глазах-то вопрос, как теленочек новорожденный на ножках неверных покачивается. И губы, вместо того чтоб в слово сложиться, дрожат. Совсем Аввакум перетрусил.

Приехали в Лопатищи в полдень. Теплынь на дворе, того и гляди ручьи побегут.

Народ в Лопатищах весело суетился. Все мужички на розвальнях какие-то мешки к воеводским амбарам везут, и от амбаров — тоже с мешками.

— Что тут у вас делается?— остановил Аввакум одного жителя.

— Воевода Иван Родионыч рыбное дело завести собирается. Скупает у людей соль.

— Это как же так? Да стой ты!— крикнул Аввакум своему монаху-вознице.

— За фунт соли пять фунтов зерна дает. Первое, почитай, благодеяние от воеводы-то нашего.

— Благодеяние?!— Аввакума так и подбросило в санях.— А ты знаешь, сколько теперь соль стоит?

— Нет!— испугался житель.

— Гони к амбарам!— заорал Аввакум на возницу и сам дернул за вожжи.

Подлетели к амбарам. Поп на крыльцо прямо из саней прыгнул.

— Эге-гей! Слуша-а-ай!

Люди увидали своего «батюшку», оставили дела, подошли.

— Люди! Вас грабят белым днем! По царскому указу соль ныне стоит две гривны за пуд. Сей оброк назначен вместо всех прочих тягот, вместо стрелецких денег, вместо четвертных, ямских.

— Ай-я-яй!— вдарился бежать сосед Аввакума Сенька Заморыш.— Чуть не продал последние три фунта. Моя очередь вторая была.

— А как же я?— завыла баба.— Я продала. Всю соль сгребла и продала. Без соли теперь сидеть.

Поднялся вой, крик. Люди кинулись к амбарам отбивать свое. Аввакум спрыгнул с крыльца, хотел сесть в сани, но возница-монах кнутовище, как пику, выставил.

— Пошел-пошел! Беды с тобой не оберешься... А ну, бабы, вон из саней.

Женщины выбрались из кошелки, и монах, нахлестывая лошадку, укатил догонять обоз.

И тотчас, взметая снег, налетел на резвом скакуне Иван Родионович.

— Аввакум!— заревел.— Гиль заводишь? Да я тебя!..

— Чем кричать, скажи-ка людям, воевода, почему это ты государев указ утаил?

— Да я тебя!— Вырвал коня на дыбы, а из-за угла амбара снежком коню по глазам кинули. А тут еще ангельский голосок:

— Иван Родионович, плохо же ты меня встречаешь!

Палашка заслонила попа и попадью.

— Серафим ты мой!— Иван Родионович прыгнул из седла в снег, поднял девицу на руки, на коня отнес.— За ее здравие, поп, молись.

Аввакум взял сынишку на плечо.

— Марковна!

И, не оглядываясь, пошел тропинкой к утонувшему в снегу, брошенному своему дому.

7

В последний день февраля, на Василия-капельника, приезжал к Аввакуму крестьянин, привез мешок муки.

— За приношение благодарствую, живем с Марковной не сытно. Только за что такое благодеяние и от кого?— удивился Аввакум.

Крестьянин, человек роста среднего и волосом как бы тоже средний — ни бел, ни черен, рыжим не назовешь, да и не русый,— бороденку пощипал, прокашлялся и голосом самым заурядным рассказал все по порядку.

— Зовут меня Семивёрст сын Иванов. Возле Лопатищ на пустоши живем. Шесть коров у меня, три лошади, три сына, овечек держу, курей, гусей, утей. Старшие сыновья женились. Среднего ты сам венчал. Невестки попались — как пчелы. Наравне с мужиками ломаются. Живем-работаем. А тут воевода Иван Родионыч и объявил, что соль на зерно меняет. Соли у меня пудов десять припасено. Прикинул — дело выгодное, в прошлом году сам знаешь каков был урожай: что посадили, то и собрали. Но все же таки решил обождать, поглядеть, с чего это Иван Родионыч раздобрился... А потом и беспокойство взяло: не упустить бы жар-птичку-то. И уж собрался к воеводским амбарам, а ты и объявись. В ноги тебе, батько Аввакум, кланяюсь всей семьей.

Крестьянин действительно проворно бухнул на колени и поклонился в ноги Аввакуму. Аввакум поднял Семивёрста.

— Принимаю от тебя дар не потому, что помог тебе избежать убытков, а потому принимаю твой дар, что мой дом в нужде и ты, любя ближнего, поделился скудным хлебом своим.

— Ой, батько Аввакум! — Семивёрст потряс кудлатой головой.— Умные речи мне до ушей только и доходят, а дальше — никак. Видно, щелка, которая в голову слова пропускает, мала да узка. Я ведь всего и умею — пахать, сеять, косить, и тут не всякий мне ровня, тут я молодец... А коль хлебом моим ты доволен, то и я доволен.

— Скажи,— спросил Аввакум,— что это за имя у тебя такое — Семивёрст?

— Да уж такое вот! Веселия ради! Поп у нас до тебя был очень веселый. Во хмелю меня крестил. Да я и не в обиде, правду сказать. Других все равно по име-

нам не зовут. Все больше прозвищами. А у меня и не поймешь, что это — имя или прозвище. Да и нареки меня Ильей! — все равно Семивёрст. Я, батько, проворный.

Тут мужичок спохватился вдруг, шапку на голову, попу и попадье покланялся да и за дверь. Аввакум кинулся гостя за стол приглашать, а Семивёрст лошадке свистнул, та и пошла. Повалился мужик с крыльца в кошелку розвальней, вожжей шевельнул, и только — динь-динь-динь — колокольчик под дугой.

8

Отслужив утренние службы, Аввакум торопливо погасил свечи и уж собирался сложить с себя облачение — служить в тот день пришлось одному, дьячок запил,— как вошла в церковь женщина.

— Батюшка, исповедай.

Аввакум глянул с тоскою на оконца, в которые бил настоящий весенний мартовский свет, хотя первый день марта только начинался.

Женщина подошла к налою, на котором лежало толстое, с медными крышками Евангелие. Дотронулась рукой до книги и будто обожглась, руку отдернула, голову опустила. Аввакум поглядел на нее и обмер: перед ним стояла Палашка.

— Слушаю тебя, дщерь!— сказал Аввакум, и голос его дрогнул.

— Отдалась я впервой девчонкой. Молоденький барин наш колечко мне с камушком бирюзой подарил. Мне и понравилось, хотя шел мне тогда тринадцатый год. Да и барчук, правду сказать, старше меня не намного был...

Горячая лапа схватила Аввакума за горло, разодрала грудь и принялась сжимать сердце... Палашка что-то говорила, говорила, а в нем крутился бешеный вихрь, затмевая разум.

«Господи!» — взмолился про себя Аввакум, стряхивая наваждение, и слух наконец вернулся к нему.

— Ладно бы один, а то двое их было,— говорила Палашка.— Иван-то Родионович сначала все глядел, будто бы ему противно, как кот фыркал, а потом тюремщика от меня оттащил да и сам кинулся как боров. В том и грех мой, что противен он мне был, а я терпела ради денег и ради дружка моего...

Теперь весь этот ужас долетал до слуха как бы

сквозь птичий пух. Будто перебили всех птиц, ощипали да и пустили по ветру... А в голове роился жирненький вопрос: как же это вдвоем-то?

«Сатана!» — хотелось крикнуть Аввакуму, но поглядел он в глаза женщины, а в них все тот же отчаянный вопрос и никакого паскудства в том вопросе, одно черное отчаянье.

«О каком тюремщике она говорит?.. Кого она спасти, отдавшись, хотела? Все мимо ушей пропустил, окаянный!»

Метнулся Аввакум по церкви, взял три свечи, зажег, прилепил к налою и ладонь под пламя поставил.

Вскрикнула женщина. Попятилась в темную глубину церкви, а оттуда засмеялась вдруг и легко так, хвостом покачивая, блудница блудницей, пошла из храма вон.

Только тогда и отнял у огня руку свою Аввакум. Вся ладонь в пузырях, от боли в ушах свист комариный, тонюсенький, а в груди чисто.

Вышел Аввакум из церкви, запер дверь на замок. Встал перед улицей — весна.

Березы влажные, через веточки небо сквозит. Вся детвора из избенок высыпала, словно грачи прилетели. Кричат друг другу и прохожим:

— Весна красна, что ты нам принесла?

И в ответ им все говорили, улыбаясь:

— Красное леточко!

Опустил Аввакум больную руку в сугроб, огонь так и потек с ладони на пальцы и каплями в снег стал уходить.

Пошел к своей избушке Аввакум дворами. Видел, как то там, то здесь выбегали к банькам девки, оглядывались, не подсматривает ли кто, и торопливо умывались снегом. Мартовская вода от веснушек и загара.

В избе было светло и тихо. Сынок Ванюшка стоял, держась одной рукой за край деревянной бадейки, другой рукою ловил в бадейке тоненькие льдинки и совал льдинки в рот.

Аввакум присел на корточки, отобрал у сына лед. Бадейку поставил на лавку. Скинул шубу, шапку, посадил сына на здоровую руку и прошел за занавеску: Марковна лежала.

— Зачем воду таскаешь?— укоризненно покачал головой Аввакум.

— Ну а как же?— прошептала Марковна.

— Голубушка моя!

— Обед-то у меня готов!— Она поднялась было, но Аввакум не дал ей встать.

— Лежи! Сам управлюсь... Да и есть не хочется.

Сыну стало скучно сидеть у отца на руках, завозился. Аввакум пустил его на пол.

— Боже ты мой!— увидала Марковна изуродованную руку.— Да что же это?

— Крестил. Кипяток бухнули. А я и попробовал воду на ощупь.— Сказал все это и волосами потряс сокрушенно.— Бес в меня, Марковна, вселился. Брешу как пес смрадный.

— Аввакумушка, да что с тобой?— Марковна потянулась к Аввакуму руками.

Он наклонился, положил тяжелую голову свою на набухающую молоком грудь жены. И услышал, как бьются два сердца.

— Марковна!

И печально поведал нехитрую свою историю.

— Помолись, Аввакумушка, полегчает!— поскребла ноготками Марковна буйную головушку мужа.

— Три дня в рот ничего не возьму! На одной воде буду жить,— просиял прощенный Аввакум.

Так и не ел три дня, а службы служил и молился втрое против обычного. В церкви порядок завел новый. Читал всю службу, не урезая, не позволяя помощникам своим читать в несколько голосов.

На третий день жестокого покаянного поста пришел Аввакум от всенощной, Марковна спала, и начал молиться, обливаясь слезами. Распростерся перед иконою да и забылся вдруг.

Видит — Волга, свободная ото льда, в разливе. А по Волге из золотой дымки закатной два корабля златые плывут. И близко уже, и видно, как гребцы взмахивают согласно золотыми веслами. И на каждом по кормщику. «Чьи корабли?» — спросил Аввакум. Один из кормщиков ответил: «Луки и Лаврентия». Соображает Аввакум: Лука и Лаврентий — старцы, взятые к господу. Когда начинал он служить, эти старцы помогали ему советами, дом помогали устроить. Добрые были люди. Поглядел опять на реку, а по Волге третий корабль бежит. Золота на нем не видно, но украшен коврами богатейшими; и красно, и бело, и синё, и черно, и пепелесо на нем. Бежит корабль, да так, словно и по берегу поплывет, и правит им юноша светел, и будто бы и не юноша вовсе, а один только столб света. Правит грозно на Аввакума, словно бы поглотить его собрался. «Чей

корабль?» — вскричал Аввакум в отчаянье. И грянул голос: «Твой корабль! Да плавай на нем с женою и детьми, коли докучаешь».

Тут Аввакум и встряхнулся. То ли сон, то ли видение. Видение во сне! К чему вот только?

Встал Аввакум с пола, отломил кусок хлеба, луковицу взял, хлеб посолил. Ест, а сам слушает, как сердце в нем колотится. Корабль прекрасен был. Может, к доброму? По службе повысят, в город хороший возьмут? Да только что-то грозен был глас. Видно, и впрямь быть плаванью с женой и с детьми

9

На сорок мучеников пришел в церковь воевода Иван Родионович. Послушал службу и затосковал: быстро сегодня от христианских обязанностей не отделаться. Послал к Аввакуму своего человека шепнуть, чтоб служил поп скорым образом: воевода, мол, на охоту за рябчиками собрался. Аввакум на этот шепот и ухом не повел. Тогда Иван Родионович послал к нему ката, этого детинушку хорошо знали в Лопатищах. Не дрогнул поп. Служит по правилу. Уйти из церкви на глазах прихожан негоже, уж лучше бы вовсе не приходить. Заскрежетал Иван Родионович зубами, но смирился.

Под вечер примчался с невезучей охоты Иван Родионович да прямо со всей шайкой к Аввакуму в избу. Двери с петель долой, окна выбили, все горшки поколотили, перины и подушки растрясли, лавки, стол, кровать порубили. Иван Родионович, прижавши Аввакума в угол, сам тешился кулачной забавой. Бил со смаком, размахивался не торопясь, бил, покуда не уморился. А потом зарычал, вцепился зубами Аввакуму в руку, да так, что кости на пальцах хрустнули. Хлынула кровь... Тут только и отпустил бешеный воевода жертву, вон из избы выбежал.

Добрался Аввакум до бадьи с водой, окунул в воду голову, поднял тряпку с полу, руку замотал.

Марковну с сынишкой кто-то из шайтанов, по доброте или как, из дому выкинул в самом начале побоища.

Народ уж сбежался со всех Лопатищ. Марковна в избу заскочила первая.

— Живой?

— Живой, Марковна.

— Делать-то что?

— Ты к соседям поди. А мне на службу. Меня господь в пастыри к стаду приставил.

— Да куда ж ты такой?

— Иду, Марковна! Иду!— Вышел на крыльцо.— В церковь, люди! Господь на молитву зовет.

И пошел, качаясь, в церковь.

Ивану Родионовичу, видно, тотчас и шепнули: поп служить идет. А воевода уже вина успел хватить. Выскочил из дому с двумя пистолями.

Какая-то баба в церковь шла, увидала такую страсть — ахнула и в сугроб головой полезла.

Аввакум дом воеводы уже успел миновать, обернулся, а Иван Родионович порох на полке уже зажег. Пыхнул огонь, а грома не случилось — не выстрелил пистоль. Воевода кинул его, давай из другого целить. И снова на полке порох воспламенился, а выстрела опять нет.

— Собака! Собака!— завопил Иван Родионович.

Перекрестил его Аввакум, поклонился:

— Благодать в устах твоих, Иван Родионович!

И пошел своей дорогой, не оборачиваясь.

А домой вернулся из церкви — стрельцы перед разоренной избой:

— Пошел вон, поп, со двора, пока жив!

Переночевали у Сеньки Заморыша, а утром и к Сеньке в избу застучали стрельцы:

— Пошел-ка ты, поп, вон из Лопатищ!

Оделись Аввакум с Марковной, сынишку закутали, в санки посадили. Дал им Сенька Заморыш каравай хлеба на дорогу, и пошли, бедные, из Лопатищ куда глаза глядят.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

20 февраля 1646 года стольник Петр Тихонович Траханиотов выехал в город Владимир с наказом царя «строить и посадских людей собирать и беречь и землю посадскую очистить».

Петр Тихонович, уповая на могущество царской грамоты, отправился на сыск с одним только слугою. Загоняя лошадей, мчался с ямы на яму и прибыл во Владимир 20-го же, поздно вечером.

Траханиотову для строжайшего исполнения воли царя была придана полусотня рейтар под командой поручика

Лазорева, но рейтары отправились в поход 22-го, а прибыли во Владимир 24-го. Встречали отряд колоколами, крестным ходом, хлебом и солью, но каково же было изумление и ужас отцов древнего града, когда обнаружилось, что с рейтарами прибыли два подьячих, а доверенное лицо государя вот уже несколько дней, а сколько — точно неизвестно, проживает во Владимире. Правда, «свои» люди в стольном успели донести владимирскому начальству не только имя доверенного лица, дату подписания указа и причину посылки Траханиотова, но доложили и о родственных связях этого малоизвестного человека, о его пристрастиях, слабостях.

— Где же он, ваш начальник?— допытывался воевода у Лазорева.

— Мне сказано так,— отчеканил поручик,— если нужда в рейтарах случится, тогда кликнут. А покуда нужды нет, велено отдыхать.

Вся эта чрезвычайная таинственность пришибла местное начальство. Если Тихоня, как тотчас прозвали Траханиотова, начнет копать по поводу превышения власти, чрезмерных поборов и взяток, то, собственно, и копать не нужно. Но чего ради заниматься такими пустяками? Если же он будет, как, впрочем, и велено ему, искать людишек, вышедших из посада, то здесь москвичу и спину обломают, и руки отобьют. В самом деле, не кинется же стольник, уподобясь лающей шавке, на золотую колымагу имений патриарха всея Руси или на крепости самого Никиты Ивановича Романова, дяди государя...

Петр Тихонович, сначала напугавший Владимир, а потом как бы и рассмешивший, жил в доме некоего мещанина, у него же столуясь и слушая дела. «Дела» ему докладывали «верные» люди под началом юркого человечка Втора, того самого, кто обокрал царскую милостыню в Троице-Сергиевом монастыре.

Сам Петр Тихонович послал бы во Владимир одного, ну, двух сметливых людей, как ему и советовал Борис Иванович Морозов, но Плещеев рассудил по-другому. Плещееву почудилось, что сложное это дело есть тот самый оселок, на котором правитель собирался проверить будущих своих сотрудников. Проверяя Траханиотова, Морозов проверял и Плещеева, хлопотавшего за Петра Тихоновича. И послал во Владимир Плещеев не двух людишек, а две дюжины. Об одной дюжине Петр Тихонович знал и мог ею распоряжаться по своему ус-

мотрению, о другой дюжине знали только Втор да сам Плещеев.

К приезду Траханиотова все земли и угодья, когда-то принадлежавшие посаду, были учтены; многие люди, укрывшиеся от тягла на землях монастырей и сильных бояр, найдены и записаны в тайные пока книжицы.

Посад во Владимире был жалкий, вконец запутавшийся в долгах, от бессилья готовый взорваться бунтом, но и для бунта не имевший силы. В посаде не было и ста дворов, а тяготы он нес за все триста тридцать девять.

В первый день марта Петр Тихонович явился к владимирскому воеводе, предъявил грамоты и приказал ехать вместе с ним на двор управляющего Никиты Ивановича Романова.

— Болен я!— замахал руками воевода.— Болен и болен! Еле дотащился сюда, чтоб тебя, друга боярина Бориса Ивановича, приветствовать.

— Не боярина, а ближнего боярина!— жестко поправил Траханиотов и повернулся к Лазореву, который прибыл в Съезжую избу в полном вооружении и со всей полусотней:— Поручик, кликни людей да помоги воеводе, снесите его в мой возок да и поезжайте с Богом на двор Романова.

— Как это?!— подскочил воевода.— Да что же это?

— Ну, хорошо, Лазорев, не зови людей,— отменил приказ Тихоня.— Воевода сам пойдет.

— Не пойду!

— Лазорев!

— Слушаюсь.

— Зови людей.

— Вот и носите меня, коли так!— прослезился несчастный воевода.— Сам шагу не сделаю.

Воеводу отнесли в возок, поехали.

Управляющий боярина Никиты Ивановича приказал было запереть ворота, но рейтары запоры сбили, заняли двор, и стало всем понятно: у Траханиотова власть огромная, и все смешки веселым-то отольются слезами.

Траханиотов представил управляющему всесильного боярина роспись земель, незаконно отнятых у посада, и сообщил, что сорок пять пажен у Никиты Ивановича изымаются и отныне эти удобные для выгона скота земли принадлежат истинному хозяину — посаду города Владимира. Кроме того, у боярина забирают восемьдесят семь дворов и сто пятьдесят человек мужского только полу для возвращения в посад.

Управляющий умчался в Москву в тот же день, и город притих, ожидая молнии и грома.

Петр Тихонович возвратился после своего геройства в дом мещанина. Этот дом был уже известен всему Владимиру — люди на погляд приходили: кто с другой стороны улицы, а кто и в окошко заглядывал. Одним будто бы тьма в глаза кинулась, будто дым из-под полу черными кольцами клубит в горнице, другие видели горницу пресветлой, в ней старца тоже пресветлого, в золотой шапке, третьим померещилась голая баба. Изгибается баба так и этак, без всякого стыда, руки в бока упирает, ноги вскидывает. Срам и ужас.

О слухах Петр Тихонович ничего не знал. Жил он все дни праведно, а после геройского наскока на владения Никиты Ивановича Романова расхворался вконец. Велел истопить печь пожарче, голову кафтаном замотал и залег, чтоб ничего не видеть, не слышать. Так и пролежал бы целый день, когда б не прослабило.

А вечером мысль пришла: «Что же это выходит? На одного Никиту Ивановича напал, будто обиду какую выместил. Уж если разворошил осиное гнездо, надо и ос передавить, не то зажалят. До смерти!»

На следующий день у дворян Тургеневых были отобраны в пользу посада лес и покосы, у князя Борятинского взяли два поля.

Прибыл Петр Тихонович и в Рождественский монастырь. У этого монастыря нужно было изъять двадцать пажен. Да каких! На этих двадцати пажнях ставилось по две с половиной тысячи копен сена. Отстоял вечерню, поужинал в келии игумена, а про дело говорить не решился.

Укатил на ночь глядя в Суздаль, суздальский посад «строить и собирать».

За день дошлые его людишки вызнали: больше сорока посадских семейств живут на землях патриарха, монастырей и суздальского архиепископа. Тяжко раздумался бедный Петр Тихонович. Церковь — не боярин, церковь и на смертном одре обиды свои выместит.

Суздальский архиепископ затеял в те дни торжественную службу в одной из церквей знаменитого женского монастыря, где коротала когда-то свой век Сабурова, бесплодная жена царя Василия III. Уже во время службы приметил Петр Тихонович монашенку. Она, видно, за свечами приглядывала, убирала догоревшие. Вот и прошла несколько раз мимо. Никакая одежда, и монашеская тоже, не могла, знать, скрыть торжествующих,

по молодости, прелестей, а уж глаза и подавно не укроешь — агаты, горящие потаенным огнем. Петра Тихоновича будто в кипяток каждый раз окунали, как монашенка эта проходила мимо.

Словно вина, в которое зелья подмешали, глотнул. Все страхи свои забыл и себя самого, подозвал поручика Лазорева и, указуя глазами на монахиню, шепнул:

— Все вызнай!

Весьма удивился поручик, но и весьма обрадовался: черт подрал, пахло загулом.

2

О Господи! Колесо крутящееся, вихрь и ночь посреди дня, разверзшийся ад, сады дьявольские и прочая, прочая! Скакали на лошадях, увозили ласково льнущую добычу. Пили вино ковшами в лесных, неведомо чьих хоромах и на бреге черного, подо льдом, озера. Кружили, прикасались то ручкой, то щечкой, а то и губами монашенки. Одна другой моложе, да все пригожие, шаловливые как стригунки, а на всю дюжину — он, Петр Тихонович, да Лазорев-молодец.

— В баньку! В баньку!— шептали Петру Тихоновичу из-за плеча.— С дороги.

«А где же та, что в церкви была?» — свербила мыслишка, но Петр Тихонович уже совсем пустился по воле волн — будь что будет! Хоть и несдобровать, да погибель-то больно сладкая!

Послушался, пошел в баню. Баня как баня, только света много.

Налил воды в ушат, попробовал растопыренной пятерней воздух на подловке — плотен ли, поискал веник, а ему веничек-то и подают.

Оглянулся — она. Бог ты мой, она! И тоже для бани совсем готова.

В себя не успели прийти — дверь настежь, и вся ватага с пленным Лазоревым, вереща и умирая со смеху, ввалилась в блаженное духмяное тепло бесовской полуночной бани.

— Пропали!— радостно вопил Лазорев, сдавшись сразу всем.

— Тут и сказке конец!— почему-то выкрикнул Петр Тихонович.

Но сказка кружила нестерпимым вихрем, и когда пришло наконец отрезвляющее бессилье, «доверенное лицо» запоздало перепугалось своры голых безумствующих

баб, которые уже занялись собой, забыв замордованных мужиков. И стоило Петру Тихоновичу испугаться, как снова распахнулась дверь и во всей монашеской смиренности явилась содому игуменья монастыря.

Петр Тихонович, может, и умер бы от одной только мысли: что же теперь будет, но Лазорев подскочил к матушке да и заржал как жеребец.

— Мать честная! На кого мы силы тратили! Вот оно — совершенство и рай.

Игуменья, молодая баба, поглядела на Лазорева снизу вверх, улыбнулась и ушла.

И больше ничего.

Ни шуму, ни угроз, ни торговли какой. Монашки убрались, Лазорев тоже лошадей в санки заложил, вернулись в Суздаль другой дорогой. И в Суздале — ничего.

В ожидании кары сидел три дня Петр Тихонович в отведенном ему для постоя дому и так ничего и не дождался. Хотел он уж было во Владимир съехать, как прилетел из Москвы Леонтий Стефанович Плещеев.

Застал «доверенное лицо» за обеденным столом. Петр Тихонович потчевал себя пустыми щами, квасом и солеными груздями.

— Пощусь!— объяснил он бедность стола Леонтию Стефановичу.

— Так великий пост,— согласился Плещеев, окунул ложку в щи, попробовал, поморщился и принялся уплетать грузди.

— Ты уж говори, зачем приехал!— взмолился Петр Тихонович.— Управляющий боярина Никиты Ивановича жаловаться в Москву ускакал... А все ты!

Плещеев вытер платочком губы, пощупал бороду: не накапал ли.

— Накормишь как следует, расскажу, что тебя в Москве ждет, а на голодный желудок... и рассказ будет тощий.

— Эй!— крикнул покорно Траханиотов слугу.— Собери на стол гостю.

Плещеев, выдерживая характер, плотно поел, а потом вдруг и затопал ногами на родственника:

— Сидишь пень пнем! Спрятался! Полбабьего монастыря перепортил и на грибках сидит!

Петр Тихонович побледнел.

— Кому же это? Как же это? Никому ведь не ведомо!

— Мне все ведомо!— засмеялся Плещеев.— Да очнись ты наконец. Сообрази, наше время пришло. Ты в штаны пускаешь от каждого бреха, а бояться ныне во всем Московском царстве нужно одного человека, родственничка твоего свет Бориса Ивановича. Никак ты не возьмешь себе в толк! Ты хоть и наполовину дело сделаешь, а врагов все равно наживешь, и уже нажил. Да только и друзей у тебя не будет. Обе, обе руки врагу секи! Пусть все боятся, а один любит. Любовь одного сильного стоит ненависти многих немощных.

— Что же делать-то мне, скажи? — взмолился Траханиотов.— Ведь самого патриарха нужно задирать, чтоб все-то дело устроить.

— Я же тебе толкую!— плюнул Плещеев под ноги и растер плевок каблуком.— За двумя зайцами погонишься — пропадешь. Петя, ты же самого Романова тронул! Чего теперь тебе бояться? Некуда отступать... И вот мой последний наказ: если через неделю ты доложишь в Москве: дело, мол, сделано,— быть тебе судьей приказа и окольничим. И боярство тебе забрезжит. Промедлишь — не помышляй о наградах. И родство тебе не поможет. Морозову нужны новые слуги, быстрые слуги.

16 марта Петр Тихонович Траханиотов доложил на приеме государю, что посады городов Владимира и Суздаля устроены. В Суздале взято у патриарха, архиепископа и монастырей и возвращено посаду сорок одно семейство, во Владимире — двести восемьдесят семь семейств.

Ближний боярин Борис Иванович Морозов, бывший на этом приеме у царя, зачитал письмо, присланное в Москву. Суздальцы просили, чтоб ведал их господин Траханиотов, потому что Петра Тихоновича они знают с младенчества, посулов и поминок он не емлет, а дела посадские делает вправду.

Государь допустил стольника к руке, а на следующий день, 17 марта, Петр Тихонович Траханиотов за скорую и добрую службу был пожалован чином окольничего и получил в управление Пушкарский приказ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Наитайнейший боярин царя Михаила Федор Иванович Шереметев, смертельно уставший от недомогания,

встречал гостей сидя, но каждому, кто подходил к нему поклониться, улыбался. Улыбка получалась отрешенной, словно у слепого, и все, пришедшие получить у мудрого царедворца совет, понимали, что зря пришли.

Ужас охватывал. Да тот ли это Федор Иванович? Прежний-то поглядит, бывало, умным взором — тут и поймешь, что ты чурка нетесаная, пустота пустая. От одного погляда взмокал человек как мышь. Господи, господи! И малые, и великие — все в твоей руце. Полгода не минуло, а Федор Иванович, краса Русского государства, по важности-то, по осанке — старикашечка, иссохший, ничего для себя не желающий, а значит, и для других бесполезный.

Приехали к Федору Ивановичу люди знаменитые, владыки прежнего царства: князья Черкасские, Дмитрий Мамстрюкович и Яков Куденетович; приехал Никита Иванович Романов, приехали Стрешневы: брат покойной царицы Евдокии, Семен Лукьянович, и оба Ивана, Большой и Меньшой; приехали Василий Петрович Шереметев, судья Разбойного приказа.

Бояре садились за стол, отведывали меды. Разговоры заводили вполголоса, как при покойнике.

— Морозов, Бориска-то, говорят, чародея завел. Тот думы потаенные угадывает!— запустил первую пробную стрелу Семен Лукьянович.

Собрались известно для чего. Ближайший боярин Морозов начал правление мягко, да за полгода прибрал к рукам всю власть. Хватка у нового правителя как у волкодава: если кого за горло возьмет, упирайся не упирайся, а до хрящика доберется и прижмет — пусть не до смерти, но и не до живу.

— Ему теперь ой как нужно знать чужие думки-то! Заступнику-то народному!— воскликнул Никита Иванович Романов и, тараща удивленно глаза, поглядел на каждого за столом.— У меня во Владимире земли отнял! Да что у меня — у патриарха! И ведь не себе взял — народу вернул. Благодетель.

— Благодетель!— поддакнул Василий Петрович Шереметев.— Теперь, почитай, вся Россия под кнутом извивается. Недоимки за все прошлое царствование взялись выколачивать.

— Про то не нам говорить. Про то пусть народ говорит,— блеснул мелкими длинными зубами Семен Лукьянович Стрешнев.— У тебя, Никита Иванович, да и у тебя, Яков Куденетович, дворы-то на Москве вон какие! Дворни-то у каждого по полтыщи человек! Вот

пусть ходят по Москве и рассказывают о благодетеле, о свет Борисе Ивановиче, каков он есть на самом деле, и его чародея пусть в разговорах не забывают.

— Ох, Бориска, Бориска!— засмеялся Романов.— У него с братом Глебом земли больше, чем у меня, а все хапает. Выпросил у царя два села на Волге. А села-то какие! Богатющие, купеческие! Лысково да Мурашкино.

— Ах ты господи! Ах ты господи!— разохался Семен Лукьянович, словно кошелек с деньгами потерял.

— А что же князя Никиты Одоевского нет?— внятным сильным голосом спросил Федор Иванович.

Все вздрогнули. Почудился прежний Шереметев, наитайнейший.

— В Москве обещал быть,— сказал князь Яков Куденетович.— Забот у него много. Сегодня Большой полк уходит в Белгород, государь Никиту Ивановича воеводой поставил. Бориска против крымского хана сеть плетет, а заодно и князя Одоевского — с царских глаз долой.

— Сегодня, говоришь, полк уходит? А мне болтали, что он уже ушел, первого февраля еще!

— Стрельцы, верно, первого февраля ушли, а дворянское ополчение, как всегда, промешкало. Пока собрались, пока снарядились — сегодня уходят.

— Морозову передышка, дворяне-то крикливые стали. Зубки у них режутся.

Все воззрились на старика. Федор Иванович, задрав бороду, разглядывал на потолке синий зайчик: узорные у Шереметева были стекла в рамах.

— Пейте меды! Самое время меды пить!— пригласил хозяин.— Вам теперь только это и осталось.

— Федор Иванович!— взвился князь Яков Куденетович.— Не обижай нас! Ты ведь и сам не у дел.

— Мое время минуло,— улыбнулся Шереметев.— И ваше тоже минуло.

— Да мы еще и у кормила-то не были!— грянул князь Яков Куденетович.

— Благодарите Бога, что от кормушки не гонят... Бориска вон как за дела принялся! У патриарха земли забирает в посад! Построить посад — построить стены для нового дома, и не знаю, найдется ли в том доме место для теперешнего боярства.

— Федор Иванович!— взмолился Романов.

— Дай бог, чтоб все так и устроилось, как я вам сказал. Великое было бы дело! Да только Бориска нашего корня. И жаден как волк. Так что вы его не бой-

тесь. Он будет хватать, пока не уронит... Но, помяните мое слово, ваше время ушло.

— Загадками говоришь, Федор Иванович!— Боярин Романов досадливо двинул по столу тяжелую серебряную братину.— Время, оно с ногами, что ли? Куда оно подевалось? Как жили, так и живем. Куда, спрашиваю, ушло время-то?

— В небытие.

Семен Лукьянович прильнул к ковшу, зыркнул глазками по боярам. Дмитрий Мамстрюкович сидел неподвижно, сложив руки на толстом животе,— он все время так сидел, как в Думе. Яков Куденетович дергал жилистой шеей, словно низанный жемчугом ворот златошитого кафтана обжигал. Романов сидел красный, тупо глядел на красные тяжелые руки, забытые на столе. Остальные глазами ели Федора Ивановича, и все молчали.

«Какую игру затевает премудрый старик? Да уж так ли он немощен? Голос как труба!— Мыслишки у Семена Лукьяновича взбухли, так лезет квашня из дежи.— Не стакнулся ли дедушка с Бориской? Глупость все! Глупость! Пуганый самого себя боится».

И опять побежал глазами по лицам бояр, от ковша не отрываясь.

«Кто к Бориске первым побежит пересказать сегодняшнее? Василий Петрович? Так он тоже Шереметев! Черкасские? Романов? Братья? Глупость все!»

— Фу!— сказал Семен Лукьянович, ставя на стол опустевший ковш.— Добрый мед у тебя, Федор Иванович. Да и правду ты говоришь, прошло наше время. Заведу себе соколиную охоту. Буду жить да поживать, в полях тешиться, как великий царь наш Алексей Михайлович.

Бояре молча поглядели на Стрешнева.

— Посады в городах если теперь не устроить, то и до бунта недолго,— сказал Василий Петрович Шереметев.— Народ измаялся. Немногие за многих воз тянут, а ведь и лошадь надо кормить, чтоб везла.

— Правда истинная!— закивал головой Дмитрий Мамстрюкович Черкасский.

«Господи!— подумал Федор Иванович.— До чего же ничтожны! Вот она у кого в руках, государыня Россия».

Дверь в палату открылась, порог переступил высокий молодой человек в дорогой шубе, поклонился.

— Отец велел сказать, что кланяется вам!— пролепетал вошедший.— Сам он не может быть. Вчера еще уехал.

— Кто ты?— спросил Федор Иванович.

— Князь Михаил Никитич Одоевский, сын Никиты Ивановича.

— Уехал отец-то, говоришь?— спросил Романов, поднимаясь из-за стола.— Раньше полка на войну уехал?— Захохотал.

— Отец уехал стоянки проверить. Войско большое, а на стоянках ничего для встречи не приготовлено.

— Твой отец — мудрый воевода,— сказал Федор Иванович.— Так и отпиши ему. Мол, Федор Иванович Шереметев поклон шлет и благодарит за службу царю и всему Русскому государству.

— Я отпишу.

Одоевский откланялся и вышел.

— Что вы все за люди?— выскочил из-за стола Яков Куденетович.— Нечего сказать — поговорили! Кланяюсь вам всем и тебе кланяюсь, мудрейший Федор Иванович.

— Верно, пора вам домой,— улыбнулся кротко наитайнейший.— Пора! Пироги уже, чай, к обеду приготовленные, стынут.

Бояре поднялись из-за стола, покрестились на иконы, и тут в дверь постучали, а постучав, открыли. Вошел поручик полка иноземного строя Андрей Лазорев.

— Нет ли среди вас боярина Василия Петровича Шереметева?— спросил поручик.

— Я Василий Петрович,— сказал Шереметев, тревожно поглядывая на бояр.

— Вот тебе указ великого государя. Ехать тебе, боярин, в Большой полк товарищем боярина Никиты Ивановича Одоевского.

— Поди-ка меду выпей!— пригласил поручика Федор Иванович Шереметев.

— Это мы с охотой!— Лазорев подошел к столу, поискал пустую чару, налил меду, выпил.— Добрый мед! Благодарствую.

Поклонился, повернулся и вышел. Бояре молча глядели на закрывавшуюся дверь.

2

Борис Иванович Морозов, прижимая ладони к груди, стоял возле своего приказного стола. Кротко улыбаясь, склонил голову набок. Перед ним судья Пушкарского приказа окольничий Петр Тихонович Траханиотов клал поклоны — поклон за поклоном.

На двадцать восьмом поклоне отворилась дверь, и в комнату вошел, но тотчас, при виде кланяющегося человека, остановился Глеб Иванович, младший брат Бориса Ивановича.

— Глебушка!— всплеснул руками Борис Иванович и кинулся поднимать с полу Траханиотова.— Петр Тихонович, спасибо тебе, дружочек! Верю тебе, люблю тебя! Глебушка прибыл. Глеб Иванович!

Старший Морозов подбежал к Глебу, обнял, поцеловал.

— Соскучился по тебе!— И шепнул:— Ведь один я тут без тебя. Совсем один.

— Позволь и тебя приветствовать, боярин Глеб Иванович, как великого человека и как брата света нашего Бориса Ивановича.

Петр Тихонович истово пал на колени и положил первый поклон.

— Спасибо тебе, Петр Тихонович!— сказал Глеб Иванович.— Позволь и мне тебе поклониться.

— Смилуйся! Сначала я! И как брату твоему старшему, на радость встречи, положу те же тридцать поклонов.

Братья смотрели, как дородный, осанистый человек встает и падает перед ними на колени, тянется бородой к их сафьяновым сапогам.

— Каждый день кланяться ездит,— сообщил Борис Иванович.— Государю добро послужил, а государь расщедрился и в окольничьи его произвел, в судьи Пушкарского приказа поставил.

— Я... знаю, Петр... Тихонович верный и добрый слуга царю!— отирая слезы, выговорил со всхлипами Глеб Иванович: тоже растрогался.

— Пошел я,— сказал Петр Тихонович, отсчитав тридцать поклонов.

— Пушки все поставил Одоевскому?— спросил Борис Иванович.

— Благодетель мой, да как же не все! Ты мне доверяешь, я стараюсь. Две пушки сверх запрошенного Большому полку поставили.

— Спасибо. Доложу государю, что стараешься. Только молю тебя, Петр Тихонович, больше не приезжай на поклоны... Хочешь постараться для меня, так лучше казну в приказе держи так, чтоб не скудела.

— Все исполню, светы мои!— Петр Тихонович поцеловал руки у братьев и удалился.

Братья сели друг против друга.

— Лицо-то у тебя хорошее какое!— улыбаясь, сказал Борис.— Румянец как у молодого. И седины-то поубавилось. Чуть-чуть вон в бороде. И глаза молодые.

— Спасибо, брат!— Глеб опустил глаза, попридержал нежданный вздох.

— Что? Не понравился я тебе?

— Не понравился. Серый, седой. Да кто ж тебя так измучил-то?.. Боря, да плюнь ты на все это. Что, у нас земли мало, работников мало? Чего у нас мало?

— Ох, не надо, Глеб! Кто пригубил из ковша, на котором начертано «власть», тот человек пропащий. От вина можно отстать и о женщинах можно забыть, не забудешь сам — старость поможет, а от жажды властвовать даже смертный одр не защитит. Ты меня не осуждай, брат. Я же тебя не осуждаю, что в мой решительный час ты уехал в дальний монастырь от земной суеты прочь. Хочешь приказ? Любой приказ тебе отдам. Не хочешь... А это значит, что я добавлю к своей серости и к своим udинам, потому что придется взять в руки еще один приказ, да один ли?.. Глебушка! Если я и захочу все бросить, так такие, как Петр Тихонович, не позволят. Они к власти пришли, к делу, к богатству, к царю в дом. Через меня пришли. Я — за дверь, а их — метлой. В тот же миг, как я ногу над порогом занесу, уходя. Кто на мое место глядит, известно. Эти не дадут нам дожить спокойно. Да ведь и в силе я, Глебушка. Разгребу старые конюшни — мне и полегчает. А ты мне все ж помоги. Будь при государе, пока я при делах. Алеша к людям прилипчивый. Как бы не проглядеть кого... Да, вот за кем пригляди! За Никоном, архимандритом Новоспасского монастыря. Настырный детина. Алеша ему уже в рот глядит.— Борис Иванович всплеснул руками.— Все говорю и говорю. Расскажи, как помолился, как в Кириллове. Хорошо ведь там. Небо, свинцовая вода, простор суровый, дивный.

— Там хорошо,— сказал Глеб.— Пост держал. Со схимником говорил. Затворился один в пещере, простой мужик, а ума на всю Думу государеву хватило бы.

— Я того и хочу!— воскликнул Борис Иванович.— Кто Россией правил испокон веку? Родовитейшие. А что им, Рюриковичам, от рода их высокого перепало-то? Весь ум в веках порастрясли, ну а дури накопили — матушки! И такая дурь и сякая, большая и великая, малая и манюсенькая. Править царством должны люди, к правлению способные. Ты ведь подумай, сколько всего нужно мыслью объять!

И, словно подтверждая слова правителя, кланяясь, появились в дверях думный дьяк Назарий Чистый, а с ним думный дворянин Ждан Кондырев.

— Пойду я,— сказал Глеб Иванович.— Вечером к тебе приеду.

— Нет, Глеб Иванович, послушай. Ты в Думе сидишь, а от дел поотстал.

Щегольнуть хотелось перед братом.

Задумал Борис Иванович покончить с крымскими разбойниками. Большой полк ушел под Белгород и Ливны. В Астрахань поехал воевода Семен Пожарский. В Воронеж посылал Борис Иванович Кондырева, наказ ему был сказан строго и четко:

— Великий государь Алексей Михайлович повелел тебе,— Борис Иванович, произнося имя царя, встал,— повелел тебе набрать три тысячи войска из охочих вольных людей. С этими людьми, как придет грамота государя, пойдешь на Крым помогать воеводе Пожарскому. Денег тебе государь дает пятнадцать тысяч рублей серебром. Припасы и оружие для войска получишь у воронежского воеводы. Каждому поверстанному выдашь по пять рублей. В помощь тебе, в товарищи, государь дает поручика Лазорева. Да только как наберете хотя бы и полвойска, ты его отпусти. Пойдет он в Царьград проведать, что замышляет турецкий султан Ибрагим.

— Кланяюсь тебе, ближний боярин Борис Иванович,— прогудел могучий Ждан Кондырев.— Надоумь меня безмозглого,— не мало ли будет трех тысяч против крымского хана?

— Хвалю!— воскликнул Борис Иванович и поглядел, довольный, на брата: вот, мол, какие умные люди служат у меня.— Пожарский с терским войском, с астраханскими стрельцами и с донскими казаками пойдет на Крым со стороны Азова, из Воронежа пойдешь ты, со стороны Днепра пойдет войско польского короля, а за спиной у тебя, Ждан Кондырев, будет стоять Большой полк князя Одоевского. А еще государь посылает целое войско плотников, строить города против крымской и турецкой напасти. Конец приходит крымскому царю. Ему одно и остается — бежать к Ибрагиму-султану. Да побежит-то он один, гнездо его волчье мы разорим, а волчат каких передушим, а каких развеем по земле... А где же Лазорев?— спросил Борис Иванович у Назария Чистого.

Думный дьяк удивленно оглядел комнату, словно бы поручик Лазорев был, но куда-то вдруг запропастился.

3

А с поручиком Лазоревым случилось происшествие. Ехал он в приказ верхом ко времени, и всей дороги осталось ему с четверть версты. На улице было тесно, люди с поздней обедни из церкви возвращались, да так тесно, хоть слазь с коня да под уздцы веди. И тут вдруг гик, крик. Какой-то молодец навстречу мчится, конный. Люди шарахнулись в стороны, а старушка, бедная, туда кинулась, сюда — да и оскользнись. Затоптал конем старушку лихоимец. И не оглянулся.

Будто кто поручика Андрея по лицу плетью ожег. Завизжал как татарин, коня крутанул, а рука сама саблю из ножен вынесла.

— Рассеку!

Обернулся молодчик, Лазорев коня осадил, кричит:

— Саблю доставай! Убью!

А молодчик-то — старший сын князя Одоевского, Михаил, он после встречи с боярами себя не помнил от обиды. Увидал перед собой яростного поручика с саблей наголо, ужаснулся содеянному: задавил кого-то. Но ведь княжич, столько в его крови за века гордыни накопилось, бровью не повел.

— Ты же сам видишь: нет у меня сабли! Да и кто ты, чтоб меня, Одоевского, на поединок вызвать?— Повернулся и поехал.

— Ах, сабли у тебя нет!— Лазорев «сестричку» в ножны и со всего плеча перепоясал плеткой княжеского коня.

Породистый конь рухнул на задние ноги, скакнул, да сразу на дыбы, да в сторону: князь Михаил Одоевский только ручками взмахнул да кубарем простому люду в ноги, а людям смешно. Среди толпы был Семен Лукьянович Стрешнев.

Лазорев к старушке поспешил, вокруг бедной — толпа.

— Готова!— сказал кто-то.

— Отмучилась.

Поручик сдернул с головы шапку и пешком пошел к приказу, о своей матери раздумался. О слетевшем с коня молодце и не вспомнил.

Между тем Семен Лукьянович Стрешнев уже стучался в дверь приказной палаты Морозова.

— Вот и Лазорев наконец!— суровея, сказал Назарий Чистый, собираясь выговорить беспечному солдату,

а строгость-то пришлось растопить в улыбке:— Здравствуй, боярин Семен Лукьянович!

Семен Лукьянович и сам опешил, увидав столько людей.

Бояре раскланялись.

— Всё в хлопотах? — спросил Стрешнев, здороваясь с Чистым и Кондыревым.

— В хлопотах,— ответил Борис Иванович.— Отпускаю Кондырева войско собирать.

— Вот мы сейчас у Федора Ивановича и говорили: старается, мол, Борис Иванович. Сил не щадя, служит великому государю. Федор Иванович одобряет тебя, ближний боярин.

— Рады слышать.— Борис Иванович слегка поклонился.

— А я чего приехал... — как бы спохватился Стрешнев.— Пожаловаться на твоих драгун.

— Чего они натворили?

— Да Михаил Никитич, старший сын Одоевского, бабку конем сшиб, а твой драгун саблю выхватил да и за князем.

Наступила тяжелая пауза. Стрешнев улыбнулся.

— Слава Богу, худого не случилось. Князь Михаил драться не стал, а драгун хлестнул лошадь княжича да и был таков. Упал, правда, Михаил Никитич, но ведь молодой, да и упал-то в снег.

— Я найду и накажу драгуна,— сказал Морозов.

— Накажи его, накажи! А то ишь — на князя руку поднял!

Тут дверь палаты опять распахнулась, и вошел Лазорев. Семен Лукьянович вскинул бровки, а глаза тотчас и прикрыл мохнатыми, черными, как у сестры-покойницы, ресницами.

— Смилуйтесь, государи мои,— сказал Лазорев, отвешивая один общий поклон.— На пожаре был, вот и припоздал.

— Много ли сгорело?— спросил Борис Иванович.

— Три доски в потолке сменяет хозяин, всего и убытку.

— Знаешь, зачем я тебя позвал?

— Пошлешь службу служить, а какую — мне все едино.

— Вот и славно, что любая служба тебе по плечу. Поедешь с Кондыревым в Воронеж. А в Воронеже управишься — будет тебе еще одна дорога. Какая — про то тебе думный дьяк скажет. С Богом!

Назарий Чистый, Кондырев и Лазорев откланялись и вышли.

— Не этот ли драгун обидел князя Михаила?— спросил Борис Иванович, уставясь пронзительно на Стрешнева.

— Этот... высокий, а тот пониже был и пошире и на лицо другой.

— Обязательно разыщу обидчика,— пообещал Морозов, ласково улыбаясь Семену Лукьяновичу.

Едва за боярином затворилась дверь, Борис Иванович опять позвал к себе Лазорева.

— Сказали тебе, куда твоя дорога?

— Сказали. В Царьград.

— Сначала доберешься до Кафы, в Царьград поедешь вместе с послом Телепневым. Подружись с Тимошкой Анкудиновым, заманивай его, прельщая всячески, в Москву. А не согласится, так и прибей, не жалко смутьяна.— Морозов говорил это как бы между прочим, разглядывая огонек на своем перстне.— Деньги тебе дадут. А вот и от меня.— Борис Иванович достал из ларца тяжелый мешочек.— Удачи тебе, драгун Андрей! А саблей-то поменьше помахивай.

«По имени знает!— удивился Лазорев.— Все знает».

4

Поручик Андрей Лазорев лежал в кромешной тьме, и тьма была горячей. «Ранили меня, что ли?» — подумал Андрей и стал вспоминать, где же это его теперь могли ранить: ни войны теперь не было, ни свалки, князь драться не снизошел... «Ах, это в детстве, в Смоленске, когда взорвался порох и когда меня кинуло на смородиновые кусты. Кабы не эти кусты, могло и расшибить».

И тут он почувствовал, что к нему идут. Он все еще не видел, кто пришел к нему, но узнал прикосновение женских рук, словно бы со лба стерли испарину.

— Мама, ты?— спросил Андрей и понял, что это другая женщина.

Он лежал с закрытыми глазами и не видел ее, но знал: она прекрасна и величава, как небо, как земля, как Волга.

— Матушка!— удивился Андрей.— Неужто у тебя, у великой, и на меня хватило сердца? Матушка, пожалей меня, за море иду. Да уж не навеки ли? Уж не попрощаться ли со мной пришла?

Строгие глаза поглядели ему в самое сердце.

— Прости неразумного.

Андрей хотел припасть к матушке и нашел себя сидящим.

Сквозь окошко белела зима, в избе — печь. Он встал. Поскребывая ногтями грудь, прошлепал босиком к двери, где на лавке стояло ведро с ледяной корочкой. За ночь корочка растаяла, но вода нагреться не успела: заломило зубы.

— Хорошо!— сказал Андрей и пошел к печи раздуть угли.

Андрей натянул штаны и сапоги и опять завалился на постель.

«Что же это за матушка пригрезилась? Ладно бы родная. Все к старушке съездить недосуг... Так ведь и не богородица. Нимба над головой не было, да и лица-то не видно было. Может, сама Русь-матушка приходила ободрить? Молодой ведь, а дело вон какое ждет нешутейное».

— А сколько же мне будет-то?— стал подсчитывать Андрей.— Смоленск горел в тридцать четвертом, в осадные дни, в приход польского короля. Тогда чуть и не расшибло взрывом, а было в те поры, мать говорила, десять лет с годом. А теперь — сорок шестой. Это сколько же годков-то мне?— испугался Андрей.— Сорок шестой отнять одиннадцать... Тридцать пять?..

Принялся в испуге загибать пальцы — и был спасен. Получилось двадцать три.

«А какая же она, Туретчина?» — спросил себя Андрей, закрыл глаза, затаился, чтоб «углядеть» внутренним взором будущее. Померещился турок в красной феске, в красных шароварах, в каждой руке по ятагану и усы ятаганами, только черные как смоль.

«А ну тебя!» — сказал Андрей турку, встал, надел кафтан, шубу, шапку, выбил ногой дверь, но вернулся к печи, набросал в огонь дров и тогда только вышел во двор.

Он жил в доме братьев-пирожников. Братья куда-то сгинули, а с ними и Саввушка.

«Чтоб изба не промерзла, поживу-ка я тут,— решил Лазорев, заглянув однажды в брошенный дом.— Авось и хозяев дождусь. На богомолье, видно, ушли».

Братьев Лазорев не дождался, предстояло дому осиротеть.

Четвертушка ущербного месяца висела в ясном синем небе, но куда ниже белых столбов дыма.

Снег под ногами повизгивал, словно шел Андрей по живому.

— А ведь сегодня Дарья — грязные проруби!— удивился Лазорев свирепому натиску мороза.

Снег едва прикрывал землю, днем было совсем тепло, а по ночам жарили морозы. Андрей подышал в рукавицу, потрогал рукой лицо: всюду ли чует.

Он брел наугад — последний день в Москве. Потом решил выйти на реку, берегом дойти до Кремля.

На реке прорубали замерзшие за ночь проруби. Лед звенел, река пусто ухала, словно подо льдом вместо воды — пропасти.

Позванивали ведра, покачиваясь,— шли в гору женщины с коромыслами. Светало. Небо поднялось от земли и стояло на дымах, как на столбах.

— Ну вот,— сказал себе Лазорев, окидывая взором деревянное, серебряное кружево московских домов.— Ну вот!

И чего-то слеза накатывала, а накатив, примерзла к ресницам, и Андрей, скосив глаза, видел эту свою замерзшую слезу. Стало ему не по себе: к чему бы это перед дорогой-то? Да перед дорогой-то какой!

И, чтобы от греха подальше, поспешил Андрей в церковь, давно уж не захаживал: все ни к чему было, все недосуг.

Он зашел в церковь Казанской богоматери. Народу как на пасху — тесно. Андрей стал пробираться к алтарю поглядеть, кто служит, не сам ли патриарх, но на него зашикали: кто-то говорил проповедь негромко, срываясь на шепот, да только не от немощи,— слова жглись как живые угли.

— Если среди вас кто думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие... Это не я придумал, это сказал апостол Иаков. И сказал он: «Если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна...» Перед грядущим светлым праздником воскресения нашего Иисуса Христа мы должны поглядеть друг на друга —

достойно ли называем себя христианами? Но прежде чем поглядеть на брата своего во Христе, на сестру свою, пусть каждый поглядит в свою душу. Светом ли полна или полна тьмой?

— Тьмой! Тьмой!— закричали прихожане.— Поп Иван, помолись за нас!

— Чего там, плохо мы верим!— сказал Лазореву стоявший рядом, с утра уже хмельной мужичок, приказная строка.

— Эх, плохо!— сокрушился вдруг себе на удивление Лазорев.— Кто это говорит-то?

— Да ты не знаешь, что ли? Чай, Неронов! Служит он тут, в Казанской. Из Нижнего переманили за красное слово его. А ты Никона слушал?

— Не слушал.

— Так поди в Новоспасский монастырь, послушай. Тот еще пуще Неронова говорит.

Лазорев протолкался к алтарю, чтоб вблизи поглядеть на Неронова. Так себе человек: махонький, нос картошкой, волосенки седые, редкие, глаза слезой окутаны.

— Вот скажи, милая!— обратился Неронов к дородной бабе в дорогой красной шубе, отороченной соболями: явно — или купчиха, или жена дьяка.— Скажи, как ты готовишься встретить светлое воскресенье?

Женщина схватилась руками за грудь, смущенная нежданной милостью: на нее обратил внимание известный теперь всей Москве поп Неронов, проповеди для Москвы дело новое.

— Готовлюсь, еще как готовлюсь!— воскликнула женщина.— Яйца к пасхе собираю, христосоваться, для всей прислуги бычка откармливаю, меды поставила.

Неронов вскинул обе руки над головой и поглядел под купол, да так поглядел, что и все за ним головы стали задирать.

— Господи!— воскликнул Неронов.— О телесах, о мамоне только и заботимся. Пылай, женщина, от стыда, пылай, милая! Да только и все мы не лучше! Все мы о твороге для пасхи думаем, о деньжатах на хмельное вино, а кто же о душах наших печется? Уж не сам ли дьявол? Душу надо готовить к празднику! Коросту с нее обдирать. Домá вы свои к празднику не забудете вымыть и украсить. Да пусть они у вас будут сиры и убоги, дома ваши, лишь бы душа сияла обновлением и чистотой. Душу скребите, душу наряжайте добрыми делами и помыслами добрыми. О господи, неразумные

мы!— Неронов заплакал вдруг, и всякий в церкви умыл лицо слезами.

Отирая глаза, поручик выбрался потихоньку из толпы. На улице, надевая шапку, подумал: «Никона, что ли, пойти послушать?»

И пошел.

...Голос Никона, торжественно звенящий, врезался в мозг больно, словно ранили, да так, что раны могли и не зажить никогда.

— Людишки, вы забыли, кто вы!— бичевал несчастное свое стадо Никон.— Так встряхнитесь хотя бы в дни грядущего праздника нашего единосущного бога. Облекшись в плоть, подобную нашей, Христос соделал нас храмом живущего в нас духа святого.

«Вон ведь как!» — ахнул про себя Лазорев.

— Помните, люди!— посвистывал словом, как плетью, Никон.— Во Христе заключена вся полнота божества. В вас, православных,— начаток божества. Христос — плотоносный бог; вы, овцы его,— духоносные люди. Бог стал человеком, чтобы каждый из нас... Эй, стрелец, что же ты крутишь башкой! Я и тебе говорю. Я говорю каждому, и каждый должен понять. Бог, наш Иисус Христос, принял страдания ради того, чтобы каждый человек стал богом. Или, как пишет святой Афанасий: «Сын божий содеялся сыном человеческим, чтобы сыны человеческие содеялись сынами божьими». Когда же вы уразумеете это, истинные овцы, вот уж, право, истинные!

Никон, огромный, черный, махнул на паству руками, словно оттолкнул от себя; его огромные черные глаза сияли зло и прекрасно.

«Это что же, и я, что ли, богом могу быть? Он ведь так и сказал: бог стал человеком, чтобы человек стал богом!» — Лазорев изумленно таращил глаза на проповедника. Он не знал, что Никон, начитавшись на ночь глядя писаний Афанасия, шпарил сегодня его словами. Шпарил и завидовал Афанасию. До всего этого, ясного как день, Афанасий додумался в молодости, еще в дьяконах, когда его привез на Никейский собор архиепископ Александрийский. Ведь, как ни крути, по Афанасию исповедует Христа православная церковь. Это ведь он дал определение, что бог-сын есть истинное и собственное рождение сущности отца, что он есть полное божество, которое не является ничьим творением.

Да Лазореву все равно было, своими или чужими словами говорил Никон. Для него вдруг открылось такое, о чем он и подумать не умел. Может, впервые в жизни стало жалко себя. Ужаснулся. Сколько раз животом попусту рисковал, сам в драки лез. Один на многих. Оттого и в поручиках. Оттого и в Царьград посылают — разменять его жизнь на жизнь Тимошки-беглеца. А выходит, что он, Андрейка Лазорев,— сосуд, в коем заключена частица бога.

Мысль непостижимая, а все-таки понятно: беречь себя нужно. Боярский умысел хитер, но что он перед промыслом божьим?

До того раздумался поручик, пораженный словами Никона, что и не увидел, как служба закончилась и церковь опустела. Встрепенулся — Никон перед ним. Взял Андрея, как маленького, за руку, повел на лавочку, где старухи дожидаются начала службы, усадил и сел сам.

— Я вижу, в твоей душе смятение,— сказал Никон.— Расскажи мне, воин, что тебя тревожит?

— Я тебе, архимандрит, и на исповеди не сказал бы о моих заботах. Мои заботы, да не мои тайны. Твоя проповедь для моей души как бы камень, брошенный в озеро. Было тихо, а теперь круги идут.

Никон улыбнулся:

— Значит, слова мои не ушли в песок.

— Мне назначен далекий путь. Не знаю, когда назад буду, да и есть ли мне обратная дорога,— это как бог рассудит. Твои слова о том, что в каждом человеке есть бог, будут мне опорой.

— Я вижу, ты юноша добрый и думающий. И мне бы хотелось, чтобы ты службу свою исполнил с легким сердцем. Исповедь приносит облегчение, но коли тебе невозможно исповедоваться, то я сам исповедуюсь тебе. Пусть пример чужой жизни будет наукой.

Никон спрятал большое свое лицо в огромных ладонях, отнял руки, улыбнулся поручику, и стало его лицо печальным, глаза утонули в прошлом, не было в них теперь ни огня, ни затаенной какой дальней мысли.

— Родился я в год Смуты,— заговорил Никон тихо и мягко.— Есть на нижегородской земле село Вальдеманово. Хорошее село, яблоневое. Ключи там бьют чистые, святые. Отец мой был крестьянин Мина, а матушку я не помню. Умерла, когда я был младенцем. Имя мне дали Никита. Отец женился вдругорядь, и горька мне была опека мачехи. Сторонился я родного дома

всячески, прилип к семье местного попа, а тот, добрая душа, меня не гнал да еще и чтению обучил. Книги-то и увлекли меня к монахам в наш Желтоводский макарьевский монастырь. Отдохнул я душой в монастыре, а дома начался упадок, упросил меня отец вернуться в мир. В двадцать лет от роду стал я священником, женился, дети пошли. Служил я добро, московские купцы перезвали в Москву. А в Москве беды стали одолевать: похоронил я всех трех детей и от великой кручины решил постричься. Уговорил и жену свою. Она постриглась в Алексеевский монастырь, а я ушел на Белое море, в Анзерский скит. Последним я нигде не был, ни в Желтоводском монастыре, ни в священниках, и на Соловках не был я последним в усердной молитве. И наградой была мне зависть от людей. Ушел я тогда в Кожеозерский монастырь, что в Каргополье. Избрали меня здесь в игумены, а теперь патриарх в архимандриты Новоспасского монастыря меня посвятил. Вот моя жизнь. Помни, воин: честно служить нужно ради покоя собственной совести. И еще помни: какая беда тебя ни постигла бы — это еще не вся жизнь. Как бы тебе плохо ни было — славь господа, и придут дни такой славы твоей, о которой ты и думать не смел.— Никон резко встал, благословил поручика, дал поцеловать руку.— С богом!— И, не оглядываясь, ушел в алтарь.

Удивительно было Андрею Лазореву. Архимандрит ему исповедовался! Чего ради?

Вышел Андрей из церкви, а небо высокое, синее. Воробьи ветки облепили, чирикают.

«А чего это меня в грусть-тоску кинуло?— спросил он себя.— Да ничего со мной не будет. Авось к туркам иду. Я — православный, духоносный, а они басурманы».

И пошел поручик из церкви к стрелецкой женке Авдотье: стрелец-то с князем Пожарским в Астрахань отбыл.

5

Самым разрушительным врагом великой Речи Посполитой был ее избирательный престол.

Вот уже семьдесят четыре года страной правили чужеземцы. Сначала это был француз Генрих Анжуйский, потом — ставленник Турции воевода Трансильвании Стефан Баторий. Француз, наглядевшись на вольности шляхты, бежал; трансильванец, возвысивший Польшу, был отравлен. На престол попал шведский принц Сигиз-

мунд Ваза. Друг иезуитов, погруженный в высокую науку схоластов и астрологов, он до того ненавидел поляков, что однажды высек старшего сына, будущего короля Владислава IV, за то, что тот носил польский костюм.

Гроза московских царей, Сигизмунд боролся за шапку Мономаха и всю свою жизнь мечтал добыть престол родной Швеции. Ради шведской короны женился на Анне Австрийской, обещал отдать Польшу Австрии, если Габсбурги помогут ему сесть королем в Стокгольме.

Владислав IV иезуитов ненавидел, не было в нем и капли польской крови, но он почитал себя поляком, любил попировать с простым народом, а все же оставался сыном своего отца. Ради шведской короны Владислав польскую кровь проливал нещадно.

Избранный в московские цари, он тоже ходил за шапкой Мономаха войной, разгромил московских воевод, но на речке Поляновке его застигло известие: орда и турки в Польше. Здесь же, на Поляновке, Владислав отказался от прав на московский престол, признал за Михаилом Романовым титул царя и за признание это взял с Москвы двадцать тысяч рублей, Смоленск, Северную землю, а русским в утешение вернул городишко Серпейск.

10 марта 1646 года посол царя Алексея Михайловича, боярин Василий Иванович Стрешнев, представлялся королю. Стрешневу надлежало поздравить Владислава IV со счастливым вступлением в брак и добиться подтверждения Поляновского мира.

Король принял посла, лежа в постели.

Стрешнев увидал, что король не на троне, а на пуховиках, чуть в штаны не пустил. Не будет ли государевой чести убытку — читать цареву грамоту, когда король не в окружении сенаторов да князей, а обложен подушками? Не читать грамоты тоже нельзя: за миром приехал, за союзом в войне против крымцев.

Бедный Василий Иванович, обливаясь пóтом, отбарабанил приветственную речь и, чуя под собой пропасть, по-петушиному выставив грудь, заявил протест: почему это его величество при имени государя не встал, а коли болен, так почему не велел себя поднять!

Король выслушал перевод протеста и попросил посла подойти к постели.

— Я желаю брату своему, царю Алексею Михайло-

вичу, с отцом которого был в вечной дружбе, многолетнего здоровья и счастливого царствования. Я ставлю честь вашего государя выше своей чести, но встать не могу и поднять меня нельзя. Я не чувствую ног и рук. Видит бог, ухищрения тут никакого нет, а есть одна моя немочь со всеми моими несчастьями.

Король говорил еле слышно, с трудом разлепляя губы. Не до хитрости было королю. Новый брак с французской принцессой Людовик-Марией Мантуанской власти не прибавил. Молодая жена заставила было забыть о болезнях, о невзгодах. Загремели мазурки, зазвенели шпоры и бляхи на польских костюмах танцоров — вернулся во дворец воинственный «краковяк», с народного гульбища залетел веселый «обертас» и грустный «куявяк». Шведские уборы прежнего царствования, шведки, ингирины исчезли. Дамы увлеклись французскими лентами, блондами, корсетами. Лыцари вырядились в жупаны, вернулась бекеша Стефана Батория.

Королева Мария помышляла о славе в веках, и встрепенувшийся король принялся сбивать колымагу Крестового похода против Турции. Гонцы мчались к папе римскому, в Венецию, в Испанию, во Францию, в Россию. Венеция обязалась дать на войну миллион талеров; Россия, не зная всего замысла, выставила войско; королева отдала все свое приданое; король собрал армию во Львове. Да вот только делалось все в глубочайшей тайне. О планах короля знал один канцлер Оссолинский. Король понимал: всесильные магнаты будут против войны. Вишневецкие, Калиновские, Потоцкие, переименовав украинских казаков в холопов, захватив огромные земли, розгой, а то и мечом выбивали невероятные богатства. Что им было думать о судьбе Европы, о судьбе своего быдла, страдавшего от набегов татар?

Собрать втайне войско можно, но воевать втайне нельзя. Пришлось созвать сейм. Сейм вынудил короля распустить войска. Приданое Марии Мантуанской пошло прахом.

Владислав IV смирился с приговором магнатов и шляхты. Ему оставили тысячу двести человек милиции — смирился и с этим. Не потому, что был немощен — тот, у кого большое войско, может заставить прислушаться к своему мнению,— но Владислав мечтал о короне Польши для своего единственного сына. Он уступил сейму. А сын скоропостижно умер.

...Король сказал все слова, какие только можно было сказать послу чужеземной страны, но долго еще и

печально глядел на Стрешнева, не отпуская его от постели. Может быть, жалел, что не кинул Польши ради таких вот прекрасных бородачей, которые даже к имени своего царя требуют величайшего почтения.

— Я ни в чем не виноват,— сказал вдруг король и, утонув головой в подушках, закрыл глаза.

Василий Иванович Стрешнев закивал королю в ответ, хотя не понял, о чем это, но ему дали знак, что аудиенция закончена. Уходил из королевской спальни Стрешнев на цыпочках: он был доволен объяснением короля.

Едва двери спальни затворились, канцлер Оссолинский объявил:

— Московского посла ждет ее величество королева Мария.

Василия Ивановича опять кинуло в испарину: «Мать честная! Королева зовет. Вот ведь как у них, в заграницах-то, простодушно. Совсем по другому чину. Неблаголепно!»

Василий Иванович привык к тому, что царицу не то чтобы видеть, но и подумать о том, чтоб увидеть,— наказуемое непочтение и страшный грех. А ну как сглазишь! Может, и не по умыслу, ненароком. У людей такой глаз бывает сколько угодно: зыркнет иной на ребенка, а тот потом три ночи кряду орет, рта не закрывает. А царица, глядишь, на сносях. Стало быть, царским деткам вред. Народит царица ублюдков да недоносков — всему народу христианскому печаль. Потому, когда в церковь царица идет, ее от людей суконными покрывалами загораживают, в церкви она стоит за занавеской. Послы приезжают — в тайное окошко встречей любуется, и сама, и весь Терем. Даже дохтуру на царицу глядеть недозволено. Лежит царица за занавесками, руку подает — ущупать, как сердце стучит,— в кисее.

Василий Иванович Стрешнев царицу Евдокию Лукьяновну, мать царя Алексея, и видел, и бывал у нее в Тереме — родственник, а вот новую царицу, коли царь надумает жениться, разве что на свадебном пиру поглядишь в первый да в последний раз.

6

Королева Мария приняла московского посла в Тронной зале. Спрашивала о здоровье Алексея Михайловича царица стоя и стоянием этим пролила на серд-

це русского посла бальзам умиротворения и удовольствия.

Принимая подарки, королева зарделась от удовольствия, ей до того пришелся по сердцу резной бивень моржа, а чего на нем наструганo, доброму человеку и не понять, стругали да царапали дикие люди, живущие в вечной тьме, в нетающих снегах.

Блестя прекрасными глазами, королева перебирала подарки, дивилась красоте каждого и все чаще и внимательней поглядывала на русского боярина.

Боярин был высок, статен, русая борода лежала на груди мягко, черные брови вразлет, глаза небольшие, но синие, как в мартовской проруби вода.

Наглядевшись на подарки, королева села на витой золоченый стул, стоявший у стены в зале, ручкой поманила к себе Стрешнева и его толмача.

— Мой король и я испытываем ко всем русским людям самые добрые чувства. Народу Московии и народу Речи Посполитой нужно быть в мире, в союзе. Тогда бы мы огнем и мечом не только укротили бы неверных крымцев и турок, но спасли бы эти народы от несчастного заблуждения и тьмы, каким является мусульманство.— Королева поднялась.— Я хочу, чтобы ваш государь знал об этом.

В тот же день начались переговоры с польскими комиссарами. Стрешнев первым делом потребовал смертной казни для всех, кто в грамотах на имя царя допускает ошибки в титулах и наносит царю обиду.

Комиссары ответили: грамоты пишут дьячки, которые русскую речь знают плохо. Ошибки происходят не из хитрости, а от невежества, но король, заботясь о чести московского царя, приказал вызвать виновных на следующий сейм. Без сейма король не может покарать не только шляхтича, но и простого человека.

Тогда Стрешнев представил послам королевскую грамоту, в которой в титуле царя вместо «самодержцу» было написано «самодержцы».

— «Самодержцу» и «самодержцы» по-польски одно и то же слово,— заявили комиссары.

— Как же вам, паны радные, не стыдно этакое говорить!— вскричал Стрешнев.— Написать «самодержцу» — это значит к одному лицу, «самодержцы» — ко многим лицам. Во всех великих государствах Российского царства самодержец един! Другого нет и впредь не будет.

— Клянемся!— вскочили комиссары.— Клянемся, что на польском языке «самодержцы» и «самодержцу» — одно и то же слово. И чтоб впредь не было раздоров, грамоты царю и ссылочные листы из порубежных городов следует писать на польском языке. Тогда и ошибок не будет.

— Королевские грамоты сыздавна пишутся белорусским письмом. От обычаев отказаться нельзя,— возразил Стрешнев.— По-польски грамоты писать царю не годится. У порубежных воевод переводчиков нет.

Поляки стали упрашивать московского посла оставить дело об умалении царского титула. Все ошибки совершены в грамотах прежнему царю Михаилу. Новых ошибок к новому царю Алексею не найдено, не лучше ли приступить к решению новых важных дел?

Стрешнев заупрямился. Дела делами, да на первом месте царская честь.

Только на третий день переговоров был поднят вопрос о совместном выступлении двух государств против общего врага — крымского хана.

Боярин Стрешнев зачитал полякам грамоту.

«Ведомо великому государю нашему учинилось,— читал Василий Иванович,— что на общего христианского неприятеля и гонителя, на турского султана Ибрагима, учинился упадок большой от венециан ратным его людям, разоренье и теснота, людей его осадили в Критском острове немцы, и те осадные люди помирают голодом и безводицею, из Царя-града помощи послать им нельзя. Ибрагим-султан велел сделать сто каторг новых и начал думать, какими пленными гребцами наполнить эти каторги, и послал крымскому царю гонца с грамотою, чтобы шел без всякого мешканья на Московское, Польское и Литовское государства и набрал полону на новые каторги: так теперь время великим государям христианским на крымского поганца для обороны веры христианской восстать. Теперь время благополучное. Наш великий государь сильно думает о соединении с вашим великим государем на поганых агарян. Он послал для оберегания своих украйн большое войско под начальством бояр князя Никиты Ивановича Одоевского и Василия Петровича Шереметева. Если же татары пойдут на королевские украйны, то великий государь, для братской дружбы и любви к королю, велел воеводам своим помогать ратным людям королевским. И вы бы, паны радные, сами о том думали и короля на то наводили, чтоб его королевское величество для избавы христиан-

ской в нынешнее благополучное время велел отпереть Днепр и позволил днепровским казакам с донскими казаками вместе крымские улусы воевать, а к гетману своему послал бы приказ, чтоб он со своими ратными людьми на Украине был готов с царскими воеводами обо всяких воинских делах ссылаться, как им против крымских татар стоять, в какие места сходиться».

На эту прекрасную речь паны радные ответили весьма прохладно. Союз против Крыма дело нужное и важное, но говорить об этом союзе будут особые послы, которые приедут в Москву следом за Стрешневым.

И паны радные повели разговоры о крепостях путивльской оборонительной линии, которые поляки должны были вернуть Москве, утверждая, что теперь, когда ожидается набег крымцев, вернуть крепостей нельзя, а Стрешнев говорил, что царское величество путивльских городищ и земель в королевскую сторону никогда не уступит и за свое прямое будет стоять.

На это требование польские комиссары ответили своим требованием. Из Литвы на русские земли перебегают многие крестьяне. Крестьян этих нужно возвращать, но московские воеводы укрывают беглецов.

Наконец после многих дней препирательств, тупого упрямства, хитростей перешли к разбору статей Поляновского договора. Договор подтвердили.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Мартовское тепло проточило в небе синюю промоину да и хлынуло поутру, едва зарозовело небо,— так хлынуло, что снег в поле присел, ощетинился, как цепной пес, а шуба-то — клочьями. Лес гудел, деревья закружились, хмелея от влажного ветра, пошевелили каждой веточкой — стряхнуть коросту зимы.

— Марковна, до тепла дожили!— сказал Аввакум, останавливаясь, оглядывая землю окрест.— Слышь, Иван Аввакумов, весна нам встретилась.

Аввакум присел на корточки возле санок и разворошил куклешку шалей, в которые кутали сынишку.

— Не сопрел?

Мальчик обрадовался отцу, засмеялся.

— Смотри, застудится,— забеспокоилась Марковна.

— Накутанный скорей простынет. Пусть дышит. Если шагу прибавим, к обеду будем во Владимире.

— Ой!— тихонько вскрикнула Марковна.

— Ты чего?— Аввакум взял Марковну за плечи.— Побелела вся.

— Аввакумушка, не дойти мне... Прости меня. Ой! Лягу я на саночки-то.

— А ты и ложись!— разом вспотел Аввакум, окидывая беспомощными глазами пустую дорогу.— Господи, и ведь ни одной подводы! Все утро идем, и никто не встретился, не обогнал никто... Ложись, Марковна. Я как конь. Мне чего? Мужику чего? Я вас с Ивашкой мигом домчу. Деревушка, чай, будет какая!.. Только ты все-таки потерпи. Кричать, ладно, кричи, а рожать потерпи. Потерпи, голубушка. Хоть и тепло, а все ж на воле.

Приговаривая, Аввакум уложил на санки Марковну, Ваню привязал, чтоб не свалился, скинул шубу, укрыл ею Марковну и, перекрестясь, впрягся в санки и пошел рысью, покрикивая на самого себя от великого смятения и страха.

Дорога была наезженная, слава Богу, не расплывалась еще, несла.

— А теперь под гору! Гей, гей!.. Не бойся, Марковна, не растрясу. Я плавно, как на ладье. А в гору-то! А ну пошел, пошел! Да не спотыкайся ты! Пошел! Вот и вылезли.

Аввакум, глотая ртом воздух, остановился, кинулся к Марковне.

— Ну, что?

Марковна, закусив губы, молчала, да так, словно скажи она слово — ребенок тут же и родится.

— Сейчас я, Марковна! Деревня-то под горой. Вижу я деревню.

И опять он помчался. И Марковна закричала, и он помчался еще пуще. Поскользнулся, рухнул на одно колено, санки двинули его по спине. Аввакум, цепляясь руками за дорогу, вскочил, побежал.

А уж потом как все крутилось, и понять было нельзя. Пытался Марковну с санками в избу впереть. Санки не вошли. Выскочил к нему на помощь мужик-хозяин. Все быстро сообразил, побежал за бабкой.

И уж через час сидели они с мужиком, с тремя хозяйскими девочками и с Ваней в углу, возле доброго, тихого черногубого теленочка и слушали, как верещит за занавеской новый человечек.

— С девочкой тебя, поп,— сказала повитуха.

— Слава тебе, господи!— пал на колени Аввакум,

поклонился, и теленок, обнюхав, стал лизать ему затылок.

А мужик-хозяин подхватился вдруг.

— Изба такая!— закричал он.— Ладно я страдаю, так и у прохожего хорошего человека девка выметнулась. Домовой тут, видать,— баба! Новую пойду рубить избу. Тотчас и пойду, пока четвертую девку баба моя не родила!

2

На третий день после родов Марковна встала, но зима совсем разъехалась, дороги потекли. Проскакать зайчиком, может, и можно, да с двумя детишками не больно-то попрыгаешь.

Два дня, отрабатывая за жилье да за приют, Аввакум чистил коровник, забитый за зиму навозом. Таскал навоз на поле, благо за двором оно было, а на третий день, на благовещенье, по морозцу ушел во Владимир. Торжественную службу слушал в великолепном Успенском соборе.

Сияние лампад и свечей, блеск драгоценных каменьев на ризах великих икон, раскаты восторженного хора и подняли душу Аввакума от земли. Вернулась к нему и сила его, и вера. Верил Аввакум, что не зря рожден, что совершит он деяния, которые люди почтут подвигом.

И тут приметил Аввакум, как его котомка, которую положил в ноги, чтоб не мешала молитве, сама собой поползла в сторону, а потом за спину, с глаз долой.

Оглянулся: мальчишка-воришка подхватил котомку и бежать. Выскочил Аввакум из храма. Мальчишка бежит, как заяц, петляет. В котомке был каравай хлеба, лук, тряпка с солью да теплые носки, на случай если бы ноги промочил. Невелик убыток, но обидно стало: думал о высоком, о неземном, и на́ тебе! Кинулся Аввакум через лужи, напрямик. Воришка лужи обегает, а тут перед ним целое море, повернул назад — обкраденный как чумовая туча летит, сверкает молниями. Бросил воришка котомку, сел на корточки и голову руками закрыл — бей, да не до смерти.

И вдруг совсем не злобный, удивленный голос:

— И как же это тебя угораздило в праздник божий воровать?

Совсем мальчишка съежился.

— Встань!

Встал.

— Есть хочешь — пошли поедим. Я поделюсь с тобой.

— Мне дядьку Пирожника надо покормить!— сказал мальчик и поник головой.— И дядьку Лукавого.

— Я и с дядьками твоими поделюсь.

Мальчик покрутил головой.

— Если ты меня приведешь, Лукавый меня прибьет. Сегодня нельзя попадаться. На благовещенье воры заворовывают. Коли попался, на весь год неудача.

— А ты что же, вор?

Мальчик потряс головой.

— Деваться нам с дядькой Пирожником некуда. Подсохнет — уйдем в Корелы.

— Ну, если ты не вор, пошли, бояться тебе нечего. Я за тебя постою,— пообещал Аввакум.

К его удивлению, мальчик повел его назад, к Успенскому собору. За собором, у монастырской стены, на страшной круче, на солнечном припеке сидели нищие, калеки, странники. Трапезничали. Аввакум издали уже заметил, что на него зорко поглядывают из тесного кружка два сомнительных на вид мужика.

— У меня хлеб, лук да соль,— сказал он шустрому человечку.

— А у нас осетр без соли. Годится. Садись.— Шустрый мужичок потеснился, но успел-таки уязвить взглядом мальчишку.

«Этот и есть Лукавый»,— решил Аввакум, усаживаясь и выкладывая на линялую скатерку каравай, лук и соль.

— Ты чей сам-то?— спросил Лукавый, на глаз оценивая непрошеного едока: и не расстрига будто бы, и не забулдыга, мальчишку, видно, поймал, но не поколотил. И не шумит.

— Нижегородский я,— ответил Аввакум.

— Да то, что нижегородский, я и по разговору твоему знаю. Откеда, спрашиваю, и далеко ли путь держишь?

— В Москву иду,— сказал Аввакум.— Воевода меня облаял да и прогнал вон.

— А где же твоя попадья?

— В деревне тут. Девчонку родила.

— Вон что!

Свирепого вида мужик, возле которого сел воришка,— видно, «дядька Пирожник»,— поглядел на Аввакума и улыбнулся. На единый миг сошла с его лица дикая угрюмость, на единый миг, но Аввакум уже поверил в этого человека — добрая душа.

— С богом!— сказал Лукавый и первым потянулся за лучшим куском рыбы, за тем, что возле головы.

Свирепый мужик стукнул Лукавого по запястью и жестом пригласил к еде стариков и Аввакума.

— Страсть какой справедливый!— ничуть не обиделся Лукавый.— Ты не гляди, что он сердит, на его месте всякий бы осердился. Ему язык отрезали в Москве. Так-то! Мальчонка рассказывал.

— Куда же вы все идете?— спросил Аввакум.

— А кто куда. Сам я — потеплеет — на московские базары подамся, старички в скиты вязниковские идут, а Саввушка со своим молчуном, наоборот, из Вязников. Безъязыкий брата ищет. У того тоже язык отрезали, а он в отместку солдата царского зарезал и убежал. А куда — не сказался. В какой-то неведомой пустыне грехи отмаливает.

— Мы теперь в Корелы пойдем,— напомнил Аввакуму мальчик.

— Далекая дорога!— посочувствовал Аввакум.

— Это если каждый день идти — далеко. А мы, где понравится, поживем, а откуда погонят — не задержимся.

— А ты кем братьям доводишься?

— Был никем, а теперь я младший брат.

— Ну, какой же ты брат?— удивился Лукавый.— Ты евонный язык, только с ногами.

— Я младший брат.

— Вот и скажи, как твоих братьев зовут. Его как зовут?

— Как зовут — не знаю. Пирожники они.

— А говоришь — брат.

— Брат!— крикнул Саввушка.

— Верно ты говоришь,— сказал Аввакум.— Ваше братство божьим промыслом скреплено. Ты ведь не от богатства взял часть, а взял часть беды. Ты истинный брат этого несчастного человека.

Бывший пирожник просиял Аввакуму глазами, прижал к груди Саввушку, погладил его по щеке.

— Зовут тебя как, отрок?

— Саввушкой меня зовут.

— Я помолюсь за тебя.

Где-то в городе раздались крики, вопли, бахнула пищаль. Аввакум вскочил на ноги.

— Сиди,— сказал ему Лукавый.— Во Владимире теперь пальба не в удивление. Небось или соляную лавку

ограбили, или дворовые какого-нибудь боярина посадских людей бьют.

— Ох эти воеводы да бояре!— запричитали вдруг сидевшие молча старички.— Царь пожалует народ, а они царскую милость себе же в выгоду и обернут.

— Царь земли в посад вернул,— объяснил Лукавый,— а бояре, особенно Мороз, чтоб внакладе не остаться, на соль и подыми цену. А еда без соли — что праздник без вина да без меду.

Подошли к Лукавому трое мальчишек, один платок, расшитый жемчугом, подал, другой тугой мешочек с деньгами, третий медную пуговицу. Первых двух Лукавый за еду посадил, третьему дал пинка.

— Спасибо,— сказал Аввакум, отирая руки о сапоги.— Вкусный был осетр.

— Хорош, ничего не скажешь,— согласились старички.— У купчихи одной ради праздничка позаимствовали.

— Погоди,— пообещал Лукавый,— поминать еще будешь этого осетра. Не имея соли, рыбу ловить все равно что сено в дождь сушить. Вся Россия без рыбы насидится.

— Спасибо!— еще раз сказал Аввакум, поднялся, положил оставшийся от трапезы кусок хлеба да соль в котомку.— Эх, с вами бы богу в церквах помолиться, поглядеть Русь-матушку.

— Дак чего ж! Пошли.

— Моя стезя другая.— Аввакум покрестился на кресты Успенского собора.— Саввушка, давай-ка с тобой крестами поменяемся нательными.

Саввушка вскочил на ноги, заморгал.

— Я бы поменялся, да крестик мой от матушки.

— От матушки береги. Как зовут матушку? И за нее помолюсь.

— Агриппиной зовут.

— За Агриппину помолюсь, хорошее имя.— Осенил Саввушку крестным знамением и повернулся к Лукавому:— А теперь тебя посовестить хочу. Что же ты, сукин сын, неразумных деток воровству учишь?

Лукавый засмеялся.

— Я думал, поп, ты нашего поля ягода, а коли не нашего, так трусоват.

Лукавый вытащил из голенища нож. Да себе же на беду. Сапог Аввакума вдавил руку татя в землю. В следующий миг, поднятый за шиворот, Лукавый стоял над кручей. Удар сапога в зад — и Лука-

вый полетел, кувыркаясь и пролетывая, как мешок с сенок.

Не оглядываясь, Аввакум пошел из города, к Марковне да к своим кровиночкам.

На той же неделе окрестил он свою девочку и дал ей имя Агриппина.

3

Последняя ночевка перед Москвой пришлась верстах в десяти от Земляного вала. Поднялись чуть свет. Купцы, к которым пристал Аввакум со своим семейством, спешили попасть еще поутру на торг. Аввакум нетерпеливо тянул шею, лошаденка попалась лохматенькая, закрывала обзор, а попу не терпелось углядеть колокола Москвы. Серый полог неба скрывал даль, и Аввакум успокаивался, поглядывал на дремлющую Марковну, на спящих детишек своих. Телега на выбоинах покачивалась, поскрипывала. И Аввакум принимался вдруг думать о колымаге жизни, сердце у него екало: последние деньги отдал за проезд. Без единого гроша ехал поп-изгой в стольный град.

Сколько о деньгах ни думай, в кошельке не вырастет. Аввакум задремал, и вдруг холодное небо словно бы пыхнуло светоярым пламенем да и раскололось:

«Б-о-о-м!»

— Колокола!— закричал Аввакум, разом просыпаясь, сдергивая с головы шапку и забывая обо всем на свете.— Москва звонит!

Обоз остановился. Возницы вылезали из телег, снимали шапки, крестились.

Небо все еще было смурым, но звон, как златопенное море, вздымался над землей, и небеса не могли не отозваться на эту радость человеческую. Небеса порозовели, края облаков обожгло, тотчас загорелись в далекой дали кресты, и купола, и белые стены.

— Москва!— прошептал Аввакум.— Марковна, ты погляди — Москва. Как звонит! Всей земле пробуждение.

Подводы опять качнулись, заскрипели, лошади, почуяв отдых, прибавили шагу.

Отзвонив, отбив истово поклоны, Москва, хорошенько не проснувшись, кинулась жить не тужить. Стати соколиной, а возня под куполами золотыми великими суматошная, воробьиная.

— Родная,— сказал Аввакум Марковне.— Коли ты

русский, хоть на Иртыше тебя роди, хоть на Дону или в Тотьме, а все равно здесь она, наша Родина.

Базары спросонья поеживались, притоптывали, лоточники, позевав, пробовали голос, воры почесывались, приглядывались, покупатели приценивались. Все пока без страсти, с дремотцой... Эх! Раскати колесо! Пошло, пошло, только спины засверкали, а вот уж и спиц в колесе не видать. Покатилась пролетка столичной жизни своим чередом.

— Прибыли,— сообщил Марковне Аввакум, заваливая на спину узел с манатками.

Марковна, одной рукой прижимая к груди Агриппину, другой поглаживая по головке Ванечку, раскрыв глаза, глядела на веселое чудо куполов Василия Блаженного.

4

— Для светлого праздника у господа и солнышко играет,— говорил Неронов, обходя всех домочадцев и христосуясь.

Холодные губы старичков, ровное тепло детских губ, лукавый жар молодиц.

— Христос воскрес!

— Воистину воскрес!

И у всех глаза добры и виноваты: эх, ведь столько греха взято на душу из-за слова несдержанного, из-за обид мелочных.

Целуясь, искренне обещали себе начать жизнь заново, другую жизнь начать, сей же миг и начать.

Аввакум под самую пасху успел в Москву. Поселился он у Неронова. И теперь оба семейства садились за стол разговляться.

— Пасха-то вкусна!— удивлялся Неронов.

— Марковна делала,— сказала жена Неронова.

— Вкусно. Сколько живу, никогда такой пасхи не отведывал.

Марковна покраснела, замахала свободной рукой, на другой лежала-посапывала Агриппина — спокойный человек.

— Ну, что же ты молчишь, Аввакумушка?— вскинулся Неронов.— Давай-ка фряжеского вина выпьем,— чай, со стола самого Ртищева. Прислал к празднику.

Выпили по чаре, потом и по другой.

— Слыхал я, что Москва благолепна и устроена всячески, но я и погрезить себе такого не мог, что гла-

за мои увидали наяву. До чего же красна наша государыня!— Аввакум горестно всплеснул руками.— Что слова? Слова ложь. Хожу по Москве, а в груди радость кипит, и всякий встречный человек мне люб и каждый дом дорог, как свой.

— Аввакумушка, возьми-ка вон ту поросячью ножку, а мне холодцу подай,— попросил Неронов.— Да и сам холодцу отведай. С хренком — о как!.. Ух! Хрен-то! Матушка, да какой же ты хренок-то удружила! Ух! Слеза так и льет. Славно.

— Ну-ка и мы теперь!— Аввакум зачерпнул хрену ложкой, молодечеством хотел удивить, положил хрен в рот, и глаза у него остановились в изумлении, шея надулась, уши запламенели.

— Ты чего?— лукаво сверкая глазами, спросил Неронов.

— Га!— сказал Аввакум.

— Чего?

— Га!— Аввакум наконец перевел дух.— Ну и хрен! Меня словно бы с лавки кто поднял за шиворот и держал — не отпускал.

Все за столом засмеялись.

Отведали сладкого и соленого, жирного и кисленького.

— Теперь поспать!— блаженно щурясь, сказал Неронов.— А как встанем, пойдем с тобою, Аввакумушка, к Федору Михайловичу Ртищеву, похристосуемся.

5

Хоть старший Ртищев, Михаил Алексеевич, был жив и здоров и пожалован государем дворцовым чином постельничего, не его вдовий дом притягивал к себе молодых Ртищевых. Все ехали к Федору Михайловичу. Федор Михайлович в январе женился. Жена его, Аксинья Матвеевна, выросшая сиротой, к новой родне припала сердцем, а особенно к Анне Михайловне. Перед Анной Михайловной она, в счастье своем, чувствовала себя как бы и виноватой. Всего год была замужем Анна Михайловна. Муж, Вонифатий Вельяминович, помер, и молодая вдова, чтоб не убежать с тоски в монастырь, переехала в дом Федора Михайловича. Хозяину дома шел двадцать второй год, но люди пожилые, умудренные, тянулись к нему. Второго такого ценителя ученой беседы в Москве не сыскать. Федор Михайлович и сам скажет — неделю думать будешь, но главное послушать горазд.

На пасху вся семья Ртищевых была в сборе. Михаил Алексеевич, Федор Михайлович, Аксинья Матвеевна, Анна Михайловна, Федор Михайлович Меньшой. Пришел из Покровского монастыря, что за Яузой, дядя молодых Ртищевых по матери, знаменитый книжник, монах Симеон Потемкин. Из гостей были Глеб Иванович Морозов, духовник царя благовещенский протопоп Стефан Вонифатьевич, епископ коломенский Павел, справщики книг печатного двора старец Савватий да Иван Наседка.

Когда от праздничного стола гости перешли в просторную светлицу, дабы дать пищу уму и наслаждение душе, появились еще двое: поп Неронов, а с ним никому не ведомый Аввакум.

Аввакум, садясь на лавку, стеснялся, что велик, сел с краю, а середину как бы и перекосило в сторону. Все на него смотрят: что за молодец, за какие такие заслуги поп Неронов привел его в святая святых?

Неронов сидит помалкивает, Аввакум голову нагнул, под ноги глядит.

— Я горюю,— заговорил хозяин дома,— что в приезд митрополита Феофана Палеопатрасского, который был в Москве при покойном государе, царство ему небесное, так ни о чем и не договорились. Если бы основали тогда греческую типографию, как просил Феофан, а говорил он устами патриарха Парфения, то всем было бы хорошо.

— Патриарх Парфений хотел отказаться от книг, кои печатают в Венеции,— напомнил о сути Феофанова ходатайства Стефан Вонифатьевич.— Венеция — под папой римским, а католикам истинное слово божье не дорого. И по нечаянности исказят, и по умыслу, а все ошибки — закваска для ересей.

— И хорошо, что убрался этот ваш Феофан ни с чем!— горячо откликнулся справщик книг старец Савватий.— И так от греков проходу нет. Читать как следует не умеет, а уже поучает. Понаехали бы эти гривастые развратники, всю бы Москву своим умничаньем смутили бы. Русскому человеку ныне почет невелик. У нас скорее бродягу будут слушать, лишь бы заморский, нежели своего мужа ученого, сединами венчанного.

— Знаю, не любишь ты, Савватий, греков,— сказал Стефан Вонифатьевич.

— Греки, как и малороссы, в вере не тверды. Их еще патриарх Филарет укорял в шаткости, а патриарх Филарет, когда жил у поляков в плену, нагляделся на отступников.

— Русская вера против греческой — море и лужа, гора и песчинка!— в сердцах воскликнул Иван Наседка.

— Доброй вере доброе знание не помешает,— улыбнулся Федор Михайлович.— А вот невежество для веры погубительно. Днем русский человек на пеньки не станет креститься, а как дело под вечер, так каждый пенек — леший. Великому государству нужен великий свет. Мало у нас книг добрых издано. «Кирилловой книгой» разве что похвалиться можем да «Златоустом».

Стефан Вонифатьевич довольно кашлянул, погладил бороду. В «Книге глаголемой Златоуст» «Слово о правде» — его собственное слово.

— «Кроме российского языка, нет нигде правоверующего царя!» — на память процитировал Неронов.— Слава тебе за великую и простую сию мудрость, Стефан Вонифатьевич! В своей «Правде» ты подобен Филофею, старцу Клеазарова монастыря, который в посланиях своих провозглашал: «Москва — третий Рим, третий Рим и есть, ибо нет на земле лучшей хранительницы христовой веры, чем белокаменная».

— Нет и хранителя лучшего православной святой веры, чем великий государь наш, Алексей Михайлович!— воскликнул старший Ртищев, Михаил Алексеевич.

Все помолчали, прочувствовали весомые слова главы рода.

— За устройство дома божьего надо браться сразу со всех сторон,— сказал епископ коломенский Павел.— Меня смущает резвое наше многогласие. И в три голоса поют, и в четыре.

— Сам государь слышал службу в шесть голосов!— воскликнул Стефан Вонифатьевич.— Я с патриархом кир Иосифом говорил о великом гневе государя. А патриарх мне в ответ: «Немощен я. Стар. Вам, новым людям, скинуть меня охота». Так и не дослушал толком.

— Собор о запрете многогласия нужно собирать,— сказал Павел коломенский.— Единогласие установить будет трудно. Служба станет непомерно длинной, и народ возропщет.

— «Возлюбленные! Мы теперь дети божьи, но еще не открылось, что будем».

Неронов сказал это и хитро сощурил глаза. Стефан Вонифатьевич повздыхал:

— Ты все язвишь, поп Иван. Скажи, чего ради помянул слова апостола Иоанна Богослова?

— Вот на него поглядите!— Неронов вскочил, отбежал на середину светлицы и воззрился на Авваку-

ма.— На него, ибо этот человек, поп Аввакум, живет по слову того же Иоанна Богослова: «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю божию пребывает вовек». Никто ему не указывал — ни царь, ни патриарх. Вера указала. И он служит в городке в своем, в Лопатищах, единогласно. И за ту любовь к богу стреляли в него, терзали его, разорили его дом и разграбили все имущество, а ныне и вовсе выбили из городка прочь. А он, чай, не один, и жена у него, и дети малые, второе дите в изгнании, в дороге родилось.

— Зачем ты рассказал обо мне, батька Неронов?!— воскликнул Аввакум, полыхая щеками.— Я не жалуюсь. Не суда я пришел искать в Москву, ибо я знаю: «Всякий, не делающий правды, не есть от бога, равно и не любящий брата своего». Воевода, гонитель мой, придет час — образумится. Избави меня господи, чтоб я на него возвел грозу! Ведь сказано: «Кто не любит, тот не познал бога». Не управы искать пришел я в Москву, пришел послушать мудрых людей и укрепиться в вере.

«Горяч и безмерно горд,— решил про себя Федор Михайлович, глядя Аввакуму в лицо.— С такими молодцами можно старую перину и выбить, и вытрясти».

— Мы рады, поп Аввакум, что ты пришел к нам!— начал Павел коломенский, но дверь распахнулась, и явился Борис Иванович Морозов.

— Христос воскрес!— провозгласил он и принялся христосоваться.

Было видно, что боярин весьма торопился. На лице бисер пота, глаза отсутствующие, усталые. Федор Михайлович заметил это, заволновался, но тотчас все и прояснилось. Едва Борис Иванович похристосовался, сел рядом с Михаилом Алексеевичем, передохнул, как примчался перепуганный слуга, но объявить ничего не успел — следом за ним в светлицу вошел государь всея Руси Алексей Михайлович.

— Христос воскрес!

Аввакум увидал перед собой веселые глаза, румяное лицо, золотистый пушок бородки и усов. Румяные губы трижды коснулись его, Аввакумовых, щек, и сам Аввакум, трепеща от ужаса и счастья, коснулся губами царских, пахнущих весенним вкусным воздухом.

— Воистину воскрес!— прошептал Аввакум, но царь уже христосовался с Нероновым.

6

Аввакум с Марковной спали на печи. Запечный сверчок сверлил темноту золотой своей песенкой. Посапывал, разметавшись, сынок Ваня. Агриппинка развздыхалась, чмокая материнскую грудь.

— Совсем как дома,— сказала Марковна, и Аввакум по голосу догадался: улыбается, а в глазах небось слезы.

— Эй, Марковна!

— Что, Аввакумушка?

— До чего же меня сегодня переполошило всего. В ум не возьму. Ну, поверишь ли, слуга вбежал, а дверь закрыться не успела, как опять нараспашку — и входит царь. «Христос воскресе!» Прямо ко мне и целует. Меня, попишку-замухрышку лопатищинского! А в светлице-то и оба Морозовых, и Стефан Вонифатьевич, духовник царский, и Павел коломенский, все Ртищевы... А как глядели на меня, когда батька Неронов про мытарства наши рассказал им! Будут оставлять в Москве — не откажусь. Ох, люба, люба мне голубушка белокаменная! Скажи, чего молчишь?

— Аввакумушка, тебе видней.

— Марковна, Марковна! Думаешь, я без сердца? Жена на сносях, а мы в ночь бежим по снегу, в мороз. Жене — родить, а мужа пинками — долой из дому да и за околицу. Что ни день, то другая крыша. Пропитания — кто что подаст. Но, Марковна, кончатся наши муки. Господь бог все видит.

— Аввакумушка, да разве я тебя укорила когда-нибудь за твою веру, за твою правду? Ты за божье слово как стена каменная стоишь.

— Не хвали ты меня, Марковна. Какая уж там стена! Ведь сказал, что к питью хмельному не притронусь, а батька Неронов налил сегодня ради праздничка — не посмел отказаться.

— И молодец, что не отказался. Грешно доброму человеку праздник испортить.

— Нет, Марковна! О других думай, но пуще глаза береги чистоту души своей. Ей пылать в геенне огненной... Вот и я думаю: хорошо в Москве жить, но на кого я покинул Ивана Родионовича? Уж не самому ли дьяволу вручил душу его мятежную?

— Сам говоришь — о своей душе надо печься, а про изверга думаешь!

— Вот уж воистину про изверга! Да ведь думается,

Марковна. Всех людей жалко, а врага своего пожалеть — душе польза. Я о душе своей, как помню себя, стал думать. Пришел к соседям, а они поросенка зарезали, очень я тогда испугался, увидав первую в моей жизни смерть. Стал думать, что и сам когда-нибудь умру. Среди ночи поднялся, плакал, молился. А матушка моя, Мария, инокиня Марфа, царство ей небесное, хвалила меня за усердную молитву. Любил я с нею пост держать. Великая была постница!

— Уснула наша девочка!— Марковна положила Агриппину по правую от себя руку, а сама припала к мужу.— Поцелуй меня! Кончился пост. Может, и мытарства наши кончились.

— Ох, Марковна!

7

На фоминой неделе Стефан Вонифатьевич позвал к себе Аввакума и заступника его Неронова.

— Между мной и патриархом пробежала кошка,— сказал он им.— Мое ходатайство только вреда наделает. Поезжай, Аввакум, в Лопатищи. На воеводу твоего узда найдется, не бойся. Поезжай, вводи единогласие. Для всей нашей церкви большое дело сделаешь. Будет на кого кивать, когда на Соборе с патриархом схлестнемся. Он больно робок у нас. Всей его заботы — денежки в кубышку складывать.

— Я готов,— сказал Аввакум.— Сам хотел в Лопатищи проситься. Если уходить оттуда придется, так уходить надо победителем.

— Придет время — и новый патриарх позовет тебя, Аввакум, в столицу. Будь в том уверен. Нам устраивать и устраивать православную нашу церковь.— Стефан Вонифатьевич взял образ святого Филиппа, перекрестил им Аввакума.— На святое служение русскому народу благословляю тебя иконой истинно русского святого. А вот тебе подарок от меня.

Поднес Аввакуму книгу Ефрема Сирина, а книги стоили тогда дороже дорогого платья, дороже доброго коня.

— Ну, Марковна, потащились потихоньку,— сказал в тот же день Аввакум терпеливой своей половине.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Блаженно щурясь — солнышко с утра было и теплым, и ласковым,— поручик Андрей Лазорев оглядывал зеленые просторы второй своей родины. Двигались не спеша, конь шел ровно, высокое казачье седло поскрипывало, и так же вот ровно, не причиняя беспокойства, поскрипывала в голове Андрея мыслишка. Родом он был из Смоленска, но Смоленск после неудачной войны опять отошел к полякам, и государь Михаил Федорович пожаловал Лазорева-отца, за многие раны и верную службу, земелькой в Тульском уезде. Вот и думалось Андрею: который уж раз мимо дома он проезжает. Отец помер — узнал через полгода. Жива ли матушка-то? На обратной дороге непременно нужно домой завернуть. Только когда она теперь случится, обратная дорога, да и быть ли ей?..

— Мать честная!— воскликнул вдруг Андрей, останавливая коня у вливающейся в большак проселочной, не больно-то приметной колеи.— Ей-богу, это она. Вон косогор с двумя горбами. Тут до моего дома верст пять-шесть.

Сердце заколотилось. Рванул коня, догнал колымагу Ждана Кондырева.

— Дозволь на дом родимый взглянуть! Через час догоню.

— Тебе не дозволь — ослушаешься.

— Ослушаюсь.

— Ну, так поезжай. Да гляди не загуляйся.

— Э, нет! Я матушке и не покажусь, чтоб ее не тревожить. Погляжу издали — и прочь.

Проселок, вильнув между горбами косогора, скатывался в ложбину, по обеим сторонам которой струилось тихое чудо берез.

— Боже ты мой!

Горло окатило такой горечью, что на глаза навернулись слезы. Лазорев спешился, потрогал головки желтых одуванчиков.

— Ишь цыплятки! Ишь сколько их повыскочило!

Влажная животворящая земля пронзила его невидимыми лучами запахов.

— Как же это я посмел!— потряс головой в отчаянье Андрей.— Как же это посмел!

Он хотел сказать себе: как же это он посмел оста-

вить эту землю, забыть этот земной дух, этот чудный березовый свет, это зеленое сияние вылетевших из почек листиков-мотыльков?

Андрей прыгнул в седло, пришпорил коня. В глаза ему ударила белая пурга березовой рощи. Он мчался через нее и кричал:

— Вот уж истинный дурак! Вот уж дурачина!

Но пургу отнесло вдруг ветром, и Лазорев осадил коня у черного, пышного, мягко вспаханного поля. Сразу за полем стояли крытые соломой избы. Пяток изб. Господский дом, из которого он ушел семь лет тому назад, был такой же избой, как все прочие, только чуть пошире, да стоял он посреди сада, и перед окнами был вырыт пруд для уток и гусей.

Лазорев как в лихорадке стреножил коня. Конь косил на него глазом, почуял, что с хозяином творится неладное.

— Да нет, ладное!— засмеялся Андрей и прикрыл рот ладонью: не услыхал бы кто.

Он прокрался к жердяной изгороди. Пролез между жердями и очутился на скотном дворе. Из распахнутого коровника по-весеннему резко пахло навозом. По золотой соломенной трухе степенно гуляли куры. Дворни не было видно. Андрей встал за стеной катуха.

Сени были открыты, и Андрей решился забежать в них — сени, слава богу, темные — и через щелочку в двери поглядеть на матушку. Она небось возле окошка сидит, прядет пряжу.

Андрей собрался с духом, но услышал, как дверь из горницы отворилась, зашаркали шаги и вышла из сеней на крыльцо матушка. Все в той же бархатной затертой душегрейке, в платке с концами, завязанными над бровями. Подняла было руку к бровям — поглядеть на дорогу,— но не донесла, опустила: разуверилась в дороге.

Андрея так и скорчило: «Преступник! Истинный тать!»

Матушка стояла и смотрела на дорогу. Ох, сердце материнское! Поглядела на звенящих над полем жаворонков. Повернулась уходить — сгорбилась. Прежде чем сделать шаг, оперлась рукой на щербатый дверной косяк.

«Господи, да что же это я? Да неужто я — кремень бездушный. Небеса, что ли, лопнут, если я часом позже в строгие глаза Кондырева погляжу? Службе не убыль — отереть материнские слезы».

Матушка стояла, держась за дверной косяк,— то ли

сил набиралась переступить порог, то ли сердце держало.

Оглянулась на дорогу через плечо, и Андрей не выдержал, вышел на середину двора, сдернул шапку и стал на колени.

Матушка сощурила глаза, разглядывая,— разглядела, улыбнулась.

— Я так и знала, Андрюша, что уж сегодня дождусь тебя.

2

От малой му́ки себя избавил, обрек на большую муку.

Как сказать матери, которая вся уже в хлопотах — баню побежали затапливать, поросенка молоденького закололи, в погреба полезли,— как сказать, что только на погляд приезжал? Не было у Андрея силы остановить счастливую домашнюю круговерть. Махнул рукой на все свои чины. Служба у Кондырева — это и не четверть службы, служба — за море идти, человека убить. Стало быть, идти на верную смерть. А потому волен поручик отдать себя на день в ласковые руки родимые.

Били в маленький тугой барабан. Андрей вскочил с постели, натянул одежду и только тогда наконец проснулся. Тусклый свет лился в бычьи пузыри, натянутые в рамах: еще и солнце, наверное, не взошло. Вспомнил мясистый нос Ждана Кондырева: «Ох, уж сопеть будет!» — и завалился в постель.

Пахло паленой курицей. Матушка готовит новое застолье.

Вчера допоздна сидели. Рассказала, как отец помирал, как хозяйствует. Уезжал, было у них двенадцать человек мужского полу, две семьи переметнулись к соседу, а сосед известный на весь уезд самодур Карачаров. Пожаловаться на него нельзя — сожжет. А девять душ долой. Три мужика осталось, и те на сторону глядят.

— Прибью я его,— пообещал матушке Андрей.

— Нет, уж оставь!— возразила матушка.— Сам он, верно, злодей, а вот дочка у него, Любаша,— голубь. Она одна меня не забывает. Как приедет ко мне — так и праздник в доме.

«Праздник!» — Андрей догадался, какой барабан его рузбудил. В углу, на потолке расползалось голубое в розовых разводах пятно. В ведро капало.

«Как же все обветшало! Мать, того гляди, по миру пойдет». Поручик вскочил с постели.

Матушка уже на пороге.

— Как почивал, душа моя?

— Почивал сладко, матушка.

— Изволь откушать.

— Изволю, матушка. А ты прикажи бабам солому вязать. Крышу перекрою.

— Течет на этой половине, а на жилой не течет. Солома уже припасена, будут погожие дни — перекроем как-нибудь.

— Прикажи, матушка, тащить солому. Дождь, видно, кончился, перестало капать.

— Не срамно ли поручику крышу-то крыть? Люди как бы на смех не подняли.

— Надо мной, матушка, смеяться опасно.

Скинул Андрей старую солому, стал новую укладывать. И тут подкатывают к дому дрожки, а в дрожках девица, одна, без кучера. Увидала на крыше Андрея, смешалась, вожжи дергает, чтоб мимо проехать, а лошадь не поймет, что от нее хотят: привезла ведь. Тут из дому матушка выскочила:

— Люба! Милая! Приехала.

— Просфирок тебе привезла, Матрена Ниловна.

— А у меня радость несказанная! Андрюша приехал.

И в слезы. Упала на грудь девушке и никак наплакаться не может.

Ушли в дом.

— Кто это?— спрашивает Андрей дворовую бабу.

— Дочка боярина Карачарова.

— Ну, до боярина Карачарову как мне с крыши до неба.

Недолго погостила боярышня. Уехала. Мать и говорит Андрею:

— Довольно на крыше сидеть. Проводи девицу, не ровен час, обидчик какой из лесу выскочит. Она у нас отчаянная, одна ездит.

Спрыгнул Андрей с крыши. Оседлал своего коня, помчался. А девица недалеко уехала. Поставила лошадь на дороге, сама цветы собирает.

— А я и догнать не чаял!— удивился Андрей.— Больно резво от дома нашего взяла.

Девушка цветы выронила: испугалась все-таки. Смот-

рит Андрей, а глаза у нее — сентябрьские озера: большие, чистые, ни хитринки в них, и радости тоже нет. Сама высокая, шея гордая, от плеча лебединый изгиб.

Спрыгнул Андрей с коня.

— Я проводить тебя ехал. От нечаянности какой недоброй поберечь.

Смотрит девушка на Андрея и не знает, куда деваться. А ему вдруг его мужики, Карачаровым отнятые, вспомнились. Ворохнулось в сердце лохматое. Шагнул он к девушке и поцеловал ее. А она как стояла, так и ни с места, словно ноги у нее к земле приросли, только голову откинула и руками шевелит — улететь хочет, а перышки-то опали.

Стыдно стало Андрею, и до того вдруг девушка полюбилась ему, упал он в ноги ей и заплакал. Тут она пришла в себя, наклонилась над ним и обеими руками погладила его по голове. Как цыпленка, как сам он одуванчики вчера гладил.

Вскочил Андрей, кинулся к лошади своей, оглянулся, а Люба руками к нему потянулась. И уж тут совсем Андрей себя не помнил. Подхватил он Любушку на руки, понес, уложил в цветы. И целовались они, сами себя не помня. И как случился у них грех, о том они рассказать и друг другу бы не сумели.

Любушка хоть и видела Андрея в первый раз, а мечтала о нем всю жизнь. Прилепилась сердцем к Матрене Ниловне, а у Матрены Ниловны один всегда разговор: о воине своем, о красавце ненаглядном. Девушка и размечталась. Затем и наезжала к Матрене Ниловне — о сыне ее поговорить. А сын-то наяву саму мечту забил.

Опомнились — ужаснулись. Кинулись друг от друга в беспамятстве.

Андрей по-лосиному вломился в чащобу и пер, покуда ели не сомкнулись перед ним, не уперлись ему в грудь колючими лапами и толкнули прочь от себя. Бросился в другую сторону. Озерцо мелькнуло. Лес помельчал. Вышел Андрей на берег, сел на корягу, глядит в воду, а вода черная. Чистая как слеза, но черная. От глубины черная. Тотчас комарики запищали, впились. Вскочил Андрей на ноги: отвык в Москве от комариков.

— Так ему и надо!— крикнул.— Ишь Карачаров! Матушку чуть по миру не пустил... Я ему еще ой как насолю!

И опять кинулся по лесу. Выбежал на поляну, поймал коня и галопом домой. Натянул мундир, саблю прицепил, пистолеты зарядил.

— В поход уже?— ахнула матушка.
— К соседу нашему в гости!
И ускакал в Карачары.

3

А Любаша топиться бегала. Прибежала на омут, на крутой бережок, да и раздумалась. А ну как приедет нынче по вечеру поручик Андрей к батюшке со сватами, а она уже и бездыханна, да и не нашли ее, за корягу зацепилась, раки по ней ползают. Фу! Не стала топиться. Стала Андрея ждать. И тут девки ее, служанки, бегут, в глазах отвага, из ушей аж пар валит. Прискакал-де сосед в немецком платье, в немецкой шляпе, на боку сабля. Королевич! Ой, всполошилась Любаша, отца, как всегда, дома нет, на охоту умчался... А тут вдруг чего-то в колокол ударили. Андрея нет и нет. Служанки прыснули за новостями — одна нога там, другая здесь: поручик мужиков на службу царскую зовет. Всем обещает по пять рублей, по ружью, казенную одежду и казенную волю.

Кинулась Любаша в чулан на мешках с мукой плакать. Пропала жизнь!

Наплакалась, уснула. Проснулась, умылась, замкнула сердце и душу, а подружки — вот они, еле ноги уже таскают от беганья. Поручик-то набрал двенадцать молодцов, посадил на телегу — и тю-тю. А тут батюшка, сам Кудюм Карачаров. Услыхал о дерзости соседа, помчался с охотниками в погоню — мужиков отбивать. Услыхала Любаша тараторок, так и ударилась без памяти.

Догнал Кудюм Карачаров царского драгуна.

— Стой!— кричит.— Растерзаю!

— Поезжайте к моему дому, там и ждать меня будете,— приказал Андрей вознице и своему воинству.— Да смотрите не оглядывайтесь назад.

А сам повернул коня навстречу свирепому дворянину. Хорошей рысью наезжает. Осадил свою лошадь Кудюм Карачаров, плеть распустил. Ждет, улыбается.

— Засеку.

И вдруг — бах! Конь под Кудюмом Карачаровым заскреб копытом да и рухнул, придавил ногу седоку. Дворня — свора разбойничья — коней в разворот да и улетела.

— Хорошая была кобыла,— сказал Андрей.— Жалко.

Спешился, помог соседу выбраться из-под туши. А тот и стоять не может, не то что идти. И ногу повредил, и очень испугался. Впервые с ним этак обошлись.

— Ты меня прости, батюшка! Я на царской службе. А царь приказал мне людей в армию набирать... Да и должник ты мой. Совсем ограбил матушку.

Кудюм Карачаров молчит, на пистолет поглядывает.

Андрей, чтоб не смущать пожилого человека, сунул пистолет за пояс да и повалился ошалевшему дворянину в ножки.

— Прости, батюшка! Прошу руки твоей дочери! Грех у нас с ней приключился.

Подскочил Кудюм, нашел свой арапник да и огрел Андрея по спине. Еще замахнулся, а Андрей саблю наполовину из ножен вынес.

— Один раз — поделом. А второй раз — это уже по злобе будет. Садись, батюшка, на моего коня, а я пешком пойду. Сегодня же пусть и обвенчают нас. Мне поутру на службу скакать.

И — диво дивное!— в тот же день повенчали Андрея и Любовь и свадьбу им сыграли. Привезли Матрену Ниловну, сели за столы дубовые. Кудюм Карачаров сначала волком глядел на незваного зятя, а потом отошел:

— Весь в меня! Сокол!

А Любаша так лепесточки все и распустила. Разлука с первым лучом солнца, но — цвела! Как мотылек!

4

Чтобы за долгую отлучку перед Кондыревым на коленях не ползать, вымаливая прощение, поручик Лазорев принялся рыскать по селам и деревенькам. Сманивал молодых мужиков в казаки. Прельщал деньгами, волей, кафтаном. Спроса у бродяг дорожных не спрашивал, забирал с собой. В Елец Лазорев пришел с двумя сотнями. Городишко едва-едва оживал после двухсотлетнего небытия, а ведь когда-то Батый приступом на него ходил и хромоногий Тимур. Накормив с грехом пополам свое воинство, еду пришлось силой взять, Лазорев обиделся на горожан и решил очистить Елец от лишних людей. Да таковых не сыскалось, но зато в городе была тюрьма. Приступился поручик к целовальнику:

— Сколько у тебя сидельцев?

— Целый год один Васька Барабанщик сидел, а тут

наехал воронежский воевода и еще двадцать человек из горожан под замок велел взять.

— В чем вина сидельцев?

— Двое за лошадь сидят. Один продал, другой купил, а в книгу не записали, не уплатили пошлину. Остальные — ловцы бобров и выдр. Правду сказать, поделом сидят, на реках теперь пушного зверя у нас не сыскать, повыбили. Уж больше десяти лет, как указ государев был, чтоб капканов не ставили. Только наши остолопы разве чего понимают? Вот, может, посидят, так и поумнеют... Мне с ними беда. Стражи — один человек. И кормить нечем. Вот и грешу: домой отпускаю сидельцев на обед и на ужин.

— Так я же тебя спасу!— воскликнул Лазорев.— А ну открывай тюрьму! Всех сидельцев забираю в казаки.

— Да как же это? Им и сидеть-то кому две недели, кому месяц, а кому шесть недель. Один Васька до государева указа.

— Молчи, целовальник! У меня дело государево.

Так и увел всю тюрьму.

5

Ждан Кондырев обрадовался и Лазореву, и особенно его двум сотням. Теперь в отряде было уже пятьсот человек. Не три тысячи, но уже войско.

Послал Кондырев Лазорева в Курский уезд. Тот походил по городкам, по деревенькам, набрал полсотни человек гулящего люда. На пятый день прибыли в большое торговое село. В рыбных рядах повстречал поручик мужика. Знакомый будто бы, а кто — не вспомнит никак.

— Ты чей?— спрашивает.

— Как чей? Холоп Кудюма Карачарова!

— А далеко ли отсюда Карачарово-то?

— Да верст сорок будет.

— Сорок верст! Бог ты мой — рукой подать!

И через час уже мчался поручик Лазорев в Карачарово.

Она сидела над омутом, вся в цветах, поглядывала, жмурясь, в слепящую даль заречья. Солнце стояло уже над самой землей, облака пылали будто корочка на февральском снегу.

Она складывала цветок к цветку, взглядывала на ос-

лепительные воды утекающего дня и думала: он примчится по заречной дороге. Только вот когда? И завидовала медведям. Медведи в худое время впадают в спячку... Она опять посмотрела на солнце и увидала пятно. Это пятно было точь-в-точь всадник на коне.

Всадник дал шпоры, закричал, помчался, конь врезался в воду, поплыл, уперся ногами в берег, прыгнул...

Она и во сне такого не видала: Андрей подхватил ее с земли и держал на руках уж так бережно, словно аленький цветочек, и конь шел куда ему вздумается, потому что им не было до него дела.

— Любушка,— шептал Андрей.— Любушка!

6

С тремя сотнями веселого бродячего народа входил поручик Лазорев в солдатский городишко Воронеж. Ворота были открыты, у ворот ни одного стражника.

Лазорева охватила тревога.

— А ну, прибавим шага!— приказал он своему воинству.

Вскоре со стороны Съезжей избы стал слышен гул встревоженной толпы.

«Бунт, что ли?» — подумал Лазорев и скомандовал:

— А ну-ка, разберите, братцы, заборчик. Чтоб у каждого в руках было чем по балде угостить.

«Братцы», утомленные ходьбой, воспрянули духом: солдатская жизнь начиналась интересно.

Перед Съезжей избой, где заседал воронежский воевода, а теперь еще и Ждан Кондырев, творилось дело немыслимое. Толпа дворян, вооруженных дубьем, тузила стрельцов, пробиваясь к дверям. На крыльцо выбежал воевода, что-то покричал, но его огрели слегой, и воевода кинулся назад в Съезжую избу и юркнул в подполье, оставив Ждана Кондырева с глазу на глаз с рассерженными дворянами.

— Отдай наших мужиков!— требовали дворяне.— Сумел сманить — сумей вернуть, а не то разорвем.

В Съезжую избу уже тащили попа взять с Кондырева «крестное целование» в том, что он вернет мужиков и впредь сманивать не станет. И пришлось бы Кондыреву целовать крестик, но тут поспел Васька Барабанщик.

— Люди!— орал он.— Царь нам волю дарует, а дворяне волю воруют! Бей дармоедов!

И застрелил из пистолета дворянина, поставленного

дворянами на крыльце, покуда не совершится крестное целование.

Дворянин рухнул, кровь залила ступени. Васька пальнул из второго пистолета в дверь, дворяне стали прыгать из окон, и тут на площадь примчалась ватага Андрея Лазорева.

Ждан Кондырев пришел в себя и, человек государственный, сообразил, кого казнить, кого миловать.

Схватили Ваську Барабанщика.

Поставили к задней стене Съезжей избы и сами казаки расстреляли его из пищалей, заплатили дворянам за кровь кровью.

11 мая на стругах и лодках казачье войско Ждана Кондырева вышло на Дон и поплыло в сторону Азова.

Под Азовом уже шла драчка. Князь Семен Романович Пожарский с верными Москве ногайскими мурзами, с черкесами, с терскими казаками и астраханцами погромили Малый ногайский улус, присягнувший крымскому хану, захватили пять купеческих кораблей, плывших из Кафы в Азов, и пугнули крымского нуреддина, который вышел было в набег на русские украйны.

Нападать на Крым посуху, когда у хана войска собраны, было опасно, идти морем казаки тоже на захотели: по Черному морю шастал турецкий флот.

К тому времени стало известно, что Польша воевать с Крымом не собирается. Поход на крымского хана сорвался.

Морозов, однако, оставил войско Кондырева на Дону до лучших времен.

Часть вторая

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

Убежище веры, падишах великий империи Османов, султан Ибрагим проснулся со счастливой улыбкой на толстом, потерявшем очертания лице: во сне он обменял весь свой гарем на пери из райского сада. Да как ловко! За каждые три наложницы аллах давал ему две пери, а каждая пери своими достоинствами равна сотне земных красавиц. Султан Ибрагим мечтательно открыл глаза и тотчас крепко зажмурился: пусть думают, что падишах почивает. Ох эти земные дела!

Ибрагим перебирал в памяти свои посулы. Вчера он при всем гареме объявил, что подарит десять платьев из самых драгоценных тканей туркменке Акгульче. Ну, кто тянул за язык? Десять пальцев. Хорошо, хоть десять... Любезной его сердцу черкешенке Айше он за одну ночь наобещал сто платьев! Первой жене валиде Турган-султан — за то, что дала слово не ссориться с третьей женой,— приказал выдать китайских шелков на драпировку огромнейших покоев. А семи-то польским панночкам? До того развезло перед русоволосыми красавицами, что распорядился доставить каждой по сундуку таких нарядов, каких в Польше они и не видывали.

Открой глаза — евнухи так и кинутся просить за своих пташек: пташки евнухам взятки дают. Нет, лучше уж не показывать вида, что проснулся. Однако и не проснуться нет уже никакой возможности.

— Проклятая война!— крикнул Ибрагим, кубарем скатываясь с постели.

Войну ему насоветовали. Послушал умника Жузефа-меченосца. За умный совет пожаловал Жузефа в капитан-паши, весь флот ему доверил. Нет, умников слушать — прибыли не жди. Жузеф втянул Турцию в войну с Мальтийским орденом, а потом и с Венецией. Война шла на море и на суше: за Крит, за Кипр, Мальту. Корабли сгорали в сражениях, корабли тонули,

застигнутые бурей. Убытки росли. А ведь матушка, мудрейшая Кёзем-султан, доставшая Ибрагима из смрадной тюремной ямы и посадившая на престол, говорила ему: не воюй с греками, у греков ничего нет, кроме баранов. Не воюй с Мальтой. Остров взять можно, но невозможно уничтожить орден. Его корни в Европе. Воевать надо с теми, у кого есть что взять. Мать — гречанка. Ибрагим закрыл уши и открыл их турку Жухефу... Теперь конца войне и не видно. Да и пусть бы себе воевали, но прекратился подвоз драгоценных тканей из Европы!

Недавно пришел корабль из Англии. Евнухи сераля как с цепи сорвались, сами полезли в трюмы и растащили тюки материи, ни куруша не заплатив купцам. Ладно бы, ради падишаха старались! По себе растащили. Купцы пожаловались послу сэру Бендиту, а сэр Бендит — великому визирю Мегмету. Великий визирь хоть и отказался разбирать склоку, но Ибрагиму о приключении доложил. Нет, не стоило просыпаться.

Едва убежище веры справил нужду, слуги принялись растирать драгоценнейшее тело. Умывать, одевать, поздравлять с пробуждением.

Сотворив намаз, Ибрагим пошел завтракать. Его огромный живот требовал пищи. Наголодавшись в тюремной яме, куда его заключил брат, падишах Мурад IV, Ибрагим навсегда разучился принимать пищу по-человечески. Перед ним выставляли сразу не менее сотни блюд, и он, словно еда могла в любой миг провалиться сквозь землю, хватал правой рукой с одного блюда, левой — с другого, а глазами пожирал третье. Наедался Ибрагим до изнеможения.

Так было и на этот раз. Отвалившись от еды, падишах задремал, но всесильная валиде Турган-султан, родившая наследника, напустила на венценосного мужа наложниц.

Титул валиде-султан в серале носили две женщины: мать наследника и мать царствующего падишаха Ибрагима, неувядающая Кёзем. Сколько было лет валиде Кёзем-султан, никто в серале точно не знал: при свечах ее можно было принять за женщину в расцвете сил, но зато все знали, сколько падишахов она пережила, кого посадила на престол, кого свергла. Жена Ахмеда I, она после смерти мужа в первый же год свалила слабоумного брата Ахмеда Мустафу и правила страной из-за спины своего старшего сына, Османа II. Осман возмужал, захотел самостоятельности, и восставшие янычары убили его. На троне снова оказался бедный Мустафа, но он и

года не усидел. Кёзем-султан свергла падишаха и утвердила на престоле второго сына, Мурада IV. Десять лет Кёзем-султан не знала заботы, но Мурад тоже, к несчастью, стал мужчиной. Это был великий государь. Он освободил Кёзем-султан от государственных забот и был отравлен.

Теперь на престоле третий сын валиде Кёзем-султан — Ибрагим. Были и еще дети, но их задушили по приказу Мурада IV. Перед смертью Мурад приказал прикончить и слабоумного Ибрагима, но Кёзем-султан спасла его и вручила ему знаки власти. Конечно, не для того, чтобы он управлял импечей, но Ибрагим до такой степени не обращал внимания на государственные дела, что Кёзем-султан опять была в хлопотах. Она одна понимала: третий ее сын кончит так же скверно, как старшие братья. Набеги наложниц совершались для того, чтобы встряхнуть отупевшего от еды Ибрагима. Сыну его, Магомету, только четыре года. Это прекрасно, но среди сильных мира сего брожение. Кёзем-султан знает: она ненавистна многим. Так пусть же ярость перейдет на голову царствующего сына. Нельзя допустить, чтобы Ибрагим умер сам, обожравшись. Тогда все пожалеют несчастного и осудят ее, Кёзем-султан: отчего недоглядела за ублюдком сыном.

Ибрагим сначала на свое розовое стадо телочек и глядеть не хотел. Да только перед действом жизни ни одному сну не устоять. Как алмазные копи засверкали глаза Акгульчи, не прошла — проструилась по залу черкешенка Айша, поглядели падишаху в душу страшные для турка синие глаза полек. От синих глаз амулеты носят.

Падишах Ибрагим позвал евнухов и приказал им, оттягивая пальцами обеих рук нижнюю губу, доставить тотчас лучшую часть разворованных английских тканей. Если кто и знал по-настоящему своего падишаха, так это евнухи. Оттянутая нижняя губа предвещала: головы могут полететь, как капуста.

Ткани объявились. Ибрагим захлопал в ладоши, сел в самом светлом углу покоев, между окнами, и приказал:

— Несите!

Принесли аршин и ножницы. Ибрагим ощупывал ткани, глядел на свет и, вполне счастливый, отмерял, надрезал и рвал куски.

— Акгульча! — выкрикивал он.

Вскакивал, обматывал материей красавицу и хлопал от радости в ладоши.

— Как в моем сне!

В разгар веселой этой затеи кизляр-агаси — начальник над евнухами — осмелился доложить, что в Тронной зале вот уже третий час его просветляющего души величества дожидается капитан-паша, прибывший с необычайно важным известием.

— Ну, что ему от меня нужно?— Ибрагим затопал ногами, швырнул тюк материи, дернул левой рукой за нижнюю губу.— Говори, что ему от меня нужно? Говори или... Где мои немые?

Личная охрана падишаха, состоящая из воинов с обрезанными языками, чтобы тайны сераля не улетали в мир, тотчас появилась в зале.

— О великомудрый среди мудрейших,— деревенеющим языком пролепетал кизляр-агаси.— Капитан-паша Жузеф прибыл сообщить тебе, убежище веры, замечательную новость. Капитан-паша Жузеф сломил сопротивление гяуров. Завоевал остров Кипр.

Падишах дернул головой, обмяк, спросил жалобно и капризно:

— У меня что, островов мало? Зачем вы все не бережете моей государственной радости?.. Да пошли вы все вон! А вы, мои синеглазые, летите ко мне! Летите! Я буду ловить вас. Нет, летите все! Все птицы — ко мне! Я хочу ласки. Скорее! Ласкайте меня, или я буду плакать.

Падишах утонул в розовом облаке, но тут сверкнула молния: в гарем явилась валиде Кёзем-султан.

— Жирная свинья,— прошептала матушка на ухо великому падишаху.— Если ты тотчас не почтишь вниманием великого полководца, который принес в твою корону бриллиант под именем «Кипр»...

Матушка не договорила, но Ибрагим вспомнил свою темницу, из которой даже нечистот не убирали.

— Я иду! Эй! Сюда! Слуги! Оденьте меня! В единый миг, или прикажу всех вас передушить!

2

Капитан-паша Жузеф был прирожденный полководец, но ему не повезло. Великое время великого Мурада IV минуло. На Турцию дохнули ветры невезения и неудач.

Войну в Средиземном море начал евнух, бывший кизляр-агаси сераля. Он купил на невольничьем рынке беременную красавицу. Красавица родила мальчика. Евнух почитал его за своего сына, красавица же полюби-

лась падишаху Ибрагиму. Эта привязанность была столь сильной, что валиде Турган-султан, мать наследника, встревожилась и однажды на прогулке в садах стала выговаривать Ибрагиму обиды. Падишах пришел в ярость, вырвал из рук Турган-султан крошку Магомета и бросил в фонтан. Он тотчас же кинулся за ним и спас, но скандал достиг ушей Кёзем-султан. Кизляр-агаси вместе с наложницей и ее сыном на семи галерах, увозя подарки Ибрагима и радующейся султанши, отплыл в Египет, в ссылку. В море на галеры напал флот мальтийских рыцарей. В бою кизляр-агаси был убит. Мальтийцы потеряли триста простых воинов, двенадцать рыцарей, но галеры захватили.

Наложница выдала своего ребенка за сына Ибрагима, и магистр ордена переправил младенца и его мать в Рим.

Захват мальтийскими рыцарями галер и убийство кизляр-агаси, любимца падишаха, были веским поводом для начала войны, и дворцовая протурецкая партия Жузефа не упустила случая.

Весной 1645 года 82 галеры, 20 линейных кораблей, 300 мелких судов с семью тысячами янычар, четырьмя тысячами тимариотов, пятьюдесятью тысячами прочего войска и тремя тысячами гребцов-невольников прошли мимо сераля в сторону Мраморного моря. Командовал флотом капитан-паша Жузеф. За Дарданеллами флоту был открыт приказ падишаха начать боевые действия против Венеции и Мальтийского ордена, но началась буря, мелкие корабли были прибиты к островам Микону и Тино. Венецианцы приняли турок как союзников, но турецкий флот полумесяцем встал у Крита, войска осадили Канею, посол Венеции в Истамбуле был арестован.

Летом янычары вторглись в Далмацию, но были разбиты венецианской армией. Началась затяжная морская война, с ловлей кораблей, с погонями по морям.

Разбухший от жира и водянки падишах Ибрагим умудрялся сидеть на троне бочком. В этом огромном бесформенном царском теле жил маленький, навсегда напуганный зверек. Зверек иной раз выглядывал из-под прекрасных шелковых ресниц на говорящего, и если говорящий был человеком тонким, то непременно сбивался: великий падишах пребывал в отчаянной тоске.

Капитан-паша Жузеф докладывал о победах. Пуще всего оберегая свое достоинство, он сухо изложил военную кампанию по захвату Кипра. Ибрагим слушал, по-

маргивая, слегка поворачивая голову то в одну сторону, то в другую, то взглядывая на потолок.

«На кого же он похож?» — никак не мог вспомнить Жузеф-паша.

Доклад закончился. Ибрагима поздравили с победой. Падишах, помаргивая и ворочая головой, молчал. Придворные тоже молчали, слова в их ролях кончились. К трону приблизился великий визирь Мегмет. Шепнул:

— Капитан-паша ждет, о величайший, твоего слова, твоей милостивейшей награды.

Ибрагим завертел головой поспешней, облизнул пересохшие губы.

— Капитан-паша, в награду за великую победу я хочу породниться с тобой. Я выдаю за тебя замуж мою младшую дочь.

Начались поклоны, прокатилась волна восхищенных шепотков, но даже искушенные царедворцы не в силах были погасить в глазах своих вопроса. Младшей дочери падишаха уже исполнилось четыре года — не о ней печаль: муж должен ее содержать и воспитывать до того, как придет в зрелый возраст. Всем памятна женитьба кетхуды-бея на старшей дочери Ибрагима. Кетхуды-бей сразу же после свадьбы был умерщвлен, ибо все богатства мужа дочери наследовал падишах. Если Ибрагим решил расправиться с Жузефом, то кто же будет вести войну? Ибрагимовы евнухи, передравшиеся за тюк материи? Кто будет побеждать врагов? В Турции все меньше и меньше воинов, рожденных побеждать. А может быть, это истинное возвышение капитан-паши? О аллах! Придворные кинулись поздравлять капитан-пашу, на их лицах приятность, они счастливы счастьем удостоенного величайшей почести, они подождут, чем эти почести обернутся. Они умеют ждать.

«Он похож на мартышку!» — догадался наконец капитан-паша и впервые за весь прием улыбнулся.

3

— Ночь прокрадывается на землю из черных вод Босфора, и если бы не твоя любовь, сотканная из тончайших лучей новорожденной луны, я утонул бы во тьме, от которой нет спасения.

— Ты — поэт!— воскликнула Туаджа.

— Я — моряк. На меня столько раз глядели жерла чужих пушек, что я научился радоваться каждому дарованному аллахом мгновению жизни. Эту чашу я пью за

тебя, Туаджа. Пусть вино вымоет из моей головы даже само слово «Порта», ибо за дверьми ныне — загон свиней.

Капитан-паша Жузеф выпил чашу и обнял красавицу Туаджу.

Они возлежали на плоской крыше уютного дворца капитан-паши и слушали, как плещут волны Босфора.

Не следуй трезвому уму!
Влюбленным трезвость ни к чему.
Коль сердце страсти лишено —
Подобно падали оно.
Вино — бальзам больным глазам,—

прочитала стихи Туаджа.

Пьянеют от вина, а я куда сильнее,
Любимая моя, от глаз твоих пьянею.
О сердце, не стенай! На собственном огне
Безмолвно жечь тебя куда приятней мне,—

ответил стихами того же Хосрова Жузеф-паша.

— Господин желает, чтоб я сыграла ему и спела?

— Нет, моя Туаджа, пусть музыкой нам будет трепет звезд.

Он лег, запрокинув голову, и она, его рабыня и его повелительница, легла рядом, коснувшись виском виска.

— Ты все понимаешь, моя удивительная Туаджа. Но зато я не понимаю, как мог жить вдали от тебя, не ведая о тебе.

Звезды вздрагивали от голоса, и Жузеф-паша замолчал.

«Вот оно — высшее наслаждение!— думал Жузеф-паша.— О берег бьет волна, сияют звезды, пахнет кипарисом, морем, любимой женщиной... Никакого насилия над миром. Полное слияние. Все беды от ума. Ум живет другой жизнью, чем небо, вода, земля. Ум разъединяет...»

В берег сильно плеснуло, потом еще.

«По Босфору идут корабли»,— подумал Жузеф и тотчас поднялся.

Да, по Босфору в сторону сераля шли чужеземные корабли, и на каждом корабле на мачте горел огонь: иностранцы требовали от падишаха правосудия.

Из-за холмов выкатилась огромная луна, и по черным силуэтам кораблей капитан-паша узнал английский корабль, французский, голландский, испанский...

— Стыд! Империю уличили в мелком воровстве. Не-

выносимо! Великая Турция во власти скопцов. Невыносимо!

Во внутренних покоях зазвенел колокольчик.

— О аллах! Кто-то осмелился разлучить меня с моей пери. О берегись, несчастный!

— Я знаю, ты никогда не обидишь несправедливо!— быстро прошептала Туаджа, прижимаясь к Жузефу.

— Ты не зря носишь свое имя,— засмеялся капитан-паша.— О праведница моя! Будь спокойна, я никому не причиню зла прихоти ради.

Праведница Туаджа, в честь которой получила имя наложница капитан-паши, была так бедна, что не могла купить четок. Отчаявшись, она набрала финиковых косточек, нанизала на нитку и в молитвах своих просила прощения у аллаха за бедность. Когда она умерла, четки — единственную собственность Туаджи — положили в ее могилу. И сухие косточки ожили, проросли, и не было в мире фиников слаще, чем те, что созревали на могиле Туаджи.

Ночным гостем Жузефа-паши оказался один из визирей — Азем Салих-паша. Привело его в столь позднее время неприятное сообщение, вырванное на пытке у пленного донского казака. Казак показал: на Дону в Черкасском городке приготовлено у донских атаманов три сотни стругов. Донские казаки собирают свое войско и ждут прихода Большого полка из самой Москвы. Воевать русские будут Крым, чтобы прогнать Гиреев, от которых всей русской земле много беды.

— Воистину недобрая весть!— воскликнул Жузеф-паша.— У меня нет ни одного свободного корабля. Венеция — морская держава. У Венеции сильный флот и прекрасные моряки. Война в самом разгаре. Нужно припугнуть русских послов, которые, как я слышал, недавно прибыли в Истамбул.

— Послам запрещено выходить со двора. Я с ними говорил очень строго, но у них одна старая песня: донские казаки царя не слушают, управы на них нет. Большой полк московский царь выставил не против падишаха Ибрагима, а против воровства крымского хана и тех же донских казаков, которые нападают на мирные селения.

Капитан-паша поглаживал правой рукой левую, покачивал сокрушенно головой.

— После взятия Кипра война на море станет еще более жестокой. Нам попытаются отомстить. Ничего другого не придумаешь. Надо ждать зимы. Зимой

я приведу мои корабли в Черное море и наведу порядок.

— У меня на дворе живет москаль. Он называет себя сыном царя Василия Шуйского. Обещает, если мы возвратим ему престол, отдать в вечное владение великому падишаху Казанское и Астраханское царства.

— Падишаху Мураду этот наглец пришелся бы по душе. Падишах Мурад думал о будущем империи. Москаль, дарующий царства, конечно, из черни?

— Русские послы говорят, что он слишком молод, чтобы быть сыном царя Василия.

— Как воин, я бы вздернул этого малого на самой высокой мачте, но я еще и капитан-паша. Мелкая продажная тварь может стать необходимой фигурой для большой игры.

— Я берегу этого человека. Он до приезда русских послов в моем доме жил. У него есть свой слуга, а я от себя дал ему в услужение еще двух рабов. Однако мне до поры не хочется ссоры с русским царем, и, угождая требованиям послов, а они требуют выдачи лженаследника престола, я отправил его с моего двора.

— Дорогой мой визирь, ты поступил мудро. Зимой, когда я приведу флот в Черное море, этот ничтожный человек может принести пользу великой империи. Если только замыслам не помешают скопцы.

Жузеф-паша криво и горько усмехнулся.

4

Истамбул! Есть города несравненные красотой, есть города несравненные древностью. Истамбул — город-котел, в котором варится ни с чем не сравнимое хлёбово жизни.

— Мне этот город опостылел!— закричал Тимошка Анкудинов, замахиваясь кулаком на каменную глыбу Ая-Софьи.

— Ты чего это, Тимоша? Пойдем отсюда! Не дай бог кто видел, как ты на ихнюю святыню кулаком махал. Пошли на берег, на воду поглядим. Или кофей пойдем пить... Зачем бога гневишь? Кормят нас по-прежнему, а что в новых палатах потолок ниже да ковров помене, так это можно пережить.

— Дурак же ты, Костя!— Анкудинов смачно плюнул на землю, растер плевок каблуком и, сцепив руки за спиной, пошел резать веселую истамбульскую толпу.

Товарищ его Костька Конюхов кинулся следом: Ти-

мошка в ярости слепнет. Попадись ему колодец на пути — провалится, повстречайся ему падишах — дороги падишаху не уступит.

Дошагали до золотых рядов. Анкудинов замер возле первой же лавки, загляделся на дивные морские раковины. Расцепил руки, потрогал пальцами виски, встряхнулся, словно из воды вышел.

— Гляди, Костя! Перед таким чудом день-деньской простоишь и не уморишься. Я, может, погляда ради хребтину жизни своей сломал... и не жалуюсь. И теперь не жалуюсь! Да отдай ты мне все золото здешних лавчонок, а его тут больше, чем во всем Московском царстве,— на раковину вот на эту, на голубую, со дна окияна, променяю, не задумаюсь. Ну, чего хихикаешь? Харя твоя бессовестная!

— А то хихикаю, что ожил, гляжу.

— Дурак ты, Костя!— задохнулся от нового приступа ярости Анкудинов, пошел на товарища медведем — обнял, поцеловал.— Дурак ты, Костя!

Нежно сказал, печально. И опять устремился куда-то. И Костька Конюхов поплелся за ним.

На берегу Босфора Анкудинов купил у рыбаков жареной рыбы, молча поделился с Конюховым.

Они сидели над водой, и на плечи им давила закутанная в тишину гора-кладбище.

— У нас теперь самые грибы!— сказал вдруг Анкудинов.— Хотел бы ты, Костя, чтоб вся жизнь заново, чтоб дома жить?

— Да что нам здесь, не сытно, что ли?— изумился Конюхов.— На двоих целый каменный дом отвели!

— Каменный дом у меня и в Вологде был.

— Да все уж не такой.

— Больше, Костя! Много больше! Ты смекни, за меня отдали единственную внучку епископа вологодского и великопермского: Нектарий сына в миру прижил, а у того сына всех детей — одна дочь. Береженый цветок. Думаешь, случайно мне цветочек этот в постель положили? Нет, Костя! У бояр и архиереев случайного в жизни не бывает. Верно, Нектарий меня любил, да, может, потому и любил, что открыто ему было имя царственного батюшки.

Анкудинов вперился в Конюхова лучезарными своими, полуденного блеска и синевы глазами. Глядя в эти ясные глаза да на это чистое лицо, всякому слову верилось. Лицо у Тимошки даже в самые хмурые дни было счастливым.

— Какой день сегодня, по-нашему-то?— спросил Тимошка, отламывая руками кусочки рыбы.

— Да ведь, пожалуй, Прокла — великие росы.

— Великие росы... — печально повторил Анкудинов.— Бывало, выйдешь из леса на луг, а он аж седой. А седина обманная. Солнцем ударит искоса, и весь луг — россыпь самоцветов. Каждая капля горит на свой лад... Когда мне голову отсекут, хочу, чтобы этот луг пригрезился в последний миг.

— Господи! Чегой-то ты говоришь-то?— испугался Конюхов.

— Говорю то, что будет. Ишь глаза выпучил! Авось не завтра. Да только на другое нам тоже надеяться нечего. Царевы послы за нами ведь пожаловали, а у визиря, сам знаешь, семь пятниц на неделе. Возьмет да и выдаст.

— А куда же мы побежим теперь?

— Закудыкал! Придет время бежать — бог надоумит.

— Уж лучше нам навеки тут осесть. Побасурманиться. Обрежут, конечно, но уж лучше пусть убавят снизу, чем сверху.

Анкудинов терпеть не мог, когда Костька вякал о том, о чем самому безотвязно думалось.

— Дурак ты, Костя,— сказал Анкудинов, не злясь и без шутейства.— Нас кормят и холят потому, что я туркам нужный. Раньше турки на одну силу полагались, но что было — минуло, не осталось в мире больше царств, которые можно в карман положить. Вот и нужны им людишки-паучишки. Да только по нынешним временам, когда у корыта власти безмозглая свинья, разве туркам о походе на Москву думать? Им теперь думать, как бы нахватанное не растерять, растрясло воз на ухабах-то... Однако ж на что-то надеются, коли держат нас.

— Погоди, Тимоша, ты больно умно говоришь. Не пойму. Смилуйся, не сердись. Ты хоть и говорил мне, что отец у тебя Демка, а только я не верю этому. Шуйский ты, истинных царских кровей, потому что умный.

— А ты дурак!— Анкудинов ударил двумя ногами в землю, вскочил.— Да вон у турок твоих Ибрагим — осел истинных царских кровей!.. А наш Мишка Романов чем больно удался? Всего умения было — на троне сидеть да глазами моргать... Ох, подлые! Разве вам втолкуешь — не кровью красен человек, не пеленками, а

тем, что ему от бога дадено. Ясной головой да дерзкими помыслами. Если меня простая баба родила, так я уже и не гож в Думе сидеть?

Лицо у Конюхова вдруг сморщилось, и он заревел, как несчастное дитя, всхлипывая, икая.

— Ты чего?— испугался Анкудинов.

— Не пойму тебя. Ик... Ик... Тебе скажи, что ты из царей,— бранишься, скажи, что их простых,— дерешься. Ик... Ик...

— Ну, не плачь, Костька! Ну, прости меня.— Анкудинов стал вытирать ладонями Костькины слезы.— Мне, думаешь, больно любо вот уж три года в жизнь, как в кости, играть? Конца этому не видно, и оставить игру никак уже нельзя. Вся моя радость теперешняя — сон про старую, про подлую мою жизнь поглядеть.

— Знаю, Тимоша, все знаю. Может, к Сулейману закатимся? Тяжело чего-то нынче.

— Эх, Костька! Пошли! Пошли, мать твою зеленую, по-русски наговорились всласть, пошли по-турецки молчать.

У Сулеймана можно было сыграть в нарды, выпить кофе, выкурить кальян, проглотить шарик опиума, послушать меддаха, но главное — здесь можно было купить вина.

У Сулеймана только на лбу волосы не росли да под глазами, из ушей — кудри. Этакое черное пугало, ну а как улыбнется — вся кофейня так и просияет в ответ.

— Урусы!— ударил ладонью о ладонь Сулейман.— Гости мои дорогие! А у меня для вас — э-э-э!

Сулейман головой от удовольствия закрутил, Тимошку и Костьку под руки подхватил, потянул за собой в дальний уголок, где возле тырка — столика без ножек — разложил ходули, не умея их скрестить, сидел боком, явно мучась, детинушка, москаль русопятый.

— Неси нам кувшин, да пузатенький!— воскликнул Тимошка, распахивая объятия русскому человеку.— Дозволь к сердцу тебя прижать.

Детинушка смущенно заулыбался, закряхтел, подбирая ноги под себя и спеша подняться.

Обнялись.

Они были одного роста, глаза пришлись в глаза, синее схлестнулось с синим, схлестнулось-таки — и ни грома, ни молнии. Коли небеса без туч, откуда же взяться гневу?

— Как зовут тебя?— спросил Тимошка.

— Простите меня, любезные, опешил! Не ждал, что

в Истамбуле русских людей встречу. Смешалось все в башке. Меня Андреем зовут. Андрей Лазорев.

— А меня зовут Тимофеем. Тимофей Анкудинов. Не слыхал про такого?

— Да вроде бы и слыхал, только, убей бог, не помню, с чем его едят.

Тимошка засмеялся, стукнул Лазорева в плечо.

— Это — Костька! Мой товарищ.

Лазорев обнялся и троекратно поцеловался с Костькой.

— Давайте сядем,— сказал Анкудинов,— турки глядят. Сядем да выпьем ради праздничка. Для нас тут каждый русский человек — праздник.

Тимошка и Костька ловко сели по-турецки, а Лазорев, постанывая, принялся укладывать возле стола свои негнущиеся длинные ноги.

— Люб Царьград али не люб?— спросил Конюхов, одновременно вскакивая, чтобы принять у Сулеймана кувшин вина.

— Чего мне его любить? Чай, не Москва!— удивился вопросу Лазорев.

— Эка!— покрутил головой Анкудинов.— Тебе что, на Москве свет клином сошелся? Да вся русская святость — отсель.

— Я разве спорю. Истамбул — диво дивное. Да только я за неделю уже досыта надивовался. Домой бы.

— По щам соскучился?— хихикнул Конюхов.

— Ей-богу, соскучился. Тут ведь у них сладости да запахи, а мне бы щец!

— Эх, заходили чарочки!— крикнул Анкудинов.

Выпили по первой. Слуга принес поднос с тарелями и чашечками, и в каждой какая-то неведомая Лазореву еда. Скоро уже было непонятно: то ли они вино заедают, то ли еду запивают. Лазорев добросовестно отведывал с каждой тарелки, из каждой чашечки: где кислило, где рот обжигало, а где и ничего. Анкудинов глядел на него смеющимися глазами.

— Узнаю матушку-Русь!— засмеялся, положил голову Лазореву на плечо.— Чего Шереметев передать мне велел? Велел небось уговоры уговаривать, чтоб возвернулись мы с Костькой в Москву, щец похлебать?

— Какой Шереметев?— Лазорев потянулся за кубком.

— Федор Иванович, вестимо.

— Федор Иванович, говоришь? Наитайнейший, что ли? Правитель? Его песенка спета. Теперь в Моск-

ве другие люди у дел, а над всеми Борис Иванович.

Глаза у Тимошки забегали. Отстранился от Лазорева. Спросил хрипло:

— Какой Борис Иванович?

— Чай, Морозов.

— Воспитатель царевича?

— Да ты хоть знаешь, кто ныне у нас на царстве?

— Царь Алексей.

— То-то! Царь Алексей Михайлович царствует, а правит Борис Иванович.

Анкудинов впал в задумчивость.

— Да вы кто будете-то?— спросил Лазорев.— Купцы или молиться ходили?

— Возьми еще кувшин. Нашу жизнь рассказывать без вина — горло обдерешь.— И опять вцепился глазами в глаза.— Ох какие они безгрешные у тебя!

— Глаза, что ли? Глаза не ответчики за душу.

— Борис Иванович-то что наказал?

— Велел грека ученого сыскивать для исправления божественных книг. Я вместе с посольством приехал, да у меня особая статья, живу у местных монахов. Мне и лучше. Посольских со двора не выпускают.

— Нашел монаха?

— Да в них, в греков-то, разве влезешь? Они все тут премудрые. А друг про друга такое говорят, хоть тотчас на костер... Слушайте, ребята! Да вы ж небось распознали уже здешних книжников! Может, кого присоветуете?

Тимошка, мрачнея, переглянулся с Костькой: уж больно прост москаль.

— Давай, парень, пить. Да и расскажи ты нам, что на Москве содеялось... без меня.

— А ты когда из Москвы ушел?— не замечая «без меня», спросил Лазорев, ухватил двумя пальцами креветку и крепко засомневался: то ли уж заглотнуть, то ли под столик кинуть.

— Когда мы, Костя, от супостата моего утекли?— Анкудинов не спускал глаз с Лазорева.— Ешь, не околеешь. Мы-то с Костькой едим... Когда, Костя?

— В сорок третьем годе.

— В сорок третьем?— Лазорев запрокинул голову, зажмурился, опустил в рот креветку и тотчас выплюнул.— Фу, мохнатая!

— Да какая же она мохнатая!— удивился Костька, показывая, как и что нужно есть в креветке.— Белое мясцо.

— Мясцо!— содрогнулся Лазорев.— У лягухи тоже мясцо белое.

— Ты про Москву расскажи,— напомнил Тимошка.

— Чего я расскажу? Я сам не московский. В Москве служить начал уже при новом царе. Для меня вся Москва — радость. Ну, перво-наперво — Кремль с башнями.

— Кремль с башнями. Ох, Костька! Ох!— закатился Тимошка, он устал быть бдительным и насмеялся до икоты.— Ну, а еще-то чего?

— Еще-то?— Лазорев сидел красный: с толку человека сбили.— Насмешил-то чем, не пойму.

Тимошка отер слезы, запил икоту вином.

— Прости, брат. Хмель смеется. Я тебе про Москву, а ты и говоришь — Кремль с башнями. Уж это вестимо. Раз Москва, то и Кремль. Про жизнь тебя спрашиваем. Хорош ли теперешний царь?

— Нам, служилым, до царя далеко. Голов зазря не рубит,— значит, хороший.

— Дошло до нас, недовольных теперь много в Москве.

— Соль непомерно вздорожала. Без соли сидят людишки — вот и кипит в них. Рыба протухает, в мясе черви. Капусты, грибов, огурцов — много ли насолишь, когда за пуд соли две гривны подавай. Стрельцу за два пуда почти год нужно служить.

— А куда царь глядит?

— Э! Не мое это дело. Мое дело монаха ученого в Москву привезти.

— Был бы ты в царях, Тимоша, неужели допустил бы такую дурость?— воскликнул Костька.

— Цыц!— пьяно мотнул головой Анкудинов и вскочил на ноги, расплылся в улыбке.— Салям алейкум, мастер Мехмед! Пожалуйте к нам, мастер Мехмед.

— Алейкум салям, урус!

Турок был на голову выше высокого Тимошки. Грузный, пузатый, и на огромном этом теле — горошина-головка.

— Сулейман!— позвал мастер Мехмед.— Принеси моего любимого. За все вино, выпитое урусами, деньги возьмешь с меня.

Мастер Мехмед сел на ковер.

— Этот русский приехал звать на службу московскому царю ученого богослова,— сказал Анкудинов Мехмеду и повернулся к Андрею:— О тебе говорю. Мастер Мехмед — кожевник, наш друг и друг вина.

— Скажи этому урусу,— попросил Мехмед Анкудинова,— я воевал с урусами в Азове, но мне по сердцу урусы. Я воевал с персами, брал Багдад, но войну в Азове ни с чем нельзя сравнить. Ты скажи этому урусу: я видел смерть много раз. Я не боюсь смерти, но мне будет горько, если урусы станут моими врагами. Я хочу, чтобы все вы, сколько вас ни есть, были мне друзьями, и моим детям, и моим внукам. Турки — великие храбрецы, но в Азове на меня поднял ружье маленький мальчик. У вас, если взрослые умерли, оружие поднимают дети,— урусов нельзя превратить в рабов.

— Он говорит,— перевел Анкудинов,— что воевал в Азове и в Багдаде. Персы — дрянь, а русские — молодцы. С русскими он не хочет воевать, с русскими он хочет дружить.

Выпили с Мехмедом.

— Много ли у него детей?— спросил Лазорев.

Мехмед расплылся в счастливой улыбке, поднял обе руки и загнул только два пальца.

— У него одна жена,— перевел Анкудинов.— Он может взять еще три жены, но никогда не возьмет, потому что любит только одну Элиф. Жена была с ним в хадже, по святым местам ходили. Мекка, Медина. Потому аллах ей всякий раз дает двойню... Спрашивает, сколько у тебя детей?

— У меня пока нет детей. Женился перед самым походом.

— Дорога далекая, приедешь домой — жена сыном встретит,— сказал Мехмед.

— Спасибо тебе, добрый человек!— Лазорев прижал обе руки к груди, поклонился Мехмеду.

В кофейню пришел меддах. Постелил коврик, попросил кофе, отпил глоточек и, раскачиваясь, повел россказни.

— Если масло горькое, то и пилав будет горький, если не у кого спросить, спроси у самого себя, если скажут, что на небе свадьба,— женщины попросят лестницу. Не бывает моря без волн, дверей без петель, девушек без любви. Было — не было, жил-был царь. Всем тот царь угодил, да только не было у него детей...

Анкудинов изредка переводил Лазореву на ухо несколько фраз, но переводил хитро.

Меддах рассказывал, как некий факир дал царю плоды инжира, и когда царь и царица съели эти плоды, то у них родился сын. Царь воспитывал его вместе с

сыном пастуха, который родился в тот же день, а потом отдал обоих мальчиков на воспитание пастуху. В сказке было много приключений. Царевичу наговорили на пастушонка, и тот пожелал съесть его сердце, но ему подали сердце козла. А потом названый брат помог царевичу заполучить красавицу, трижды спас от смерти, но сам обратился в камень.

Анкудинов, хмыкая, нес чепуху, но глаза у него глядели трезво.

— У царя не было детей, но факир посоветовал царю положить в постель осла, и царевич родился. Только был тот царевич истинный осел, и царь отправил его на воспитание к пастухам... А царевич влюбился в заморскую корову... Один дурак взялся ему помогать. Помочь помог, но превратился в коровью лепешку.

Лазорев морщился и наконец легонько сверху стукнул Анкудинова по плечу.

— Хватит дурость пороть... Я, пока в Крыму жили, ждали корабля, малость по-ихнему научился. Хоть всего не понимаю, но что ты меня дурачишь — понял.

Анкудинов засмеялся, встал, подошел к меддаху, который, закончив сказку, собирал деньги.

— Меддах, дозволь мне залить! Если мою сказку пожалуют подаянием, до последнего акче тебе отдам.

Меддах показал жестом на свой коврик: попробуй, мол.

— Костя!— крикнул Анкудинов по-русски.— Ты нашему другу слово в слово за мной переводи.

Анкудинов сел на коврик, заиграл глазами.

— Не в бороде честь — борода и у козла есть. Ох, не буди спящего льва, но кто не падал с лошади, тот лошадь не оседлает. Было — не было, но ведь было! А что было, того не изжить. Эх, пока жеребенок не подрос, за него не дадут цену взрослой лошади. Жил-был царевич, да только про то, что он царской крови, знал его приемный отец-бедняк да один мулла. Самозваный царь той страны искал своего соперника, посылал верных слуг с черным словом в душе, с ножом за пазухой. Не нашли царские слуги царского сына. А когда тот вырос, мулла взял его к себе, стал учить грамоте да уму-разуму. Чего другие за год познают, царский сын — за день. Стал он гораздо умен и учен, тогда мулла женил его на своей дочери и, отпуская от себя в столицу, открыл ему великую тайну. Приехал царский сын в столицу, а там его не ждут, все места кормовые заняты, и попал он в писари. Трудился, царапал пе-

рышком, стали повышать по службе, да только опостылела ему такая жизнь. Все опостылело! Даже собственная жена. Запер он ее в доме, дом зажег и убежал в соседнее царство. В соседнем царстве поверили, что он истинный природный царь, но вспомнили, что его отец воевал против ихнего короля,— неласковый был прием чужестранцу. И бежал он тогда в Молдавию, молдавский князь напугался и отправил его ко двору великого падишаха.

Глаза у Анкудинова светились ровным синим огнем, но вдруг замерли, словно под лед ушли. Замолчал Анкудинов. Посетители кофейни вежливо ждали продолжения рассказа.

— Нет, меддах! Куда мне против твоих сказок! Забыл конец.

Анкудинов засмеялся, встал с коврика, подошел к Лазореву.

— Да и нет конца у моей сказки.

— Потом вспомнишь,— утешил Анкудинова мастер Мехмед.— Давайте еще выпьем, и я пойду, заждалась меня Элиф.

Мастер Мехмед заплатил Сулейману за все выпитое вино и ушел.

— Вечереет,— сказал Лазорев.— Мне тоже пора.

— Нет, ты погоди!— Анкудинов, кривя рот, потянулся рукой к вороту Лазорева.

Лазорев отстранился.

— Я вспомнил,— сказал он.— О Тимошке Анкудинове говорили, что он побежал в Литву воровать? Ты и есть?

— Я и есть.

— Это про себя, что ли, ты сказку сказывал?

— Люблю догадливых. А в царях буду, всякому догадливому от меня награда будет. Поступай ко мне на службу, Андрюша. Ты веришь, что я природный русский царь?

— По таким, как ты, пушка плачет.

— Какая пушка?

— Обыкновенная, московская. Таких, как ты, надо в костер, а прах — в пушку, чтоб и дух развеялся.

Лазорев задвигал ногами, чтобы встать.

— Нет, ты погоди!

— Чего мне годить? За вино, чай, заплачено.

Лазорев встал и пошел на улицу, Тимошка кинулся за ним следом.

— Богом тебя прошу, погоди!

Лазорев остановился.

— Я думал, тебя подослали.— Анкудинов сдавил пальцами виски.— Не царский я выродок. Чего мне перед тобой, хорошим человеком, выламываться? Тимошка я, Демкин сын.

Они пошли рядом.

— Сломалась у меня жизнь — сам не заметил как. Смелости не хватило ответить за малую неправду, вот и накрыл ее неправдой большой, а большую пришлось в огне спалить... Ах, Андрюша, не горит в огне большая неправда. Вот я и впал в погибель.

— Покаялся бы.

— Ну что ты, мил человек!— Тимошка тихонько засмеялся.— Давай на горячий камушек сядем, на воду поглядим. Я как на воду погляжу, мне и легче. Эй, Костька! Ты смотри против друга моего не замышляй худого.

Лазорев оглянулся. Костька стоял у него за спиной, дрожал нехорошей дрожью.

— Кусты пойду поищу, перепил,— пролепетал Костька.

— Вот и пойди. А мы на воду поглядим. Вода течет, и жизнь течет. У воды дороги назад нету, и у меня дороги назад нету. Ты на меня, Андрюша, не серчай. Я — пуганая ворона, всего боюсь. За жизнь свою поганую боюсь. А начиналась моя жизнь не хуже, чем у других. Чего там! Удачлив я был очень. Ты сам посуди. Отец мой полотном торговал, скупал у крестьян и торговал. Мелкая была торговлишка, но отец у меня умный был человек. Разглядел, что сынок у него сметливый, к попу пристроил в учение. Грамоту я одолел быстро, а потом у меня голос оказался. Такие верха брал, что сам Нектарий приметил, архиепископ. Взял меня на службу, выдал за меня внучку... Я теперь-то желаю, бедную. Набелится, нарумянится, а все серая, как воробей. Да и была она — телушка яловая... У меня ведь сынок в Москве растет. Сережа. Со служанкой прижил. Я, брат, лихой наездник... Хочешь турчанку? Чего рдеешь? Двух турчанок? Говори честно, хочешь? Есть у меня друг — купец, мореплаватель, а жены его — все четыре — душа в душу живут. Пока муж на паруса таращится, они, чтоб тоску заглушить Прехорошенькие! Черноглазочки, кругленькие. Две тебе жены, две мне.

— Я человек венчанный.

— Эко! Да когда ты теперь ее облапишь, жену свою?

— Уж как бог пошлет.

— Плохо тебе, парень, в жизни придется!— Анкудинов вдруг стал лицом серый, виски обеими руками потрогал.— Слышь? Завидую тебе. Жизнь твоя — дрянь. Ты вполовину того, в четверть не будешь иметь, чего я уже имел невесть за какие заслуги. А вот ведь завидую! Себе на удивление... Не любил я свою жену. Сначала терпел. Ночью все кошки серые. А потом возненавидел. И она тоже хороша. Чувствует, что отдаляюсь,— попреками образумить удумала. Все, мол, мои возвышения, все состояние — через нее. Так я и сам знал это. Служил я в приказе Новой четверти, у дьяка Ивана Патрикеева под началом. Иван — тоже вологодский, человек архиепископа. Был я тогда как родник чист, вот как ты.— Анкудинов захихикал, да так препротивно, что и сам из серого белым стал.— Чего в лице меняешься? Я небось один в те поры в Москве взяток не брал. И велел мне Ванька Патрикеев собирать деньги с кружечных дворов. Большие деньги через мои руки шли. А тут немочка одна дорогу передо мной юбкой подмела. Без памяти в нее втрескался. Иноземки захотелось отведать. И отведал. Когда подарочек ей принес. А потом пошло. Пил, в кости играл. Столько, брат, государевых денежек пустил по ветру, аж теперь вспомню и головой покачаю... Пришло время проверки. А я, казны не пересчитывая, знал — погублена жизнь. В яму-то неохота или в Сибирь. Побежал к куму, к Ваське Шпилькину, он в нашем приказе того же чина был, что и я. Набрехал ему, будто приезжает наш первейший вологодский купец. Дай, говорю, жемчуговое ожерелье твоей жены, а то моей перед таким гостем и выйти стыдно. Дал он мне ожерелье, сережки золотые с изумрудами, два перстня: один с бирюзой, другой с алмазом. Взял я это все и продал. За большие деньги продал, а грешок свой все же не покрыл. Не хватило. Шпилькин подождал-подождал да и пришел назад свое просить, а я в глаза ему рассмеялся. Стыда я уже не ведал. В суд он меня потащил, а что суд, когда свидетелей у него не было, на честность мою, дурак, полагался. Тут жена меня принялась честить, пригрозила, что всю правду о моем беспутстве судье расскажет. Со зла ума хватило бы. Я в постель к ней в те поры уже с полгода не ложился. Вот и совершилось злодейство. Подсыпал я грозильщице сонного порошку в квасок, сынишку отнес Ваньке Пескову, приятелю моему. Он на Лубянке в Разбойном приказе служил. Вернулся от

Ваньки, собрал узел, дом запер и зажег. Мы с моей на Тверской жили, как раз возле шведского резидента. Слыхал потом — много домов погорело. Так я этого не хотел — на все ведь божий промысел. Пусть бог и отвечает. Пусть он и за мое безумство отвечает. Я двадцать пять лет, как грудное дитя, невинен был перед людьми, перед собой и перед ним, господом богом... Ты на небо не поглядывай, нет его там. Нет его, коли на такое человек способен. Али торопишься? Потерпи, скоро доскажу свою повесть. В другой раз такой сказки не дождешься. Плохо мне нынче... В Литву я удрал... Чтоб не выдали назад да чтоб приветили, объявил себя сыном царя Василия Шуйского. Я уже здоров был врать. Да только полякам поднадоели лжедетишки. В тюрьму меня определили. Побежал я к молдавскому князю. Его волком зовут, по-ихнему Лупу. Да только не из волчьей он породы — из лисьей. Ох черно-бурый! Подержал он меня, порасспрашивал — и сюда, к визирю. Живу, заботы никакой не ведаю. Дом дали, слуг, кормят с визирева стола. Денег дают.— Анкудинов вдруг улыбнулся.— Чего, брат, поступай ко мне на службу. Погуляем по белу свету, да так, как никто не гуливал. Ты, я гляжу, не дурак.

Закричали с минаретов муэдзины. Лазорев вздрогнул.

— Интересная жизнь! Как петухи, только что крыльями не хлопают.

Бросил камушек в воду, встал, потянулся, окидывая взглядом огромный город.

— Что же ты меня о Костьке ничего не спросишь?— зло крикнул Анкудинов.

Лазорев повернулся к нему, спокойный как само небо.

— Твоя жизнь вроде отхожего места. И у дружка у твоего небось не лучше.

Анкудинов опустил глаза, быстро вздохнул, в груди у него свистнула застарелая простуда.

— Пойду,— сказал Лазорев.— Прощай.

И пошел.

— Слышь, Андрюха!— шепотом позвал Анкудинов.— У тебя ничего нет... московского? Может, сухарик какой завалялся?

Лазорев остановился.

— Я погляжу...

— Приходи завтра к Сулейману.

— Больше я пить не буду. Сегодня так уж получилось, ради встречи.

— Не будем пить. Приходи с утра. Город тебе покажу.

— Может, и приду. Прощай покуда.

5

«Сухарик попросил,— сокрушенно вздыхал Лазорев, шагая через город к монастырю.— Нá тебе сухарик, а это тебе в бок... Злодея жизни лишить издали было ахти как просто. А злодей-то мучается, злодей — человек».

— Человек ведь!— сказал вслух и остановился.

Ужин Лазореву принесли в келию, но он ни к чему не притронулся, подождал, когда закроется за послушником дверь, и повалился на ложе, не снимая сапог. Голову словно на столб насадили, все в ней одеревенело, даже губы не слушались, веками пошевелить и то больно.

— Подсыпал какой-нибудь дряни этот Тимошка,— простонал Лазорев.— Дождется он у меня.

Его стало покачивать, и все сильней, сильней.

— Ничего, я терпеливый!— прошептал Лазорев.— Любаша, я все переперплю.

И вдруг заснул.

...А Тимошке Анкудинову не спалось той ночью. Только забудется — погоня. Сон отлетит — шорохи какие-то, тени. С ножом в руке лежал, ждал. Да с ножом спать худо, сам себя заколешь.

Измучившись, распорол Тимошка пуховик да и нырнул в перья.

6

Проснулся Лазорев — солнце по келье гуляет. Потрогал голову — не болит! Встал — земля под ногами твердая.

— Так-то!— сказал Лазорев с удовольствием.

И вспомнил Тимошку. Вспомнил — и радость как рукой сняло. Сел на постели, лицом к серой стене повернулся, поставил перед собой столбиком совесть.

«Без тебя не обойтись. Я в такую скверну, сестричка, по уши нырнул, что боюсь не вынырнуть».

Совесть, как цыпленок, синенькая, дрожит. Лазореву и поглядеть на нее стыдно, но ведь не в молчанку позвал играть.

«Будет Тимошка по городу меня сегодня водить,

дворцы басурманские показывать, чудеса всякие,— стал рассказывать Лазорев.— Их тут, чудес, много. Столбы каменные, столбы медные — талисманами зовут».

«А нож у тебя за пазухой, наготове»,— подсказала совесть.

«То-то и оно! За пазухой наготове. Будем мы пить вино хмельное за здравие. Он — за мое, я — за его».

«А нож у тебя за пазухой, наготове».

«Вот я и спрашиваю тебя, чем же я после этого лучше Тимошки? Такой же злодей? Да в тот же самый миг, как занесу над ним руку, его черные грехи отлетят от него!»

«И станет он чист перед богом, а люди его пожалеют»,— сказала совесть.

«Так ведь нельзя мне пощадить Тимошку. Боярин Борис Иванович не за тем меня за море посылал, чтоб вот с тобой калякать. Пощажу Тимошку — урон царскому престижу».

«Твой боярин до того исхитрился, что и не видит уже, где сидит. А сидит он не в приказе — в своей блевотине. Россия от веку правдой жила, правдой была сильна. Не боярскую блевотину, солдат, блюди, блюди правду русскую. За правду и помирать пойдешь — оглядываться не станешь».

«Сам ведь все знаю, а поговорил с тобою — полегчало»,— сказал и вздрогнул: в дверях архимандрит монастыря, грек Амфилохий.

— Я сегодня буду разговаривать с послом Кузовлевым, нужно ли что ему передать?

Лазорев встал, пятерней поскреб затылок.

— Скажи ему, с Тимошкой, мол, повстречался, да только при нем неотлучно слуга Костька Конюхов. Буду уговаривать их вернуться в Москву... Только все это нужно не Кузовлеву, а первому послу передать, Телепневу.

Архимандрит перекрестился на иконы.

— Прими, господи, душу раба твоего.

— Это чего же?— испугался Лазорев.

— Вчера в первый час ночи Телепнев преставился.

Лазорев вдруг заплакал. Телепнев человек был хоть и пожилой, но спесивый, с людьми разговаривал с посольского своего верха, а то и вовсе не удостаивал: послушает и отвернется... Затосковал душой Лазорев. Не потому, что все там будем, а уж так он ясно представил себе вдруг, как будет один лежать толстый Телепнев в чужой земле. О господи! И о Тимошке тотчас

подумал, и о себе... Со всяким ведь может приключиться... О господи! Как одиноко, как невозможно лежать русскому человеку в чужой земле.

— Поплачь, сын мой!— раздался голос архимандрита.— Слезы облегчают душу.— Возложил сухие легкие руки на голову Лазорева.— Перед смертью Телепнев велел тебе с Тимошкой не спешить.

Амфилохий ушел.

«И этот все знает,— сокрушенно покачал головой Лазорев.— А коли знает, давно бы управился тут».

— Да пропади он, Тимошка, пропадом!— взъярился Андрей.— Сам он себя казнил... Не пугайся, Любаша! Твой муж ножа за пазухой никогда раньше не носил и отныне носить не будет.

Достал нож с груди, положил за образа.

— После-то этой же рукой детишек своих по головам гладить! Не прогневайся, Борис Иванович. Ошибся ты во мне, да и сам я в себе ошибся... Взял да и поумнел себе же небось на беду.

7

Тимошка Анкудинов встретил Лазорева на монастырском православном кладбище. Все уже разошлись — кто на поминки в монастырь, кто на посольский двор под стражу.

— Вот он почему к Сулейману не пришел,— показал Анкудинов Костьке свежий крест.

— Родне никогда и не добраться досюда,— горестно прошептал Лазорев.

Тимошка удивленно хмыкнул.

— Нашел о чем думать!

— Ты-то вот тоже сюда приплелся.

— А я не к нему... Я за тобой. Услыхал, что посла хоронят. Думаю — вон почему Андрюха слово не держит. Чего на поминки не пошел?

— Не люблю я этого...

— И я не люблю!— признался Тимошка.— Пошли отсюда.

Звенел сверкающий металл: чеканщики чеканили узоры на высокогорлых бронзовых кувшинах, на оружии. Горели в глубине лавчонок горны, плыл дым.

— Какая улочка!— удивился Лазорев.— Куда мы идем?

— Да уже пришли.

Они втиснулись в каменную теснину боковой улочки. Лазореву плечи мешали, шел боком.

— Уж не к турчанкам ли ты меня ведешь?— спросил Лазорев, сбавляя шаг.

— Ишь какой любопытный!— хихикнул Костька Конюхов.

И тут Лазорева схватили сзади за плечи, дернули, ударили под колени, и он опрокинулся, покатился по каменным ступеням в темноту. Успел подумать: «Неужто Тимошка перехитрил меня?»

Очнулся — лампа горит. Подвал. Привязан к столбу, руки назад не заведены, но связаны. «А ведь я пощадил его, дурака»,— додумал свою мысль Лазорев и услышал голос Костьки Конюхова:

— Нет у него ножа. В кошельке не густо. Пять курушей, полгорсти пара. Сухарь какой-то.

— Сухарь?— прозвенел голос Тимошки.— Дай сюда.

Приблизился. В одной руке свеча, в другой сухарь.

— Москаль проклятый! На лапотную свою родину заманиваешь? Корочкой?— Засмеялся.

— Корочкой!— схватился за живот Костька.— Заманивает!

— Просчитался, москаль! Мне лапотная Русь не дорога, ибо я не русский. Моя родина на холодном море. Истинное мое имя Иоанн Синенсис.— Тимошка понюхал сухарь.— Я никогда не был на твоей родине, москаль! Это ее запах?— Попробовал сухарь на зуб.— Кисло и горько. Нет, я не хочу быть царем в стране, которая пахнет прокисшим.

Тимошка бросил сухарь на землю.

— Чего с ним делать-то будем?— спросил Костька.

— Сначала отпустим наших друзей. Расплатись с ними, Костька.

Мелькнули две фигуры, пробормотали что-то, ушли.

— Твоими расплатился,— сказал Тимошка Лазореву.— Ты не огорчайся. Тебе деньги уже не понадобятся. Да и какие это деньги?

— Сколько тебе заплатили за мою жизнь? Костька!— Подскочил Костька, огрел Лазорева плетью.— Бей, пока не сознается!— прохрипел Анкудинов. Костька полосовал справа и слева.— Довольно! Сколько тебе заплатили? Я хочу знать, какая цена моей голове у московского подкидыша? Молчишь?

Тимошка сунул свечу в бороду Лазореву.

— Ма-ма!— вскрикнул Лазорев.

Тимошка уронил свечу.

— Больно?— Кинулся ладонями студить обожженное место.— Костька, беги масла принеси. Беги!

Тимошка встал на колени перед Лазоревым.

— Прости меня!.. Меня таким сделали. Ко мне трижды убийц подсылали. В Литве. Я потому и бежал оттуда. Где сухарь?

Шарил по земле руками, нашел, обдул, откусил.

— Избой нашей пахнет. Господи! Хлебушек! Черненький! Драгоценный. Скусно-то как!

Тимошка спрятал сухарь на грудь, упал лицом на землю, заколотил ладонями около своей головы. Вскочил, подполз на коленях к Лазореву, поднял поочередно его сапоги и поцеловал подошвы.

— На этих сапогах частичка моей утерянной навеки земли. Лазорев, Андрюшка! Будь мне братом!— Вытянул из-за голенища тонкий нож, чиркнул себе по руке, схватил руку Лазорева, чиркнул по ней, соединил раны.— Вот! Теперь мы кровные братья. Теперь никуда не денешься. Кровные. Братик мой!

Лихорадочно разрезал путы. Принес глиняную корчагу.

— Пей!

Лазорев припал к корчаге. Это было виноградное кислое молодое вино. Оно утоляло жар.

Примчался Костька. Лазорева усадили на коврик, помазали ожоги.

— Пошли ко мне, брат мой!— Голос у Тимошки был полон дикого восторга.— Костька, этот человек — мой кровный брат. Ни один волос не должен пасть с его головы. Ну что ты молчишь, Андрюша? Пожалуй нас хоть одним словом.

— Жалко мне тебя, парень!

— Костька, братик жалеет меня. Пошли отсюда. Скорее! Здесь темно, здесь пахнет паленым. Костька, беги за носильщиками. Пусть нас отнесут в паланкине.

Лазорев оттолкнул припавшего к нему Тимошку, по крутой лесенке вышел в теснину проклятой улочки, выбрался на улицу ремесленников. Нырнул в толпу

На монастырском дворе его окружили чауши. Связали руки, больно стукнули между лопаток рукояткой ятагана, повели.

«От русской тюрьмы Бог избавил, а турецкой, видимо, не миновать»,— подумал Андрей и не ошибся: посадили его в земляную тюрьму.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1

Над Стамбулом прошли осенние дожди. Трава опять позеленела. Установилось ровное тепло. Пролетели перелетные птицы. Потемнело море Вернулись в покойные гавани боевые корабли.

Жизнь на зиму и у природы, и у людей тишала.

Падишах Ибрагим, много лет просидевший в земляной тюрьме, ненавидел холода Отменить зиму даже турецкому падишаху не по силам Но зиму можно в сердце не пустить.

Каждый новый день Ибрагим начинал теперь с беседы со старейшей своей наложницей. Ее имя было Кесбан.

После ссылки и гибели бывшего кизляр-агаси Кесбан стала доверенным человеком падишаха. Ибрагиму все казалось, что его обманывают, скрывают от него красавиц, и тогда он начал действовать по своему разумению.

Даровал Кесбан право свободного выхода из сераля и поручил ей тонкое и наитайнейшее дело — высматривать в банях красавиц.

— О великий падишах!— докладывала старая наложница об очередном своем походе по баням.— Ты можешь смело озолотить свою верную Кесбан.

— Нашла?!— Ибрагим всплеснул ручками, колыхнулся и замер, глядя Кесбан в рот.

— Нашла, величайший из величайших!

— Какова же она?— прошептал Ибрагим, ловя пальцами поползшую с краешка губ слюнку.

— Она прекрасна!

- О-о!— простонал Ибрагим.

— Волосы у нее по щиколотку, цвета спелых плодов каштана. Груди у нее...

— Подожди!— прошептал Ибрагим, закрывая глаза.— Волосы у нее по щиколотку! Цвета спелых плодов каштана.

— Да, мой изумительнейший падишах! Цвета каштана, по щиколотку. Груди у нее тугие, как нераспустившиеся бутоны белой розы, а каждый сосок — пламенеющая почка, из которой рождается солнце.

— Подожди!— воскликнул падишах, покрываясь пóтом.— Каждый сосок — как пламенеющая почка... Аллах! Я могу быть счастливейшим из смертных.

— О великомудрый! То ли тебя ожидает впереди. У нее родинка!

— Родинка? Где же?

— О падишах!

— У меня кружится голова.— И падишах Ибрагим лишился чувств.

Когда он пришел в себя, перед ним стояла валиде Кёзем-султан.

— А где Кесбан?— спросил Ибрагим.

— Сын мой, до нашего слуха дошло — донские казаки около Синопа ограбили и сожгли несколько селений.

— Матушка, сжалься надо мной: я смертельно болен. Любовью. У нее родинка!.. Прикажите позвать Кесбан. Кесбан не сказала мне, где у моей возлюбленной родинка.

— Великий падишах! — Кёзем-султан улыбалась сочувственно.— Я понимаю, сколь это важно для судеб вселенной — доискаться, где родинка. Ибо покой падишаха — покой в подлунной, но, драгоценный мой сын, почему же империей не управляют твои визири? В каких снах пребывает Азем Салих-паша? Это ведь его дело — заботиться о мире на Черном море

— Эй, слуги! Позвать ко мне визиря Азем Салих-пашу!

— Убежище веры, я уже посылала за визирем. Он ждет твоих приказаний.

2

— В следующий раз после подобного известия ты уже не выйдешь из сераля!— Ибрагим затопал ногами на Азем Салих-пашу.— Донские казаки — зло, от которого мы желаем избавить нашу империю.

— Великий падишах!— Визирь пал в ноги рассерженному повелителю.— Я заклинал аллахом капитан-пашу Жузефа, чтобы он послал корабли на Черное море, но капитан-паша ждал зимы. Зима пришла, но обещание не исполнено. Как, скажите мне, защитить Синоп и другие города побережья, не имея на Черном море кораблей?

— Я не знаю как, но если ко мне будут приставать с жалобами, я успокою жалобщиков, приказавши задушить нерадивого визиря. Убирайся!

В тот же день Азем Салих-паша брызгал слюной и топал ногами на молчаливых русских переводчиков. Ви-

зирь позвал к себе на расправу Кузовлева, но тот сказался больным.

— Если только донские казаки еще раз выйдут в Черное море, ни вам, ни послу живым не быть!— кричал визирь.— С меня за казачьи шалости голову снимут, но перед смертью, будьте уверены, я посла вашего и вас на рожнах изжарю. Нам с послом вместе нужно думать, как избежать беды. Пусть посылает гонца на Дон, я этому гонцу дам охрану до Азова-города.

Через два дня Кузовлев прислал визирю письмо: посылать ему гонцов на Дон непригоже, спрашивать с посла за казачье воровство нечего, падишаху ведомо, что казакам на Черное море московским царем ходить заказано. Да только казаки — воры-изменники, никого не слушают и не боятся. С послами же ни в каких государствах бесчестья не бывает, и в Царьграде никогда того не бывало, что теперь делается: держат взаперти, корму не дают, грозят и к государю назад не отпускают

Азем Салих-паша на длинное письмо ответил кратко: «Только появятся казаки на море, сожгу в пепел. Если хочешь быть жив, посылай гонцов».

3

Повадились к Лазореву матушка с Любашей во сне приходить. Стал он их увещевать:

— Ну, что вы слезы по мне проливаете? Чай, не помер! Вины за мной нет никакой. Для острастки посадили... А ежели заждались, так и тут ничего не поделаешь. Человек я служилый. По секрету сказать, мне это даже на руку, что в тюрьме сижу... Помолиться за меня, конечно, помолитесь, но сердце попусту надрывать ни к чему.

— Горюшко ты наше!— всплеснула руками мать, а Любаша согласилась со словами мужа и увела матушку.

Лазореву в те дни худо было. На дворе захолодало, дожди, земля сыростью напиталась, пошли по всему телу у Андрея чирьи: ни сесть, ни лечь.

Тут и объявился в один прекрасный день Тимошка.

— Обыскался,— говорит,— тебя, братик. Ну, теперь еще немного потерпи. Не будь я Шуйский — вытяну тебя отсюда.

Голос, конечно, Тимошкин, а самого не узнать. Стоят над решеткой два важных турка. Что-то сказали стражнику, тот решетку отомкнул, отодвинул. Лазорев

во все глаза глядит: один турок в серебре, другой в золоте. У того, кто побогаче, Тимошкин голос.

— Сейчас я тебя, братик, подкормлю.

Опустили в яму бронзовый поднос, с дымящейся чашечкой кофе, с пловом, с другой вкусной едой.

Тимошка стоит над ямой, руки на животе сложил, хоть живота и не нажил — гончей породы дядя. Что-то смешное сказал; серебряный турок рассыпался, как пшено по столу, а Тимошка глянул в яму и, скалясь, цыкнул:

— Ешь, пока я здесь Уйду — отберут. Что ты, не знаешь их!

Лазорев сначала и впрямь себя хотел показать, а тут смекнул: прав Тимошка. Глотнул кофе в один глоток — заиграла кровь.

— Кувшинчик не пропусти,— подсказывает Тимошка, а сам с турками гогочет, и Лазорев понимает — для него старается.

В кувшинчике оказалось вино. Выпил Андрей, плова поел. Тут Тимошка стал прощаться с турками, горсть монеток стражнику высыпал в ладони, да так, чтоб и сиделец видел.

«Такого прибил бы!— подумал Андрей, глядя на сафьяновые Тимошкины сапоги.— Для меня старается, но прибил бы его, о совести не помня».

Вечером того же дня Тимошка стоял перед дворцом визиря Азем Салих-паши с зажженной лампадкой на голове — требовал справедливого суда. Визирю о Тимошке доложили, но он не торопился принять «московского истинного царя».

Дела визиря были плохи. Поймать и потопить флот венецианцев капитан-паше Жузефу не удалось, а вот венецианцы и бури потрепали корабли Жузефа изрядно, болезни выкосили половину гребцов. Капитан-паша привел флот в Босфор не для того, чтобы тотчас идти в Черное море ловить донских и запорожских казаков, а чтобы передохнуть, залатать пробоины, поменять разбитые пушки.

Падишах Ибрагим о передышке и слышать не желал. Он отдал приказ закончить войну на Крите. Для этого нужно было перевезти на остров свежие войска и продовольствие.

План военной кампании принадлежал великому визирю Мегмету и евнухам сераля. Сераль мечтал о наря-

дах, великому визирю нужно было отослать из Истамбула янычар. Казна была пуста, войскам не платили, назревал бунт.

Капитан-паша воспротивился приказу Ибрагима.

— Только заклятый враг империи и падишаха мог предложить подобный план,— заявил Жузеф.— Наступила зима. На море гарцуют ураганы. Посылать в бурное море корабли с войсками — рисковать благополучием государства. Потерять флот можно за день, чтобы построить его — нужны годы.

В серале закрутилась юла интриги. Азем Салих-паша был на стороне капитан-паши и, значит, в противниках великого визиря Мегмета и евнухов, но не это пугало Азем Салих-пашу. Он не знал какую сторону приняла Кёзем-султан.

— Ну что он торчит перед всем Истамбулом?— закричал визирь на своих слуг.— Приведите этого русского мошенника.

Тимошку привели.

— О чем ты просишь?— спросил Азем Салих-паша, не поднимаясь с ковра.

Тимошка тотчас сел.

— Мне, московскому царю, негоже стоять перед слугой падишаха.

— Я мог бы приказать, чтоб тебя выкинули из моего дома,— усмехнулся визирь,— но, видит аллах, мне нужно поберечь силы... О чем ты просишь?

— Моего человека, Андрейку Лазорева, тайно бросили в тюрьму и держат безо всякой вины.

— Давно ли лазутчик московского царя стал твоим человеком?

— Он не лазутчик. Я пытал его огнем и, испытав, принял к себе на службу.

— Русский посол не хочет отправить гонца к донским казакам, потому я держу посла в строгости, не выпуская русских со двора, но они знают все, что делается в Истамбуле. Вот и обрубил я веревочку.

— Та ли веревочка?

— Говори, что тебе известно. Может быть, я и передумаю.

— Уши русских — архимандрит Амфилохий. Один монах, которого я ублажаю женщинами, передал мне, что вчера во время службы, улучив минуту, посол Кузовлев спрашивал у Амфилохия: не дать ли ему взятку тебе, чтобы ты выдал меня головой. Амфилохий же не посоветовал давать тебе. «Люди в Истамбуле не одно-

словны,— сказал он,— возьмут много, но ничего не сделают».

Визирь прикрыл глаза веками.

— Я отпущу твоего москаля. А тебе мой совет: принимай ислам, если хочешь остаться на свободе. Ты давно бы уже сидел в замке, если бы не мое заступничество. У царя Василия Шуйского не было детей.

— Были! Вот он я!— крикнул Тимошка.

Визирь засмеялся.

— Поглядись в зеркало. Тебе нет и тридцати, а самому младшему Шуйскому было бы теперь пятьдесят.

— Я внук! Я не говорил, что я сын. Я внук!— Тимошка схватился за голову, сжал ее, словно хотел раздавить.

— Ступай, мошенник, думай, о чем я тебе сказал.

От стен отделились люди, и Тимошка не стал дожидаться, когда его выкинут из дверей дворца.

В ту же ночь вместе с Конюховым он бежал, помышляя добраться до Молдавии.

4

Капитан-паша Жузеф получил от падишаха Ибрагима грамоту, на которой были слова: «Послушайся или умри».

Грамоту привез визирь Азем Салих-паша.

— Твоя драгоценная жизнь нужна империи,— начал уговоры Азем Салих-паша.— Я был твой сторонник, но нынче правят евнухи. Нужно перетерпеть. Как только у писаря не отсохла рука, когда он выводил эти ужасные слова: «Послушайся или умри»...

— Предпочитаю последнее. Так и передай падишаху Ибрагиму, драгоценнейший мой Азем Салих-паша. Капитан-паша Жузеф не желает понапрасну погубить в бурном море силу империи — лучшие корабли и отборные тысячи верных подданных падишаха.

— Неужели это твое последнее слово, отважный Жузеф?

— Так и передай. Предпочитаю последнее.

Дворцы великих стоят неподалеку от дворца падишаха.

В тот же час великий визирь Мегмет дрожащей рукой подписал приказ удавить капитан-пашу.

Великий визирь настаивал на посылке войск на Крит, но он не желал смерти лучшему полководцу им-

перии. Он сам поехал уговаривать Жузефа покориться воле падишаха.

Капитан-паша выслушал речи великого визиря и ответил твердо и торжественно:

— Я рожден мусульманином, есмь подданный падишаха Ибрагима и потому умру с радостью, оплакивая несчастный жребий осужденных состариваться под таким государем, ибо неизбежно принуждены будут самовидствовать неистовства его и потрясения империи.

Попросил разрешения попрощаться с близкими, пошел к своей Туадже, у которой должен был родиться ребенок. Подарил ей семьдесят пять тысяч французских ливров — все, что у него было в наличности, легко и весело беседовал с ней, выпил кофе, поцеловал ее, прощаясь, в глаза.

Потом он вернулся в большую залу, снял с чалмы алмаз и вручил его великому визирю в знак непримиримости и неподчинения верховной власти.

— Мегмет-паша, передай этот алмаз Ибрагиму.— Громко ударил в ладоши.— Палачи, займитесь вашим делом.

5

Солнце светило, словно бы прищурившись. Тепло было легкое, зеленела трава. С холмов, долин посверкивало — дожди угомонились всего за день до отъезда.

«Вот ведь какая благополучная земля!» — думал Андрей Лазорев, покачиваясь в удобном турецком седле.

Ученый монах с пятью мешками ученых книг маялся в арбе.

«У нас-то теперь уж, чай, завернуло,— улыбался Лазорев, думая о московской земле.— Бело теперь, вечерами сине».

И тут встало перед ним лицо Любаши, жены его. Чудное дело! Землю увидел белую, елки белые, а Любаша будто в сарафане.

«Господи! Да ведь я Любашу в шубке-то и не видел!» И решил: «Прежде чем в Москву показаться, домой заеду. По дороге, чай».

Щемило-таки сердце — не выполнил тайного наказа Бориса Ивановича. Отговориться можно: в тюрьме сидел, а потом злыдень убежал, но будет ли слушать отговорки боярин всемогущий...

— Авось!— сказал вслух Лазорев и стал глядеть на дорогу.

По дороге навстречу двигался конный отряд.

Оно хоть грамоты все в порядке, а тревожно. Чтоб турки не придрались, Лазорев велел арбе встать на обочине и сам спешился — гяур в Турции не должен быть выше правоверного мусульманина.

Отряд охранял такую же, как у Лазорева, арбу.

Андрей сам не знал, отчего сжало сердце; навострил глаза и разглядел в арбе двух людей. Предчувствие превратилось в уверенность. Нет, не ошибся Андрей — везли Тимошку и Костьку.

Тимошка увидал Лазорева и несколько раз прикрыл глаза веками: мол, вижу, но не хочу впутывать тебя в свою историю. Костька сидел спиной, не увидал Лазорева.

Отряд медленно поднимался на холм.

— Поехали!— распорядился Андрей.— Поехали-поехали! Дорога кружная, через Молдавию. Когда дома будем, одному господу известно.

6

Визирь Азем Салих-паша разглядывал алмаз на своем перстне. Сколько света вмещается в этой прозрачной капле! Азем Салих-паша открыл ларец с драгоценностями; все это сверкающее чудо можно выменять на жизнь, на свою собственную жизнь. Отнести Кёзем-султан и упросить ее заступиться перед падишахом — донские казаки гуляли под Трапезундом. Но в голове стояла сверкающая надпись, каждая буква будто бы алмазами выложена: «Несчастный жребий состариваться под таким государем».

«Неужто он осмелится исполнить свою угрозу?»

Усмехнулся: «он» осмелился уничтожить единственного толкового полководца.

Бесшумно вошел, стал на колени и поклонился слуга.

— Привели беглецов урусов.

Азем Салих-паша засмеялся вдруг, захлопнул ларец с драгоценностями.

— Пусть введут.

Их ввели обоих, Тимошку и Костьку.

— Салам алейкум, мошенник! Что же это ты оговорил доброго человека Лазорева? Будто бы поступил на твою службу. Я, отпуская его в Московию, сам с ним разговаривал. Это верный своему царю слуга.

— Я не говорил, что Лазорев у меня служит,— я говорил, что взял его себе на службу.

— Как же это взял, когда он служит царю Алексею?

— Тот царь Алексей, а я царь Тимофей. Я волен брать на свою службу кого только пожелаю. Когда приду в Москву, Лазорев будет у меня боярином.

— Хорошо тебе живется, мошенник. А ты знаешь, я очень рад, что тебя поймали, не сегодня завтра меня позовут к падишаху Ибрагиму — казаки гуляют по Черному морю. Выйду ли я из сераля сам или вынесут, аллаху известно. Ты мне нравишься, мошенник, но твоя беда в том, что мне пора позаботиться о своем спасении. Скажу тебе правду: я позвал Кузовлева, он с часу на час будет здесь, но знаю — не много от него добьюсь, а если не добьюсь, предложу тебя в обмен на гонца, которого русский посол отправит на Дон.

Тимошка улыбался, слушая визиря, но лицо у него стало белым как стена.

Появился слуга, приблизился к визирю, прошептал что-то на ухо. Азем Салих-паша весело рассмеялся.

— Посол пожаловал!

— О господин мой!— воскликнул Тимошка, падая на колени.— Я готов принять ислам. Позови муллу, я готов тотчас принять ислам.

— И я!— крикнул из-за Тимошкиной спины Костька.

Визирь печальными глазами разглядывал что-то на потолке.

— За кем правда в этой жизни? Один ради пользы государственной принимает смерть, другой ради своей жизни готов принести неисчислимые беды всему своему народу... Что ты мне на это скажешь, урус?

— Я не урус. Я швед. Я — Синенсис. Позови муллу. Я тотчас приму ислам.

— Все русские, каких я встречал, кроме тебя и твоего слуги, служат своим царям жизнью и готовы самой смертью послужить. Ты и впрямь не русский.

Визирь ударил в ладоши. Приказал слуге:

— Позовите муллу!

Нужные молитвы были прочитаны, чалма водружена. Обряд обрезания, по занятости визиря, отложили на следующий день.

— Ступай в дом, в котором ты жил до побега,— приказал визирь.— Жди решения своей судьбы, готовься к завтрашнему празднику обрезания.

7

Назавтра праздника не было. Азем Салих-пашу позвали утром в сераль и удавили. Тимошка и Костька разжились греческим платьем и в тот же день бежали на Афон.

Их поймали, обрезали, заковали в цепи и посадили в замок.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1

После обеда Алексей Михайлович ездил в санках иней глядеть. До того удался, что и Москве в диковинку.

Всё в кружеве: деревья, терема, бороды, лошади, собаки.

В воздухе тишина. Деревья клубами легкими, пышными, иней посверкивает звездами, огонь в них синий, до самого сердца красотой пронзает.

Воротился государь во дворец довольный, румяный. Лошади тоже от инея закучерявились.

— Попоной закрой!— сказал Алексей Михайлович кучеру и пошел себе на крыльцо.

До последней ступеньки не дошел, засмеялись за спиной. Государь оглянулся: кучер что-то потешное говорил стрельцу. Кровь так и ударила в голову.

— Я повелел попону нести!— Государь сбежал с крыльца, ткнул кулаком кучера куда-то в бороду.— Высечь! Высечь!

Поднялся к себе уже без радости. Все в нем кипело: взяли моду царя не слушать.

В сенях перед его покоями истопник Фрол, стоя на коленях, накладывал в печь березовые дрова. Увидав государя, поклонился и снова принялся за дело. Дрова были круглые.

— Отчего неколотыми топишь?— спросил государь Фрола.

— Чего их рубить?— ответил истопник.— Сгорят.

— Лень-матушка!— снова обиделся Алексей Михайлович на слуг.— Эти убери, принеси колотых.

И ушел в свою комнату, а дверь, впрочем, не затворил до конца.

Снял шубу и шапку, подкрался к двери.

Фрол стоял перед печью, раздумывая, как ему быть.

И снова неодолимая ярость накатила на Алексея Михайловича, выскочил в сени, схватил полено.

— Я сказал — убрать!

В сени на крик царя ворвалась стража.

— Убрать!— махал поленом царь на Фрола.— Плетей ему и вон! Из дворца вон!

— За что?— кричал Фрол под плетьми.— За что?

Палачи не знали, за что даны Фролу плети. И никто не знал. Да хоть и не за что. Так велено.

Словно в отместку царю, погода вдруг сразу испортилась. Ветер подул, повалил снег.

— Согрешил,— покаялся сам перед собою Алексей Михайлович.— Пойти тюремным сидельцам милостыню раздать, все на душе легче станет.

2

Крутила зимушка. Снег летел снизу вверх.

— О господи! Тащиха какая!— простонал Васька Босой, прикрывая лицо варежкой.

Лицо прикрывал, а ноги и впрямь босые.

— Васенька, может, вернулся бы!— спохватился Алексей Михайлович.— Я ж тебя богом молил обуться.

— Государь! Светик!— Васька запрыгал на снегу, вскидывая пятки чуть не к голове.— Мои ножки не жалуются. А вот попадет снег взашей — брр!— словно бы собаку, всего так и встряхивает. Нет, я не захолодаю! Ножки мои по снегу-то заскучали уже. Отгадай, государюшко, загадку: «Наш порхан по всем торгам порхал, кафтан без пол, сапоги без носков».

— Больно легкие загадки государю загадываешь!— оглянулся назад шедший впереди кравчий государя Семен Лукьянович Стрешнев.

Стрешневы опять пошли в гору. Василий Иванович, привезший из Варшавы подтверждение мирного договора и признание титулов московского царя, был зван государем отобедать на Верх, награжден землями.

Вот и теперь на тайное государево дело приглашен не кто-нибудь — Стрешнев: Алексей Михайлович шел раздать милостыню тюремным сидельцам.

В московском тюремном дворе было восемь изб: опальная, барышкина, заводная, холопья, сибирка, разбойная, татарка и женская. Каждая изба за высоким тыном, в каждой свои порядки.

Были и другие тюрьмы: каменные, в монастырях и крепостных башнях, земляные, при Разбойном, Земском, Стрелецком приказах, при костромской чети. Была особая бражная тюрьма. Те, что попадали сюда по второму разу, сидели подолгу и обязательно получали кнута.

— В какую, государь, пойдем?— спросил Семен Лукьянович.

— Так чего ж в какую?— удивился Васька Босой.— Сегодня святая Катерина. В женскую пойдем.

Возле тына женской тюрьмы не было ни души. Стрешнев постучался в дверь притюремка. В ответ покошачьи всплакнула вьюга. Снег уже летел и снизу вверх и сверху вниз, да с каждым мгновением все резвей. И вдруг небо обвалилось — белая стена встала между землей и небом.

Семен Лукьянович в сердцах заколотил в дверь посошком. И за дверьми что-то наконец заворочалось, зыкнул дурной спросонья голос задвижки, и засовы засипели, заскрежетали, да с такой поспешностью, что Семен Лукьянович отступил от дверей, опасливо прикрывая царя: этак со сна, осердясь, саданут по башке...

— Какого лешего?— Дверь приоткрылась, и мимо ойкнувшего Семена Лукьяновича просвистело здоровенное полено.

— Государь-царь, державный свет!— задохнулся от гнева и ужаса Семен Лукьянович: вон как тайно-то ходить! Пошли бы со стрельцами, а то одни.

Дверь заскрипела, распахиваясь шире, и в черном проеме показался огонь и огромное, на полдвери, лицо.

— Батюшка государь! Ахти мне, бабе глупой! А снег-то какой!

В притюремнике горела печь. Стряхивая снег с одежды и с обуви, все трое вошли в башенку. Тюремная баба смиренно опустилась на колени.

— Смилуйся, государь-батюшка! Одна на карауле, стрельцы по домам, видно, разбрелись.

Баба была огромная — плечами, животом, лицом.

— Четвертовать тебя мало!— тоненько, как жеребенок, закричал Семен Лукьянович.

— Виновата!— простонала сторожиха.— Ведь лезут, как мухи на мед! Из начальства иной раз лезут. Сиделки-то у нас... всякие.

Алексей Михайлович вспыхнул и, чтоб не заметили его краски, сильно потер ладонями щеки, словно бы от мороза.

— Не шуми, Семен Лукьянович,— попросил кравчего.— Она ведь не знала, что мы идем с милостыней.

— Вестимо, не знала!— возрадовалась баба.

— Я милостыню пришел раздать,— объяснил тюремщице государь.— Сегодня день святых мучениц Екатерины, Василисы и преподобной Мастридии-девицы.

— Отец наш родной, о всех помнишь! Пошли господи тебе, царь-государь, жену хорошую, деток здоровеньких.

— Болтлива ты больно. Показывай сиделок!— стукнул посошком об пол Семен Лукьянович.

— Дверь-то запру!— сказала баба, вздымаясь с колен и запирая задвижки на двери.— Сиделок-то будить?

— Не надо,— переходя на шепот, сказал Алексей Михайлович.— И смотри не говори никому, что я приходил.

— Да это я знаю. Милостыня господу угодней, когда втайне подана.

В огромной комнате на топчанах спали женщины. Царь бесшумно шел между топчанами и на каждый занятый клал по два-три алтына.

— Иди сюда, милок!— Пухлая рука потянулась к Алексею Михайловичу.— Погрею.

— Ужо я тебе, Агашка!— страшным шепотом проскрежетала тюремная баба, и Алексей Михайлович со стучащим в висках сердцем просыпал денежки на пол, дошел-таки до последнего топчана и прилетел к дверям, где его ждали.

— Сатанинское племя!— фыркнул Василий Босой, встряхивая своими цепями.

— Всех, что ли, оделили?— спросил нетерпеливо Семен Лукьянович у бабы.

— Есть тут у нас еще одна... Ключ я только позабыла взять. Она у нас на запоре. Сходить мне за ключом?

— Ни к чему, нам возвращаться пора!

— Семен Лукьянович, миленький, потерпи!— попросил Алексей Михайлович.

— Так я пойду тогда, за ключом-то,— решила баба.

— Мы подождем тебя,— часто закивал головой государь.

Их встретили огромные вспугнутые глаза.

Свет факела в руках бабы-тюремщицы высветил прекрасные обнаженные плечи, распущенные светлые блестящие волосы, тугую грудь и чмокающего губами младенца.

Женщина подалась вперед, прикрывая телом свое дитя.

Щеки у Алексея Михайловича снова запламенели. Он глядел на обнаженную грудь и не мог отвести глаз. Стоял, смотрел и не знал, как ему быть.

— Милостыню тебе государь принес!— нашелся Стрешнев.

Алексей Михайлович вздрогнул, опустил глаза, достал ефимок и боком, отворачиваясь, подошел к женщине. Чтоб не подумали, что он бросает деньги, Алексей Михайлович нагнулся и, кладя ефимок на постель, опять увидал грудь и темный, как вызревшая ягодка-ежевика, сосок, от которого отлепился, почуявши неладное, ребенок.

Женщина замотала головой, зарыдала. И Алексей Михайлович попятился.

— Ей деньги теперь не нужны,— сказала баба-тюремщица, запирая дверь на замок.— Разве панихиду заказать? Не сегодня завтра закопают по шею.

— Она,— ужаснулся Алексей Михайлович,— убийца?

— Мужа прибила... Бесприданницей взял, за красоту. Говорит, измывался. Не верил, что его дите. Стар он был. Любовалась она своим ребеночком, а он вырвал его из рук да в бадью и кинул. Она дите выхватила и мужу по голове, что под руку попало, а попал мужнин костыль с железом... Ее давно бы закопали, ждали, когда дите от матери отнять можно будет.

Молча и быстро шли по тюремной избе, потом через двор, а притюремнике Алексей Михайлович сказал:

— Пусть ее отпустят! Сегодня же пусть отпустят!.. Вот и пригодится ей моя милостыня.

Баба-тюремщица ухнула на пол и поцеловала царев сапожок.

Васька Босой заплясал, запел и всю обратную дорогу бегал вокруг Алексея Михайловича и Стрешнева большими кругами — так бегает выпущенная на волю насидевшаяся на цепи собака. Семен Лукьянович шел улыбаясь: «Как государь на грудь-то бабью воззрился. Эк как воззрился! Ведь женить пора!» И, не в силах унять свои веселые мысли, вспомнил вслух:

— Господи! Ведь на все божий промысел. В народе-то нынешний день как прозывается?

— Как?— спросил государь.

— Катерина-женодавица!— И радостно засмеялся.

Перед глазами Алексея Михайловича встали белые

плечи, спелая ежевика. Он покраснел, но ни полсловечка против не сказал.

3

Семен Лукьянович просиял на целую неделю. Хлопотал, летал, нашептывал. Все по секрету, по страшному секрету, но каждому, у кого дочь на выданье.

Через неделю собралась Дума решить наиважнейшее государево дело: объявить всей русской земле, что великий государь желает жениться...

Как земля без дождя, сер, в морщинах-трещинах, безмолвен сидел на этой радостной Думе Борис Иванович Морозов: обошли его Стрешневы. Последним узнал о желании государя.

То польский посол приехал, то бунты посылал усмирять — соляная пошлина всей России поперек горла. Посады городские устраивал, о завозе табака пекся. Продажа табака стала монополией казны, при Михаиле Федоровиче за курение в Сибирь посылали, носы резали. Купеческие жалобы пришлось разбирать. Поехал один ярославский гость с соболями, с черно-бурыми лисицами, с белкой через Ригу в Амстердам, а голландские купцы, сговорясь, ничего у него не купили и ничего ему не продали. Три страны проехал и вернулся домой с кулем насмешек. Возвращался на немецком корабле через Архангельск, и в Архангельске те же голландцы взяли у него товар с большой прибылью. Морозов понимал: торговать с другими странами — желать благополучия своей стране. Изгнать иностранцев, даже за их козни, нельзя. Однако, чтоб вконец своих купчишек не обидеть, поднял пошлину на все иностранные товары вдвое.

— С наших людей свое возьмете,— утешал иноземных купцов Борис Иванович, разрешая им повышать цены на ввозимые товары.

Вторым человеком в государстве быть — крест и крест. Пока старался об общей пользе, за столом у государя редко сиживал, на охоты с ним не езживал, в церкви рядом с ним не стаивал — оглянулся, а второе место уже, поди, у другого.

4

На смотрины собрали двести девиц.

Алексей Михайлович в первый же день смотрин ум-

чался с Матюшкиным Афонькой да с другим приятелем детства, с Артамошкой Матвеевым, на медвежью охоту в звенигородские земли.

А на медведя тоже не пошел. На санках с гор катался.

Жил Алексей со своими товарищами в охотничьей избе. По утрам молился вместе с местными пустынниками, днем надевал снегоступы и шел в сосновый бор глядеть на зимнюю красу, слушать дятлов.

На горку царь приходил на закате. Снежные утесы полыхали неземным фиолетовым огнем. Мороз надирал за день солнцу щеки, и оно, пристыженное, пылая красиво, да не горячо, садилось на вершины дальних сосен, тихохонько садилось, как на гнездо — яичко выводить, но под тяжестью светила лес погибался, солнце тонуло, цепляясь красными лучами за пустое небо, на котором в синей стороне невежливо, до захода, проступали сильные звезды.

Царь Алексей приходил на гору со своими санками. Ложился на них лицом вверх, толкался ногой и укатывал в снежный простор. Когда под полозьями начинало поскрипывать и оставалось только вздохнуть от пережитого счастья полета, санки ухались с береговой кручи на реку и долго еще скользили по льду.

Тащить назад санки было далеко, но на то он и царь, чтоб жить удобно и приятно. Санки за него таскали Афонька Матюшкин или Артамошка Матвеев, один санки везет на гору, другой на реку с горы спешит.

Царь спугнул с любимого места ребятню: была там неподалеку деревенька на дюжину дворов.

Ребята знали: в синей шубе, который санок не возит,— сам царь. Прибегали поглядеть с другой горки. Никто их не гонял, сами боялись, а все же сыскался и среди них смельчак. Как царь умчал в очередной раз под гору, тот смельчак со своими саночками на цареву горку забежал да и покатил по наезженному следу. Царь уже в обратную сторону шел, а тут на него — снежный вихрь, в сугроб пришлось отступить.

Алексей Михайлович оглянулся-таки — далеко ли укатил мальчишка? Смотрит: за его, царев, след заехал!

Государям спешить не к лицу, неторопко с Афонькой на гору поднялись. Мальчишка их догнал, но обогнать не решился, под горой остановился.

Алексей Михайлович на этот раз не ножкой толкался: разогнал санки на горе, прыгнул на них лицом вниз и покатил. За середину реки уехал.

Мальчишка за гору забежал и тоже разогнал саночки-пушиночки, полетел, как пичуга какая, по цареву следу, а потом и по целине, и дальше бы ехал, кабы в другой берег не ткнулся.

На этот раз санки Матвеев тащил. На горе Алексей Михайлович говорит ему:

— Ну-ка, Артамон Сергеевич, разгони меня хорошенько!

Артамон Сергеевич постарался: летел государь с горы — в ушах свистело, на льду санки поворотил и вниз по реке покатил, покуда не стали. Оглянулся на свой путь — засмеялся. Очень далеко уехал.

Стоят они с Афонькой Матюшкиным, мальчишку ждут. Совсем уже вечер засинел, но еще видно. Порхнул с горы черный колобок, покатился. Катит, словно на ногах! С речного обрыва нырнул, поворотил на царевом повороте и проехал мимо царя да Афоньки еще сажень на десять.

— Ишь ты!— удивился царь.

Афонька не удержался, подбежал к мальчишке и давай тому уши драть. Больно крутит, а мальчишка не орет.

— Ишь ты! Царя первее задумал быть?!— В раж вошел царев слуга, может, и открутил бы ухи, но Алексей Михайлович заступился.

— Наказал, и будя! Ты лучше санки его погляди, да пусть мне такие же сделают.

Ночью местные мужики ладили для царя новые санки, но поутру прискакал гонец: из двухсот девиц боярская комиссия отобрала шестерых для самоличного царева просмотра. Алексей Михайлович словно и не слыхал гонца, но Артамошка Матвеев велел закладывать лошадей, принес тулупы, и царь поехал, слова не пророня.

5

Борис Иванович Морозов никакого участия в том великом действе не принимал. Правителя Московского царства будто и не заботило, кто станет царицей, чей род возвысится.

Боярин со всеми говорил об одном: времена наступают неспокойные, Владислав — польский король — болен, шляхта короля не слушает; турки Венецию никак не одолеют,— самое время государскую мышцу растить.

В дни кремлевских больших хлопот, страшных бабь-

их скандалов и пересудов — кому неохота царя в зятья!— боярин Морозов провел указ о назначении судьей Оружейной палаты и Ствольного приказа только что пожалованного в бояре Григория Гавриловича Пушкина. Григорию Гавриловичу надлежало печься о мушкетном деле, о всяческом мастерстве, об иконописной мастерской, но он, желая отблагодарить за свое боярство всю Россию и сверх всякой меры, а заодно и показать, что боярства он достоин, и, может, более других, которые давно в боярах,— придумал верный и неиссякаемый доход для казны.

Мысль эту Григорий Гаврилович, возможно, в заграницах подхватил, в Швеции, куда ездил извещать королеву о восшествии на престол Алексея Михайловича, а, глядишь, на заграницы и грешить нечего, сам расстарался. Придумал он поставить государево клеймо на всякий аршин и на всякие весы. Старые долой, неслухов — на дыбу, а за новые, клейменые, аршины да весы взимать по ефимку.

Дорогую соль покупали плохо. Рыба и мясо протухали. Людишки травились дурной пищей. Борис Иванович Морозов ухватился за пушкинский аршин, как утопающий за соломинку. Посчитал с Назарием Чистым прибыль и велел Пушкарскому да Ствольному приказам готовить клейма, аршины, весы, да чтоб в великой тайне!

Без тайны нет государства. Никакого доверия такому государству не будет, если ему нечего таить, все равно от кого — от чужих или от своих. Пускай она будет самая разничтожная, ненужная, пускай вредная и даже всему государству вредная, но без тайны никак нельзя. Трон ему поставь, поклонись ему — государственному секрету. Не было в Москве в те дни секрета большего, чем клейменый аршин Григория Гавриловича Пушкина.

Знали про него Морозов, Траханиотов, Чистый и сам Пушкин. Царь и тот не слыхал про аршин, который должен был спасти его казну.

Впрочем, один царь и не слыхал ничего.

6

Ночью жена Леонтия Стефановича Плещеева разрыдалась в подушку.

— Дашуня, ты чего? Али сон дурной приснился?— обеспокоился Леонтий Стефанович.

— Какое сон? Глаз не могу сомкнуть.

— Стряслось-то чего? Забрюхатела?

Дашуня упрямо замотала головой, взбрыкнула толстыми короткими ногами, скидывая с себя жаркое одеяло.

— О горе мне!

— Говори толком, что приключилось?— Леонтий Стефанович сел, ногами щупая пол.— Где чеботы, черт!

— Да не чертыхайся ты! И так в доме пусто!— Дашуня в сердцах тыркнула круглым кулачищем воздух перед собой.

— Вона ты о чем!— Леонтий Стефанович скинул поймавшийся было чебот и повалился на постель.— Ты же вчера у Траханиотовых была, у братца своего.

— Какие у Ираиды запоны: и перстни, и сережки, и браслеты!— в голос заревела Дашуня, но тотчас слезы вытерла и, загибая пальцы, принялась считать:— Убрус ей поднесли. Шитье золотое, а концы ладно бы жемчугом хорошим — алмазами низаны! Сундук мне свой показала, я чуть было не померла. Накладных ожерельев, бобровых — дюжина! Два кортеля соболиных, на бобровом пуху, да два кортеля горностаевых, крытых тафтой бирюзовой. Один опашень на куньем меху, зимний, другой из сукна англицкого, червленого, а еще из шелку. Пуговицы все жуковины: и золотые, и серебряные, и с камнями. А ширинки! Все арабские, тонкие, с кистями золотыми. Башмаков двенадцать пар: и сафьяновые, и бархатные, и атласные, с жемчугом и с яхонтами.

Леонтий Стефанович обнял зареванную свою разнесчастную жену, но она упиралась, пыхтела, и тогда он больно плюхнул на мокрое лицо ее тяжелую ладонь и надавил:

— Замолчи же ты, корова! Тебя одевай не одевай, а все ты коровой будешь.

Двинул в притихшее мягкое тело кулаком.

Дашуня не пикнула.

Нехорошо блестя глазами, Плещеев лежал руки за голову.

— Я для Петра Тихоновича старался, о себе не помня!

— Ты и для Морозова своего старался! Они теперь в две руки гребут! Чего им теперь о добрых людях помнить?— вскипела Дашуня.

Леонтий Стефанович снова обнял женушку, поцеловал.

— Не горюй! Борис Иванович меня не обойдет милостью. Уж больно много я знаю про него. Тут или

прибить, или возвысить. А прибить ему меня нельзя — нужен я ему... Потерпи, Дашуня. Мы свое возьмем, богом тебе обещаю: чего бы у Борисовой сестрицы, у Ираиды Ивановны, ни было, как бы братец твой для нее ни расстарался — у тебя будет втрое! Втрое! Богом тебе, Дашуня, клянусь — втрое!

Плещеев соскочил с постели, подбежал к образам, истово покрестился и поцеловал Спаса-нерукотворного.

— Леонтий Стефанович, перед Спасом-то зачем? Больно страшно!— таращила глаза Дашуня.

— Большие люди большим богам молятся,— сказал Плещеев, ложась и закрывая глаза.— Давай спать, женушка.

Засопели, но Дашунин носок вдруг примолк.

— Правда, что ли, на корову я похожа?

— Со зла это я,— подкатился под пухлый бочок Плещеев.— Лапуня ты моя, мягонькая.

— Ох, господи!— перевела дух Дарья Тихоновна, родная сестрица Петра Тихоновича Траханиотова.

7

Алексей Михайлович припал к потайному оконцу.

Меньшая Золотая царицына палата была светла и пуста, но дверь отворилась, и через всю палату прошла боярышня. Она стала, как ее учили, возле высокого застекленного окна, чтобы свет ложился на лицо, и замерла. Высокая, гордая, брови с надломом, но к вискам взлетающие. Нос точеный, глаза пронзительно строгие, черные, рот маленький, губы словно коралловые ниточки.

Стояла, тревожно вскидывая глаза то на двери, то на стены, словно ждала недоброе, да не знала, с какой стороны грянет. Вспомнила, видно, что пройтись велено. Сорвалась с места: стан гибкий, руки резкие. Прошла три шага — осеклась, закрыла лицо платком, но тотчас выпрямилась и словно бы оледенела.

Алексей Михайлович на цыпочках отпрянул от потайного оконца.

Тотчас мимо пошла было, но, увидав царя, склонилась в нижайшем поклоне Анна Петровна Хитрово, по прозвищу Хитрая. Ее взяли в Терем казначеем царевны Ирины Михайловны еще в 1630 году. Поклониться — поклонилась, а глазками в царские очи стрельнула — все поняла.

Вторую деву царь глядел на другой день. И тоже на

цыпочках от окошка отошел, и опять встретился с Анной Петровной. На этот раз, правда, не одна была, с царевной Ириной Михайловной.

Терем жил своей жизнью, скрытной, за дверьми, за ширмами, за крепкой стеной, отгородясь от мира, а то и от света небесного.

В Тереме обретались в те поры три сестры: Ирина Михайловна — двадцати лет, Анна Михайловна — семнадцати, Татьяна Михайловна — одиннадцати. При царевнах состояли их мамки, приезжие боярыни, казначеи, ларешницы, учительницы, кормилицы, псаломщицы, боярышни-девицы, карлицы, постельницы, комнатные бабы, мастерицы-рукодельницы, портомои, прачки.

На масленицу устраивали царевнам скатные горки, на троицу водили они с боярышнями хороводы. Ирина даже качели велела себе в сенях устроить. По монастырям ездили и даже на охоту соколиную, но обычное человеческое счастье для них было заказано. За своего, русского князя, царевну замуж было нельзя отдать — унижение царскому титулу. А может, больше, чем унижения, смуты боялись... Народит царевна детей — роду они, стало быть, царского. Значит, и на престол могут поглядывать. Заморские принцы в Москву не ехали, а приехал один, за Ириною, так унижения всяческого натерпелся.

До богословского спора дошло, Иван Наседка в том споре верховодил.

— Напал на нас узол,— говорил,— надобно его развязать.

— Нет никакого узола!— кипел князь Семен Шаховской, друг королевича Вальдемара.

— Есть узол! Королевич не хочет в православную веру перекрещиваться.

— Надо ввести королевича в церковь некрещена!— настаивал Шаховской.

Тут уже Наседка вскипал, и с ним все духовные. Решили перекрещивать королевича не в три погружения, а только чтоб тот проклял папежскую веру и принял московский символ веры, поклонение иконам и посты.

Давно уже королевич уехал из России, а дело его только днями кончилось. Заступника его, князя Шаховского, поставили перед Посольским приказом и прочли смертный приговор. Казнь была назначена самая жестокая — сжечь на костре. Да молодой царь по милосердию своему заменил казнь высылкой в Сольвычегодск.

Видно, для того все делалось, чтоб другим прин-

цам неповадно было за московскими царевнами ездить.

Но в эти дни выбора царем невесты, когда под пятками обитателей Терема пол дымился, были забыты и качели, и обиды, и молитвы.

...В третий раз припал оком к потайному оконцу царь Алексей Михайлович. На положенном месте, на свету, уже стояла претендентша на его, царево, сердце. Стояла и, поднявшись на носки, заглядывала в окно. Что-то ей за окном интересное угляделось, а ростом не больно высока для кремлевских окошек. Оперлась руками о подоконник, оглянулась — не видит ли кто ее шалости — да и подпрыгнула. Когда оглянулась, у царя сердце сошло с ровного хода. До чего ж веселые глаза у девушки! До чего ж она легкий человек!

Подпрыгнула и смутилась, испугалась даже, отошла от окошка, поглядела по сторонам и тихонько вздохнула. Брови у нее, как у матушки, у Евдокии Лукьяновны, покойницы,— только не черные, собольи, а куньи, и ресницы куньи, густые, длинные. (Девушек показывали царю в естестве, ненамазанных: без белил, румян, без сурьмы на бровях, без черненых белков.) Видно, поняла девушка вдруг, нутром поняла, что ведь на смотринах, что каждый жест ее, каждый поворот головы цену свою имеют, и зарделась. Горят щеки! Она огонь ладошками унимает, а он пуще. Она к стеклу холодному, к оконному, ладони приложила и опять к щекам.

Кинулся тут Алексей Михайлович от потайного оконца к дверям в палату, а у дверей Анна Петровна.

— Нельзя заходить, великий государь!

— Можно!— Алексей Михайлович платок достал и кольцо, показывает Анне Петровне.— С этим можно.

— Великий государь!— кинулась на колени Хитрово.— Не торопись, великий государь! Еще три девы тебе надо поглядеть. Самые лучшие на потом оставлены. Погляди всех, а там и решишь.

— Решил я уже все!

Прошел мимо замерших людей Терема в царицыну палату.

Девушка увидала — входит, опустила руки, опустила голову, и он тоже оробел. Издали свои подарки протягивает:

— Возьми.

А девушка никак не осмелится глаза поднять.

— Возьми, это тебе!

Тут она посмотрела все-таки на него, и опять обрадовалось царево сердце. Глаза ее — дом света. Не отра-

женного от солнышка, своего. Слезы застили, заливали тот свет, но ни затенить, ни залить не могли, а только прибавляли силы и ясности ему, дивному свету.

Алексей Михайлович положил девушке в руки платок и, готовый расплакаться от смущения и от счастья, нашел ее ладонь, теплую, сухую — господи, родную — и положил в нее кольцо.

8

Благовещенский протопоп, духовник царя, Стефан Вонифатьевич, Федор Ртищев, Иван Неронов собрались в монастырской келии новоспасского архимандрита Никона в великой радости. Престарелый патриарх Иосиф, всего боящийся и желающий одного только покоя, уступил молодому напору ревнителей благочестия и дал свое благословение указу, по которому с 17 января 1647 года всему русскому народу запрещено было работать в воскресные дни. По воскресным дням русским людям вменялось посещение божьих храмов. Победа была худосочная, патриарх Иосиф согласие дал на малое дело, а на большое не дал. Отказывать тоже не отказывал, но и никак не решал вопрос о единогласии в церковной службе.

— Теперь надо школу открыть!— говорил за трапезой Федор Михайлович Ртищев.

— Да ведь один раз чуть было не открыл,— напомнил Стефан Вонифатьевич о прошлогоднем конфузе: приехал царьградский архимандрит Венедикт, взялся было школу открывать, да в постные дни маслице кушал; прогнали его и попросили учителем впредь не называться.

— С греками нужно ухо востро держать!— петушком крикнул Неронов.— Ох, востро!

— Греки всякие бывают!— не оспорил, а как бы рассудил Никон.— Православие мы от греков приняли, и теперь нам есть чему у них поучиться. В книгах переписчики столько за века-то ошибок наваляли, что без ученых людей не разгрести кучу. А куча сия не зловонием страшна, но соблазном, погубляющим души.

— Не везет нашему царству с учением,— повздыхал Ртищев.— Мне рассказывали: царь Годунов троих отроков посылал в Англию учиться, и ведь все трое выучились. Значит, есть в нашем народе способность к учению!

— А где же они, эти ученые отроки?— удивился Никон.

— Один, Никифор Олферьев, стал попом английским, другой — в Ирландии — королевским секретарем служил, а третий, я слышал, в Индии — купцом.

— Вот оно как за чужим умом посылать!— воскликнул Неронов.— Слава богу, что не вернулись души православных людей смущать.

— Дома будем учить!— сказал Никон, да так, будто по его слову все и сделается само собой.

— Я послал киевскому митрополиту письмо, чтоб прислал ученых монахов и певчих,— признался Ртищев.

— Борис Иванович Морозов будто бы за справщиком книг в Царьград человека своего отправил, да что-то не едет,— сказал Неронов.

— И книги нам исправлять нужно, и школу открыть нужно, и пению учиться нужно,— согласился Стефан Вонифатьевич.

— Совсем мы свое захаяли!— покрутил головой Иван Неронов.— И книги-то у нас нехороши, и темны мы, и петь не умеем. Господь наш, Иисус Христос, на тайной вечере пел и нам петь завещал. И поем мы, как Иоанн Дамаскин, как отцы наши пели и отцы отцов, а все новые украшательства разжижают твердь веры. Какая может быть вера у греков, если они под басурманским султаном живут, с его стола кормятся...

Иван Неронов говорил, побрызгивая слюной, и Никон тревожно взглядывал на лица Стефана Вонифатьевича и Ртищева.

— Мы не спора ради собрались, а радости ради,— сказал он.— И о чем нам спорить, когда мы все хотим одного: чтоб дом церкви нашей был устроен и украшен по достоинству.

В дверь поскреблись. Никон встал, вышел, тотчас вернулся.

— Великий государь назвал невестой Евфимию Всеволожскую.

— Как так?— вскочил Стефан Вонифатьевич.— Еще три дня смотринам.— Сел.

— Кто они, Всеволожские?— спросил Ртищев.

— Из Касимова они,— ответил Стефан Вонифатьевич, нехорошо щуря глаза.

Все почуяли, что Стефан Вонифатьевич царским выбором недоволен.

— Неустройства всякие пойдут!— объяснил царский духовник свою нерадость.— Новые люди вверху, новые неурядицы. Раф Всеволожский, отец невесты, человек

горячий, сначала сделает — потом плачется. Сын у него есть, Андрей. Гордец.

«Видно, протопопу Всеволожские дорогу когда-то перешли»,— подумал Никон.

— Лишь бы царю радость,— простодушно сказал Неронов.— А передраться за места у нас и родовитые умеют. Еще как умеют. Нам, грешным, все видно, кто у большого пирога сидит.

Стефан Вонифатьевич глянул на Неронова из-под бровей: проверил, искренне ли говорит Неронов, и вздохнул:

— Тебе, Иван, легко.

— Не у дел, что ли?— встрепенулся Неронов.— Верно, не у этих я дел. Маленький я человек, когда куски делят, но я очень даже у дел, когда за правду голопузенькую надо стоять. Когда за веру надо стоять. За русскую землю надо стоять!

— Чего шумишь?— успокаивая, улыбнулся Ртищев.— По домам пора. Спасибо вам всем, что были тверды перед патриархом и что устроилось богоугодное дело. О праздновании воскресенья говорю.

— С единогласием патриарх Иосиф тянуть будет, боится он попов возмутить,— сказал Стефан Вонифатьевич.— Но запрета скоморошьих игр я добьюсь.— Перекрестился на иконы.

— Тут мы тебе все помощники!— сказал Никон, ударяя на каждое слово: ему хотелось, чтоб за его словами три смысла видели. В церковных новшествах мы все, мол, едины, но, однако, едины не во всем, за слова о Всеволожских ты один, протопоп, ответчик. А можно все и по-другому истолковать: мы во всем едины и во всем твои помощники, ибо ты — царский духовник, тебе одному ведомы душевные тайны царя.

— Господь с тобой!— Борис Иванович Морозов поднялся со своего креслица и обратно сел: оставили силенки.

В приказ при всех-то дьяках, подьячих и писарях явилась Анна Петровна Хитрово.

Анна Петровна хоть и была бела как снег, но окинула взглядом комнату, увидела, что одни, и уж потом только опустилась на колени.

— Беда, Борис Иванович!

Борис Иванович и сам видел, что беда, но никак не мог сообразить — какая.

— Избрал,— прошептала Анна Петровна.

— Как так избрал?— навалился на стол Борис Иванович.— Еще три дня смотринам.

— Прочих смотреть не пожелал,— сказала Анна Петровна серым голосом.

Борис Иванович глядел на нее, не беря в толк ее слова.

— Три дня еще смотринам,— повторил он, а про себя подумал: «Ну вот, судьба перехитрила хитрого».

Из шести девиц две были Милославские, дочери Ильи Даниловича, ездившего извещать о восшествии на престол нового царя в Голландию. Борис Иванович устроил так, что обеих красавиц должны были показать царю напоследок, чтоб затмили. Борис Иванович только вид делал, будто весь в делах, что до выборов невесты он не касается. До всего касались длинные руки Морозова, но промахнулся.

— Всеволожские?— спросил Борис Иванович самого себя и услыхал:

— Всеволожские.

Он подошел к Анне Петровне, поднял ее с полу.

— Я тебя награжу! До конца дней своих будешь благодарить, но сделай что-нибудь.

На белом лице Анны Петровны сверкнули капельки пота.

— Послужу тебе.

— Будь добра,— прошептал Борис Иванович, улыбаясь растерянно и жалко.

Хитрово повернулась, чтоб идти.

— Погоди!

Он вышел первым и объявил счастливым сладким голосом на весь приказ:

— С избранницей! Ступайте все по домам веселиться. Государь Алексей Михайлович назвал невестой Евфимию Федоровну Всеволожскую.

Анна Петровна радостно кивала головой, подтверждая радостные слова Бориса Ивановича.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1

Снег падал густо, а не теплело.

«Суровая зима — жаркое лето»,— думал Борис Иванович Морозов.

Сказавшись больным, он не ездил в приказы, но де-

ла от себя не отставил: дьяки приносили ему грамоты, столбцы, и он все читал, обо всем знал.

Перед Борисом Ивановичем лежало дело Тимошки Анкудинова, а думал боярин о прежнем царе, о Михаиле Федоровиче.

«Неразгаданного ума человек!— думал о царе Борис Иванович.— Слушался бояр, как ребенок. Ничего-то сам никогда, кажется, не решил, но, что бы там ни говорили, своего добился. Остались Романовы в царях.

Алеша тоже характером слабоват. Смышлен, как не смышлен! С пяти лет читать научился, в семь — писать. В девять знал церковное пение не хуже священника. Ему бы настоятелем, а он — царь...»

— А уж так ли я знаю Алешеньку?— спросил себя вслух Борис Иванович.— Он ведь тоже Романов. Пока все хорошо — и вы, бояре мои ближние, хороши. А плохо будет — вам и отвечать своими головами, потому все от вас. Вы правили.

Борис Иванович досадливо шевельнул бровями и заставил себя читать Тимошкино дело. Некий друг московского престола сообщал, что король Владислав объявил Тимошку Дмитрием — сыном царевича Дмитрия.

— Тьфу ты!— плюнул Морозов: дела давно минувших дней.

Перекрутил бесконечную ленту бумаги. Нашел последние вести. Из Царьграда писали, что русский посол Телепнев умер и что Тимошка из Туретчины убежал.

Борису Ивановичу вспомнился было Лазорев, но, себе на удивление, боярин отшвырнул от себя дело.

— На кой мне черт все это сдалось!

Нет, ни о чем другом, кроме царских смотрин, не мог думать Борис Иванович. Ведь в таком деле промахнулся! И никак теперь того дела не поправить.

Чугунная тоска прищемила сердце Бориса Ивановича.

— Господи! Только гляди да гляди!

Семена Шаховского свалил, Шереметевых свалил. Стрешневы, как тесто, пучатся, а теперь Всеволожские полезут из щелей, тараканий выводок!

И вдруг подумал: а ведь того, кто замешан в таинственную историю убиения царевича Дмитрия, тоже звали Борисом.

И новый всплеск тоски: думал про все это. Тысячу раз думал.

— Освободи мою голову, господи!

2

В комнату, распустив полы кафтана, вбежал управляющий имениями Моисей.

Царь приехал!

Шубу!— крикнул Морозов, выбираясь из-за стола, на бегу просовывая руки в рукава и натягивая боярскую шапку. Государя за воротами надо встречать.

В глазах Алексея Михайловича зайчики кувыркались. Собирает губы, чтобы чин соблюсти, а они растягиваются от уха до уха. Кинулся к Борису Ивановичу, не дожидаясь приветствий, поцеловал, шепнул ему на ухо:

С Матюшкиным Афонькой на женскую половину лазили. Полный подол Евфимушке пряников насыпали. Она обмерла от страха, а мы ей в оконце потайное показались. Уж так хорошо смеялась Евфимушка! А зубы у ней — как снег под солнцем. Жени ты меня, Борис Иванович! Поскорей ты меня жени. Люблю несказанно Евфимию Федоровну.

Морозов засиял ласково глазами:

— Да уж считай, что женили. День назначен, недельку всего и подождать.

— Когда ж она проскочит, неделька! Заходить уж к тебе не буду, не посердуй. Радостью приезжал к тебе поделиться. В поля мы с тестем собрались, на лисиц поохотиться.

— Смотри не заморозься! Велел бы крытый возок заложить. Хочешь, мой возьми!— говорил Борис Иванович, а сам цапнул глазами Рафа Всеволожского, стоявшего возле санок.

— Ах, Борис Иванович! Ах, Морозов ты мой милый! Ничего со мной не содеется дурного.

Борис Иванович по-отцовски, чтоб Раф это видел, благословил своего воспитанника, подошел к саням. Всеволожский, высокий, узколицый, с собачьими, пылающими изнутри глазами, поклонился почтительно Борису Ивановичу, но глаз не опустил.

— За рыжими шубами?— спросил его Морозов.

— Люблю погонять. Особенно огневку. Так и летит по снегу-то!— настороженно, но уже дружески заулыбался Раф.

— То-то мне говорят: Москва ноне порыжела!- улыбнулся широко и ласково Морозов.

У Рафа мочки ушей набухли фиолетовой кровью.

Черно-бурых лис ни под Москвой, ни в Касимове у нас не водится,— сказал тихо, с достоинством.

— С богом! Ни пуха ни пера!— весело махнул рукой Борис Иванович сановным охотникам

3

— Моисей!— позвал Морозов, воротясь в свою комнату.— Моисей, мне нужна твоя наука.

— О господин мой! Я провожу дни мои в усердных трудах, и каждое твое поместье дает теперь двукратный доход. Я хочу забыть о старом...

— Мне нужна твоя наука, Моисей.

— Повинуюсь, господин!— Управляющий поклонился.— Возьми, господин, меня за руку.

Моисей засучил рукав кафтана и подал боярину голубоватую свою руку,— видно, никакие харчи не могли избавить чародея от худобы. Морозов взял большой белой рукой холодное запястье и как бы притаился.

— Думай!— приказал Моисей; на висках его набухли жилы.— Думай.— Струйки пота поползли по его длинному лбу.— Позволь мне удалиться, боярин, к себе. Я принесу тебе ответ.

— Ступай. Да скажи, сколько ждать тебя?

— Не больше получаса, господин.

Через полчаса Моисей вошел в комнату боярина.

— Ну, чего?— спросил Морозов.

— Тебе поможет женщина. Тебя возвысит женщина, но все здание, тобою возведенное, разрушит женщина.

— Разрушит, говоришь?

— До основания, господин.

— Но сначала поможет?

— Поможет, господин.

— Ну и ладно, коли поможет. Разрушит-то не теперь же?

— Нет, господин. Не теперь.

— А мне «теперь» дорого. Ступай, Моисей, занимайся своими делами. Я на тебя не нарадуюсь.

Моисей откланялся.

— Погоди! Поди сюда.

Моисей вернулся.

— Встань на колени, больно длинный, у меня силы нет в ногах.

Моисей покорно опустился на колени. Борис Иванович высвободил плечи из-под собольей своей шубы, набросил шубу на Моисея.

— Носи!

— О господин!— Моисей коснулся лбом вельможной

ноги. Поднялся, пошел, держа шубу перед собой на вытянутых руках.

Вышел и тотчас вернулся.

— Господин, в немецкой слободе беспорядки. Большая драка, господин.

— Плещеев, что ли, пожаловал?

— Плещеев.

— Позови.

Леонтий Стефанович Плещеев, маленький, улыбчатый, остановился у порожка.

— Проходи, Леонтий Стефанович!— пригласил Морозов.— Чего там приключилось?

— Да подрались.

— Кто же подрался?

— Посадские с немцами.

— Ну, расскажи.

— Андрей Всеволожский, родной брат царской невесты, в кабаке «Под пушками» кричал, что он, Андрейка, избавит русских купцов от немецкой напасти.

— Кто же это его надоумил купцов защищать? Кто у него за столом сидел?

— Разные люди сидели. Да и я, грешный, тоже с ним сидел,— потупил скромные глаза Леонтий Стефанович.

— А драка как же приключилась?

— Сначала Андрейка грозился купчишек от немцев избавить, как сестра обвенчается, а потом переменился. «Я,— говорит,— тотчас вас избавлю от немцев. Пошли на слободу стеной!» И пошли.

— Не зашибли Андрея Федоровича?— спросил Морозов.

— Зашибить не зашибли, но побить побили. Большая драка случилась. Сотен шесть было немцев.

— Шесть сотен!— вскочил Морозов со скамьи.

— Да ведь и посадских с купчишками было сотен, никак, семь, а то и все восемь.

— Стрельцов послали — унимать?— быстро спросил Морозов.

— Без стрельцов обошлось. Немцы так славно дрались, что пришлись нашим по сердцу. Купцы на мировую дюжину бочек выкатили и с пивом, и с медом.

— Слава тебе господи!— перекрестился на икону Борис Иванович.— Ох уж мне эти царские родичи! Ты чего, Леонтий Стефанович?

А Леонтий Стефанович грохнулся на колени и тыкался лбом в пол.

— Жена, благодетель мой, Борис Иванович, вконец меня загрызла. Все, говорит, на службе, а ты один не при деле.

— Встань, Леонтий Стефанович. Службу ты получишь у меня самую доходную. Потерпи!

— Я потерплю, Борис Иванович!

— Потерпи! Ты мне такой ныне дороже. А теперь пойди к Моисею, получи малое. Большое сам возьмешь. Дай бог, чтоб все было так, как мне задумалось.

— Позволь, Борис Иванович, к ручке.

— Целуй.

4

После вечерни Стефан Вонифатьевич беседовал со своим духовным сыном. Говорил о земном и о небесном предназначении брака, о легкомыслии жен и очень долго о безобразиях Андрея Всеволожского, который одной крови с Евфимией Федоровной.

Когда-то отец Стефана Вонифатьевича скосил у Всеволожских заливной луг, а Раф застал его, отобрал и сено и лошадей и пустил пешим.

Алексей Михайлович про то знать не мог. Он внимал духовнику, строя умное лицо, а сам украдкой поглядывал наверх, на балкончик, с которого царевны слушали службы. И наконец увидал: из-за занавеса махнули белым платком. Государь тотчас с чрезмерной нежностью, но и весьма настойчиво простился со Стефаном Вонифатьевичем.

Они качались на качелях, царь и царская невеста.

— Тише!— шептала она.— Ах, тише!

Но сама с силой толкала доску ногами и летела вниз, зажмурив глаза. А потом они сидели друг против друга, а качели взлетали и падали, несли их, и они смотрели друг на друга, все смотрели, покуда качели не остановились сами собой. Он спрыгнул первым и подержал доску, чтоб ей было удобно сойти.

Теперь они стояли совсем близко друг от друга, и надо было сделать всего два шага. И он сделал один шаг и услыхал ее быстрое дыхание, увидел ее колючие ресницы, хоть свету было — одна свеча. И он собрался с силами, чтобы сделать другой шаг, но тут вбежала царевна Ирина.

— Постельничий тебя хватился!

— Ах, господи!— оборвалось у Алексея Михайловича сердце, и он, проскочив самое трудное на свете пространство, коснулся неумелыми губами неумелых горячих губ и убежал, счастливый и несказанно гордый.

На завтра было назначено венчание.

5

Евфимию Федоровну наряжали в большой царицын наряд. Анна Петровна Хитрово с помощницами старалась

Ох, тяжел царицын доспех! Каменья все крупные, несть им числа, нашлепки все золотые.

Убирать голову царской невесты Анна Петровна никому не доверила. Каждый волосок натягивала под убрус, как натягивают струны на гуслях. Все посмеивалась, все приговаривала:

— Терпи, девушка! Терпи, милая! Перетерпишь царицей станешь.

Евфимия Федоровна качели вчерашние помнила и терпела. Больно ей было, а терпела, да наряд на нее такой надели — не вздохнуть, для крика и воздуха бы не хватило.

Стояла, время потеряв. Кожа на лице и та в тоске была, до того волосы натянули под убрус, что моргнуть нельзя.

Подхватили наконец Евфимию Федоровну под руки, повели. А у нее в голове шумит, в глазах темно, слезы глаза заливают, и моргнуть невозможно.

Отворились двери Золотой палаты, царь от нетерпения и радости поднялся навстречу.

Хитрово с боярынями тут и отпустили Евфимию Федоровну. А она покачнулась и упала.

Морозов так и кинулся на Рафа Всеволожского с кулаками:

— Обманщик! Падучая у дочери! Больную царю в жены хотел подсунуть!— И на колени перед Алексеем Михайловичем:— Прости, государь! Не стерпело сердце!

Евфимию Федоровну унесли.

В тот же день Раф Всеволожский, отец царской невесты, был поднят на дыбу.

— Давно ли испорчена твоя дочь?— упрямо спрашивал Борис Иванович Морозов.

Раф Всеволожский отвечать не захотел и не дал ответа.

Тогда ему прочитали скорый указ: ехать-де тебе, Раф, в Тюмень воеводой вместе с женою Настасьей и сыном Андреем.

Евфимию Федоровну отправили было в монастырь с приказаньем постричь в монахини, но до монастыря царская невеста не доехала. Карету догнал Артамошка Матвеев. Ехать Евфимии Федоровне надлежало с отцом в Тюмень. Государь пожаловал свою невесту постелью и на словах велел передать: платок и кольцо — знаки царского выбора — оставлены Евфимии на память.

Увезли Евфимию Федоровну из Терема 12 февраля. 15-го царь ходил на медведя. 21-го еще одного медведя осочили. 22-го, в понедельник, на первый день масленицы, Алексей Михайлович тешился с медведями на псарне...

А между тем было заведено дело о порче царской невесты. Начался сыск виноватых.

6

Судьба Евфимии Федоровны Всеволожской сложилась печально. Отца ее из Тюмени перевели в Верхотурье, потом в Яранск, а через шесть лет всю их семью отправили в дальнюю касимовскую деревню с наказом касимовскому воеводе — на Москву не пускать.

К Евфимии Федоровне сватались. Много было у нее женихов, но всем она отказала и до конца дней своих берегла дареные платок и кольцо.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

1

Тоненький как былиночка поводырь слепцов за два года странствий вытянулся раздался в плечах на верхней губе пушок потемнел. Сколько ему лет, Саввушка точно не знал, но четырнадцать ему уже давали. Не знал он и дня своего рождения. Матушка поминала что на вербное он родился, только вербное воскресенье и в марте бывает, и в апреле Одно утешало. родиться в вербное воскресенье счастливый знак.

На свое счастье Саввушка надеялся, но оно к нему не торопилось. Сколько дорог прошли с братом по городам и весям, от монастыря к монастырю, вторая зима была уже на исходе не нашли другого брата.

Вот и теперь покидали они очередной монастырь. Помолились, подкормились и опять в путь-дорогу.

— Снег крупчатый, скоро весна!— говорил Саввушка, заглядывая в лицо названому брату.— Недели две еще походим, а там надо где-то ростепель переждать. Весной пройдем по засечным городкам, а летом на Соловки. Чует мое сердце: на Соловках его сыщем. А если уж не на Соловках, значит, в Сибирь ушел. В Сибири не сыскать. В Сибири, говорят, ни конца ни края. На Соловки сходим, и в Москву надо возвертаться. А то, может, пока мы его ищем, он сам нас ищет. Кому-то на одном месте нужно сидеть, когда потерялись.

Саввушке приходилось говорить за двоих. Брату нравилось, когда Саввушка не молчал.

— Теперь уже веселей! Пораньше стало светать. Вон какая зорька розовая! А холодно что-то нынче. Поддает зимушка, чтоб летом про нее помнили. Ветром так и пронизывает.

Саввушка повернулся лицом к монастырю, храмы издали были маленькие: утром ноги легкие.

Покрестился на сверкающие кресты, побежал догонять брата, брат за все два года ни разу лба не перекрестил.

— До Воздвиженского монастыря, братия говорила, верст сорок с гаком, если по дороге, а если напрямик — то вполовину. У леса, говорили, сворачивать надо. Как пойдем-то?

Брат показал рукой на лес.

— Вот я тоже думаю — рискнем! Чего зря ноги бить? А двадцать верст — что? К обеду поспеем. Здешняя братия не больно щедрая. Да и не с чего им щедрыми быть. А Воздвиженский, говорят, старый монастырь. Богатый!

Свернули на тропу с дороги.

Длинная дорога — долгая, но верная, короткая дорога — шалунья. Промахнешься — втрое отшагаешь.

За лесом было поле, за полем овраг, за оврагом еще овраг. Тропку перемело, жилья не видно. Назад вернуться — себя жалко. Наугад идти — и страшно, и тяжко. А все ж полезли целиной. Не пустыня же, чай? Живут же здесь люди! А ветерок сильней да сильней, зашевелились снега, поднялись, полетели. Впору яму в снегу выкопать да и залечь, пока буря уляжется, пока из сил не выбились, головы пока от страха не потеряли.

А брат старший, как бык, снег толчет, силушка не-

меренная. Только и он ложиться начал. Ляжет в снег, отдышится — и опять вперед. Скатились они вдруг куда-то под гору. На лед. То ли река, то ли озеро — не понять, но повеселели. Возле большой воды деревню скорее встретишь. И уже зачернелось что-то сквозь белую пургу, но в тот же самый миг земля ушла из-под ног у Саввушки. Только и успел подумать: «Вот ведь как смерть находят!»

Падал он долго, все летел, летел, и не на что ему было опереться, и все было в тумане — белым-бело. И сколько так продолжалось, он никак не мог сообразить, но знал, что много прошло дней. И подумалось ему: надо собрать силенки да и попытать счастья. И открыл он глаза, чтоб разглядеть землю. И увидел зеленый луг, а на лугу речку, на речке — мельницу. А потом увидал себя. Он был снежинкой и падал на землю с неба.

«Откуда снежинка-то?— испугался он.— Уж, чай, лето! На лугу вон одуванчики распушились. Господи, не растаять бы!»

— Воды!— вскрикнул он и увидал, что лежит в избе.

Изба повернулась раз, другой и стала на месте.

— Слава тебе господи! Ожил!

К постели подошел круглолицый, лысенький человечек, бороденка — как грядка продранная.

— Здравствуй, дружок!— сказал человечек, поднося к губам мальчика кружку.— Зовут-то тебя как?

— Савва.— Саввушка выпил глоток чистой родниковой воды и заснул.

2

И наяву был июнь. Прикатил он на яром коне.

— И сколько же я себя не помнил, дядя Серафим?— спрашивал Саввушка, сидя у мельничного колеса.

— Долго, дружочек. В полынью ты попал, под лед. Твой друг ли, брат ли — немой — спас тебя.

— А где же он?

— У меня работает, а теперь в монастырь ушел. В Воздвиженский он еще в марте ходил, теперь в Введенский женский монастырь. Это близко. Тут все земли вокруг монастырские.

— А я, дядя Серафим, видел твою мельницу.

— Ты что же — бывал у нас?

— Нет, не бывал... В забытьи видел. Будто бы зеленый луг, на лугу речка, а на речке мельница.

— Не увидал бы — помер. Да ты корешок крепкий, и не такое, думаю, выдюжишь.

— Дядька Серафим, ты уж на меня, бога ради, не сердись... Ты колдун?

Мельник почесал ладонью лысину.

— Правду сказать, и сам не знаю. Все говорят — колдун, все лечиться ко мне идут: кто за корешком, кто за наговором. Как меня дед мой, отец мой учили, так я все и делаю. Коли идут, значит, помогает... А чертей не видал. Я, как все, в бога верую. Сдается мне, однако, ко мне идут те, кто черному ангелу верит больше, чем светлому. Пошли-ка, отвару тебе дам перед обедом. Вон как тебя ветром колышет!

Названый брат увидал Саввушку на ногах, плакал, как ребенок. Ко всем иконам в доме приложился, перед каждой покрестился.

Хорошая у них жизнь пошла.

Работы летом мельнику не много. Разве плотину где подлатать. Для такого дела — названый брат с его силой.

Лечиться летом люди тоже не любят. И так больно хорошо. Дни долгие, вечера теплые. Но на Федора-колодезника была гроза.

— Жди дождей,— сказал Серафим.— Много в этом году сена погибнет.

Не ошибся мельник. Пошли затяжные дожди. Тут люди и вспомнили, где у кого чего болит.

Приехала из Карачарова молодая барыня с дитем.

— Помоги, Серафим! Как родился, громко кричал, а теперь не кричит, а словно бы стонет. Тихонечко, а где болит — не спросишь. Три месяца младенцу.

Любаша, жена поручика Андрея Лазорева, исхудала, страдая по сгинувшему мужу.

— Распеленай!— попросил Серафим.

Любаша распеленала.

Серафим посмотрел мальчика, помял волосатой рыжей рукой животик, в рот заглянул.

— Гляди-ко! Семь зубов! Чего бога гневишь? Хороший мальчишка. Хочешь, чтоб сынок был здоров да весел, глазки утри, да улыбнись, да по чуланам на мешках не катайся в тоске потаенной.

Ласково говорил, а у Любаши уж слезки готовы, покатились.

— Думал я о тебе,— сказал Серафим, делая «потягунушки» младенцу.— На Лукьяна-ветреника по ветрам гадал на тебя.

Слезы так и высохли на Любашиных глазах.

— Ну, чего ты!— махнул на нее ладонями Серафим.— Птица ты пугливая! Южный ветер мужиком пахнул. Крепко пахнул. Не за горами уже твой муж летучий и не за морями. Скоро будет.

Любаша выбежала из дому. Постояла, прижавшись спиной к дверному косяку, крепко-накрепко зажмурив глаза. Потом кинулась к телеге. Вытащила из-под сена тяжелый узел, принесла в избу, положила в уголок. Быстро спеленала сына.

— Возьми-ка эту кринку! Да не пролей. Попои ребятенка. Не бойся. Питье доброе. Молоко, настоянное на петровом кресте. От многих недугов помогает детишкам. А теперь дай-ка мне твой крест. Ну, чего опять крылышки сложила? Ладно, не надо. Возьми дома чесночную луковицу да и повесть на крестик. Тоску твою разгонит на время, а там и муж приедет.

На дворе дождь опять пошел, а барыня уехала просиявшая.

— Погляди, чего там нам пожаловали!— попросил Саввушку мельник.

Саввушка развязал узел.

— Шуба! А в шубе — полбарана.

— Ну вот, и еда нам, и о зиме думать не надо.

3

От Саввушки Серафим секретов своих не утаивал. Знахарству учил и проверял, как ученье в голове у парня укладывается.

— А ну скажи, как от кашля избавиться?

— Развести в двух стаканах щепоть ржаной муки. Дать отстояться. Воду слить Осадок поделить на две части. Одну половину утром употребить, а другую — вечером. А если больно глубокий кашель, подошвы ног чесноком натирать.

А коли горло болит?

От горла тертую смородину хорошо глотать, помалу. А еще шерстяной чулок намылить и шею на ночь повязать.

— Занозу как вытянуть?

— Истолченные листья лебеды привяжи.

— От мозолей избавь!

— Печеный чеснок прикладывай.

— А как от злого колдуна загородиться?

— Святой репей с девятью колючками под потолок в избе повесь — колдун порог не переступит.

— Гораздо!— похвалил Серафим.— На Ивана Купала в лес возьму тебя, травы возьму собирать.

— На Ивана Купала в травах самая крепость, правда?— подластился Саввушка.

— Смотря какая трава. Траву прострел двадцать первого апреля надо брать. Сорвать, а на ее место христово яичко положить, крашеное. Чудесная сила у травки будет. Под основное бревно нового дома ту травку положить — никакой пожар не тронет.

Работы пареньку мельник не давал никакой, и, чтоб харчи чужие не переводить, пристрастился Саввушка рыбачить. Ельцов да головлей тягал. Большущие голавли попадались у запруды. Голавль — рыба капризная, клюет с разбором, а попадется — большой на реке шум устроит: из воды скачет, стрелой летит, кругами ходит.

Поднимался Саввушка до свету, когда последние летучие мыши разлетались по темным углам, вспугнутые первой зорькой. Копал червей за коровником и с двумя удочками садился на низкий тополиный пень у самой воды.

В деревне кричали петухи золотыми голосами, березовый лес на пригорке струился, как речка: блестящие листики на солнце — словно рябь. Шумела, падала сквозь щели в плотине вода.

На такой вот зорьке прибежал из деревни мужик. Увидал Саввушку, взмолился:

— Разбуди Серафима. Он, коли не выспится, сердитый.

— Чего сказать-то?

— Матвей, мол, кланяется. Лесному царю письмо написать надо. Корова пропала.

Разбудил Саввушка мельника, самому интересно, как это лесному царю письма пишут.

Серафим вышел на крыльцо, почесывая бока, поскребывая в бороде.

— Чего тебе, Матвей?

— Серафимушка, над детишками сжалься. Ждали-ждали молочка, чтоб вволю попить, маслица поесть, а лесной царь...

— Ти-хо!— рявкнул Серафим, испуганно оглядываясь.— Шепотом батюшку называй! Шепотом!

— Я шепотом! Прости, бога ради,— шепотом буду.

— «Буду»!— передразнил Серафим.— Точно ли потерялась корова? А то, может, кто загнал за потраву?

— По всей деревне пробежал — нету. Пастух-то наш, Митька, запил, коровы и разбрелись.

— Гляди, Матвей! В прошлом годе, помнишь, для Родиона письмо я писал, понапрасну потревожил царя лесного. Так Вихрь Вихоревич меня наказал, не Родиона. Крышу-то, помнишь, с мельницы вихрем сорвало?

— Помню, Серафимушка! Да ты не сомневайся — пропала корова.

— Ну, гляди, Матвей! На твоей совести будет. Найдется корова — за дровишками для меня съездишь.

— Да хоть два воза!

— Два так два. Я знаю, ты мужик старательный. Заходи в избу.

Савва про удочки забыл, пошел глядеть, как письмо будут писать.

Серафим принес из чулана кусок бересты, достал из печи уголь, попробовал, мягко ли пишет. Оглядел бересту со всех сторон, нет ли в ней изъянов каких. Сел за стол, на дубовый пенек, уголь взял в левую руку. И наотмашь, от себя, принялся чертить лесные дороги, тропы, лазы. На каждую кривую дорожку да тропку пошептал, чтоб корова на прямую дорогу вышла.

На другой стороне бересты Серафим принялся писать прошение, громко распевая слова:

— «Лесному царю Вихрь Вихоревичу прошение на корову Буренку. Чистое разорение нам пришло. У нас Буренку отпусти доброй волей, лесной ты царь, Вихрь Вихоревич. Мы покуды тебе ничего не думали сделать, а ты нам сделал. Пожалуй нас, отпусти Буренку. Если ты да не отпустишь, мы будем тебя тоже беспокоить, другое прошение писать. На этой стороне у нас корова жила, должна быть у тебя в руках. У тебя есть своя дорога, а крестьянская у нас своя, особенная, куда корову и пошли. Если ты сам по себе отпустишь, мы будем тебя подарить. Так ты отпусти, пожалуй нас».

Серафим перечел грамоту, остался доволен.

— Ну, пошли в лес!

— Пошли,— прошептал Матвей.

— А мне можно?— спросил Саввушка.

— Пошли и ты,— разрешил Серафим.

Светлым березовым лесом спустились в ложбину, продрались через орешник и вступили в дубовый бор.

Шли молча, лишь старая, напитавшаяся дождевой водой листва хлюпала под ногами. Деревья росли все

теснее, ветви переплетались над головой, и казалось — это лесные люди, водившие ночью хоровод, застигнутые петушиным криком, не успели развести рук и задеревенели, враждебные всему, что живет на свету, на солнышке.

Впереди шел Серафим, Саввушка последним. Вдруг крылья захлопали, Саввушка втянул голову в плечи. Матвей на коленки бухнул, закрестился.

— Во́рона испугались!— рассерчал Серафим, сам он и плечами не поежился. Обошли стороной болотце и очутились вдруг на перекрестке старых дорог, заросших травой, кустарниками березы, малиной.

— Как грамоту пришпилим, беги за нами, не оглядываясь!— предупредил Серафим Савву.— Оглянешься — зашибет.

Встали возле засыхающего дуба, лицом к дому. Серафим наотмашь водрузил письмо на сучок, и они тотчас кинулись бежать.

За ложбиной, в березняке, Серафим распрощался с Матвеем.

— Ступай теперь на большую лесную дорогу. Может, лесной царь смилостивится, отпустит Буренку. Вечером ко мне опять приходи, дам пастуху Митьке травку от запоя. А покуда Митька в себя придет, Саввушка за стадом походит.

— Премного благодарен!— Матвей поклонился мельнику до земли.— А ты когда, Саввушка, пасти начнешь?

Савва поглядел на мельника.

— Через пару деньков,— сказал Серафим.— Покажу тебе лес, чтоб не заблудился, и с богом. Поможешь людям. Теперь самый сенокос, а Митька меньше двух недель не гуляет.

Когда Матвей ушел, Серафим сказал Саввушке:

— Походишь по лесам да по лугам — скорее сила вернется. Для нашего дела тоже хорошо. Чтоб травы редкие открылись, каждый день в лесу нужно быть. Нужно, чтоб лес принял тебя... А теперь пошли для Митьки-пастуха травку поищем. Есть такая травка рахель. Толстая, мохнатая. Растолочь ее сушеную с муравьями — для мора сверчков и тараканов годится и от запоя лучшее средство.

Наголодался в тот день Савва, на закате только сыскалась трава рахель. Вернулись на мельницу, а Матвей уже поджидает. В ножки Серафиму кинулся.

— Спасибо, благодетель! Буренка сама в катух пришла!

4

Рыбу ловить — охотка, а коров пасти — дело. Савушка на ходу спал, собирая коров в стадо. В первый день в лес погнать не решился, погнал вдоль речки. День выдался жаркий, налетели слепни да овода. До упаду набегался за коровами.

Рассказал Серафиму, тот посмеивается:

— Видел, как ты пятками сверкал.

Отварил ведро шиповника.

— Побрызгай,— говорит,— на коров. Да и на себя. Не тронет овод.

И верно, другой день спокойнее прошел, а вечером новая беда. Прибежал мужик Родион с колом пастуха нового бить: у коровы молоко пропало.

Савва уже спать лег, вышел на крик, стоит зевает, ничего понять не может.

— Убью!— завопил Родион и колом замахнулся, а тут из мельницы Серафим вышел.

Глянул Родиону в глаза, тот выронил кол, сел на землю задом, будто за ноги его дернули.

— Из-за тебя, паршивый мужик, крышу новую пришлось перекрывать,— говорил Серафим, приближаясь.— Чего прибежал? Корова не доит?

— Твой выкормыш сглазил.

— Если ты еще раз прибежишь ко мне — утоплю!— тихо сказал Серафим.— Вот сейчас и утоплю. Вот она, водичка-то.

Родион вскочил с земли, запрыгал, скинул порты, побежал спасаться.

— Стой!— приказал Серафим.

Родион очнулся, увидел свой срам — натянул порты.

— Слышишь, прибежишь еще раз — утоплю!— пообещал скандальному мужику Серафим.

— Как не слышать!— повздыхал Родион.— С коровой-то что делать?

— Процеди молоко сквозь обручальное кольцо. Понял?

— Как не понять!

— А за мою доброту к тебе да за лечение коровы принесешь колобок масла.

— Как не принесть!— обрадовался Родион и пошел себе, оглядываясь через плечо на мельницу, щупая штаны: на месте ли? Чертов колдун и без порток всей деревне на потеху пустит.

5

— Любаша!— позвал он шепотом, чтобы не испугать.

— Спи, мой хороший! Спи!— Любаша не просыпаясь нашла и толкнула зыбку.— Спи, сынок! Скоро папа приедет.

— Да уж приехал!— прошептал Андрей, прикасаясь губами к губам жены.

Она открыла глаза.

— Андрюша!— И заснула крепким сном, как провалилась, а в другую минуту проснулась и обвила мужа руками, и гладила его, и смеялась, и тонула в слезах.— Господи! Да у тебя ворот от слез моих мокрый. Рубаху надо сменить.

Но Андрей не пустил.

— Молодец! Не пускай меня! Никогда не пускай от себя!— говорила она, себя не помня.

6

— А пошли-ка, зятек, сома ловить! Ради твоего приезда устраиваю пир на весь мир. У нас огромадный сом в реке живет, гусей лопает почем зря. Глядишь, купальщика какого утянет. Всех своих мужиков согнал я на реку, и теперь сом в заводи на мелководье за тремя сетями. В реку не уйдет. Сами будем с ним воевать.

Андрей загорелся сома изловить. В детстве пескарей да гольцов ловил. Поймал один раз леща, так до сих пор помнит: в полруки был лещ, а всей той руки семь или восемь лет.

Загонщики стояли вокруг заводи, поглядывали на солнце, трогали ладонями траву, вздыхали. Самый сенокос, а у барина каприз вскочил.

— Где?— спросил у мужиков Кудюм, подходя к сетям, отгородившим заводь от реки.

— Да тутось, у бережку!— Мужики принялись тыкать пальцами в воду.

— Мать честная!— увидал сома Лазорев.— С борова!

Кудюм скинул сапоги и кафтан.

— Так,— сказал он, разглядывая поле битвы.— Все лезьте в воду и гоните на нас. А мы, Андрей, хватаем его за жабры и тянем на берег.

Мужики полезли в воду, вода была где по грудь, где по колено. Побрели, хлопая по воде ладонями.

— Сужайтесь! Сужайтесь!— командовал Кудюм.— Андрей, я слева, у меня в левой руке сила, ты — справа. Идет! Иде-е-ет!

Кудюм опустил плечи в воду, изготовился схватить и схватил, но в тот же миг рыба-великан перевернулась в воде и шмякнула хвостом Кудюму по груди. Кудюм опустился под воду и булькнул. Андрей кинулся к нему, вытащил, но Кудюм встал на ноги и потряс головой:

— Оглушил. Совсем оглушил. Ну, погоди же! Топор!

— Топор барину! Топор неси!— загалдели мужики.

Объявились и топор, и багор. Багром вооружили Лазорева.

— Гони!— приказал Кудюм.— К тебе, Андрей, если пойдет, ты его багром. Сужайся! Сужайся!

— Идет!— закричал Андрей, вонзая с размаху багор в темное гладкое тело.

Багор вырвало из рук и закружило над водой, как палицу. Кудюм охнул и опять ушел под воду.

— Багром задело!— прохрипел барин, вытирая разбитую в кровь щеку.— Ну, я его теперь!

Кудюм кинулся по заводи, размахивая топором. Багор торчал над водой. Мужики шарахнулись по сторонам: не сом, так барин прибьет.

Раненый сом кровавил заводь, но сил не терял, а Кудюм еле выполз на траву.

— Мужики! Бей его! Коли!— отдышавшись, приказал барин.

Через полчаса сом лежал на берегу. Кудюм постоял перед ним, пнул, и тотчас сом ударил хвостом.

— Тварь живучая!— рассвирепел барин и с маху всадил топор в огромную усатую башку.— Ну вот, поймали.

И вдруг заметил, что Лазорева нет.

— Где зять?

— Ушел. Как все полезли с баграми в воду, он и ушел,— доложили дворовые мужички.— На кровь, говорит, не могу глядеть.

— Тоже мне поручик — крови испугался!— захохотал Кудюм и плюнул в перемешанную с поднятым со дна илом и кровью воду.

7

Только на третий день по прибытии поехал Андрей Лазорев к матери. Подарки, правда, поделил без оби-

ды: Любаше — шаль да туфельки золотые с носами загнутыми, и матери, Матрене Ниловне,— шаль и башмаки, мягкие, удобные. Кудюму феску подарил, кальян в серебре да ятаган еще с рукоятью в сердоликах, топазах, сапфирах. Кудюм доволен остался. Феску надел, ятаган на пояс нацепил, и кальян хоть кашлял, но курил.

Повинился Андрей перед матерью, что не к ней первой приехал, а Матрена Ниловна улыбается:

— Я, Андрюша, тому рада, что к жене приехал первее, чем ко мне. Значит, в любви да в ладу вам жить. Матери это самая большая радость.

— Я, мама, попрощаться приехал,— признался Андрей.— Меня в Туле обоз дожидается, чтоб вместе в Москву идти. Грека я одного ученого привез, древние книги.

— Ты имение-то поглядел, какое тебе принесла Любаша?

— Нет, мама, не был в имении. Отпустит государь со службы — тогда уж и погляжу, и делами займусь.

— А что, в чужих землях страшно?— спросила Матрена Ниловна, с восторгом глядя на сына, который не умер от страха в заграницах.

— Всяко было, мама! И страху натерпелся, и на чудеса нагляделся. Только люди, мама, такие же.

— Они ж басурмане!— удивилась Матрена Ниловна.

— Такие же, мама! Когда больно — плачут, а когда радостно — смеются. Все беды от хитростей боярских. И там тоже, как у нас: чем к царскому месту ближе, тем и подлости в людях больше.

— Перекрестись, Андрюша!

— Эх, мама! Я и перекрещусь, да царевых ближних людей ни крестом, ни чертом не испугаешь.

— Ой, Андрюша! Тревожно мне за тебя.

— Не тревожься, родная. Я помалкивать научился.

— Слава тебе господи! Да чего бы они там ни говорили — молчи! У тебя теперь жена-красавица, сыночек-кровиночка.

— Спасибо, мама, за науку,— поклонился Андрей Матрене Ниловне.

8

Кудюм поехал проводить Андрея до границы своих владений. Верхами ехали. Андрей спешил.

— Повидаюсь с Морозовым, тогда и приеду за то-

бой,— сказал Лазорев Любаше, прощаясь.— Пока служу, в Москве будем жить.

Переехали речку у мельницы, Кудюм самой короткой дорогой провожал Андрея.

Ехали впятером, с тремя слугами. Двое должны были проводить Лазорева до Тулы: на дорогах не больно-то спокойно.

Кудюм показывал Андрею свои владения.

— Рожь нынешний год — красавица. А погляди, овсы какие!— И тут Кудюм стал багров до черноты, как кровяная колбаса: на его чудо-овсах паслась корова.

Корова, видно, была блудливая. За ней, хлопая кнутом, бежал пастушок. Он больно протянул скотинушку жалом кнута, и корова, взбрыкивая, побежала к реке, к стаду, но Кудюм Карачаров был уже тут как тут, готовый вершить суд скорый и беспощадный.

Лазореву пришлось настегать коня, чтоб обогнать Кудюма, загородить пастушонка от смертельной угрозы.

— Слушай!— закричал Лазорев, спрыгивая с коня и обнимая помертвевшего от страха Савву.— Да ведь ты мой московский хозяин.

Подлетел Кудюм с дружиной и остановился, мрачно взирая, как его зять обнимается с пастушонком, которого надлежало убить до смерти.

— На одной печи спали!— радостно объяснял Кудюму Лазорев, а сам тормошил паренька.— Гляди-ко, вырос! Большой совсем. Кудри-то — пропадать девкам! Ну, рассказывай. Где братья, сам почему из Москвы ушел? Я ведь потом жил в вашем доме.

— А другой брат не приходил?— спросил Савва с надеждой.

— Один я жил. Вы-то куда девались?

— Ушли меньшого брата искать. По монастырям ходим — пропал и пропал.

— Вертаться-то думаете?

— Болел я, зимой под лед провалился. Наберусь силенок — на Соловки пойдем, а потом — в Москву, будем дома брата ждать.

— Вот мне и пристанище на первое время! У них хороший дом со службами!— объяснил Лазорев Кудюму.— Ну, прощай! Саввушкой, помню, звали?

— А тебя — Андреем.

— Прощай, Савва. До встречи под колоколами матушки-Москвы. Вернешься в стольный, меня отыщи обязательно, чем могу — помогу.

Ускакали. Последним, оглядываясь недоверчиво, недобро, ехал Кудюм Карачаров.

9

Савва все время жил вдали от женщин, но уже думал о них. Знал, что женщины — вместилище ада: так говорили о них монахи. Одни беспощадно и сурово говорили, другие — как бы вспоминая что-то непонятное и чудесное.

Напуганный встречей с Кудюмом Карачаровым, помня, как он все оборачивался, Савва стал гонять коров в лес, с глаз долой.

В то утро он услышал разговор мельника со старшим братом, вернее, подглядел нечаянно.

— Оставь мне паренька,— говорил Серафим, приперев названого брата Саввушки к мешкам с зерном.— Хочешь, денег дам. Много тебе денег дам. Оставь.

— Мы-ы-ы!— мычал скорбно и грозно старший названый брат.— Мы-ы-ы!

Слезы стояли у него в глазах. Савва прибежал на мельницу спросить, но о чем — забыл; сиганул за угол, спрятался за домом, отдышался и, пригибаясь словно воришка, пошел в село собирать коров.

Гнал стадо через лес, словно от погони спасался,— думки так и порхали. Горько было покидать мельницу, доброго колдуна Серафима, но лето уже вовсю жарило — теперь не пойти, поздно будет о Соловках думать.

Далеко угнал Савва коров, на какое-то озерцо вышел. Трава здесь была добрая, коровы принялись наедаться после быстрого и долгого перегона, а Родионова шалая — хвост трубой и бежать. За коровою бык. Савва не понял, погнался за ними.

А у них на другом берегу, на самом солнцепеке, коровья любовь случилась. Савва стоял глядел, все ли у них так, как нужно, чтоб Родиону доложить: огулялась, мол.

И вдруг за спиной охнуло.

Оглянулся Савва — голая баба за ветку двумя руками вцепилась и словно бы вот-вот рухнет замертво.

У парня ноги так и пристыли к земле, в глазах — бело да розово.

— Ну, подойди же ты!— охнула баба, падая в одуванчики.

Савва послушно подошел, глядя, как летит пух с цветков.

Баба поднялась, взяла его, положила на себя, руками где-то поелозила и потом все делала сама, тихонько охая и постанывая. Савву вдруг кинуло в пот, он запылал да тотчас и сгорел весь.

— Молоденький-то какой!— умылась слезами баба.— А все равно спасибо тебе, Лелюшка.— Она убрала ему со лба кудри.— Дай на тебя погляжу! Отслони руки, человеческие радости богом даны. Врут, что сатанинское это дело.

Она сама отвела его руки от лица. Савва лежал так, словно его спеленали. Он бы и не смотрел, но глаза сами глядели. Ни одной морщинки не было на лице женщины, ни одного пупырышка — снежный лик. Глаза большущие, серые, и что-то в них дрожало изнутри, билось, как звезды горя. Теперь эти глаза за плечами будут стоять, смотреть, как он живет.

— Какой же ты красивый!— Она сильно и больно поцеловала его, и они снова рухнули в горячий туман, а потом Савва уснул вдруг.

Когда он открыл глаза, перед ним стояла монахиня. Савва вскочил.

— Чего испугался?— засмеялась, оправляя волосы.— Я невеста господня, да не своей волей. Это бог дал мне тебя. Я столько лет молилась, постилась... Приходи завтра, Лель, и послезавтра... Я сюда купаться хожу. Единственная моя радость — вода. Прощай.— Она пошла, но обернулась.— Придешь?

— Приду,— сказал Савва, не поднимая головы.

10

А на другое утро она сказала:

— Лелюшка мой! Я ведь боярыня, только, знать, счастье у людей не местничается. Вот одно у нас оно с тобой на двоих. Да какая бы мне жизнь ни была уготована — будешь ты моим светом до смерти.

Савва не знал, что сказать, положил голову на теплые груди ее, вдохнул воздуху и удивился:

— Мама так пахла!

Засмеялась монахиня, повалила его в траву, залюбила, занежила.

В тот день из Саввушкина стада медведь корову задрал, ту самую, на которую прошение лесному царю писали.

Что пастушок против медведя! Мир Савву не осудил. Пошли мужики в лес с косьем да с рогатинами, не нашли медведя, на следы нападали, а куда ведут — не разобрались.

Мельнику Серафиму опять работа. Матвей ревмя ревет: жара, и корова пропала, и мясо непосоленное, пропадет же. Соли в казне много, да дешевле новую корову купить.

— Надоумь, Серафимушка!— плакался Матвей.

— Копти мясо, вяль, золой присыпь. В золе есть немного соли.

— О проклятые бояре! Проклятый Морозов! Долго ли он будет людей мучить?— ругался на всю деревню Матвей.

Не успела за Матвеем дверь закрыться, жена его прибежала с девчонкой: таракан в ухо заполз. Кричит, бедная, криком.

Развел Серафим три золотника соли в двух ложках воды и залил в ухо.

— Ну, теперь таракан уходится. Ступайте с богом!

Недели не прошло — похоронили девчонку: уходилась вместе с тараканом.

Страшно стало Савве у мельника жить. Старший брат названый глядел на него вопрошающе, но не мог парень расстаться с тайной лесного озера. Чуял беду, а предать любовь монахини не смел, на одно и то же место гонял скот.

— Пастух Митька в образ человеческий пришел!— сказал однажды Серафим.

Защемило сердце у Саввы, но тотчас парень сообразил — на озеро можно и без коров бегать.

11

И настала купальская ночь.

— Пошли!— разбудил Серафим Савву. Парень второй день как передал стадо Митьке, но от привычки рано ложиться не отстал еще.

Ночь теплая выдалась, светлая. Прошли вдоль поля, вспаханного под пар. Серафим сорвал здесь несколько пучков травы — высокой, с иголочками.

— Кавыка,— объяснил он Савве,— скоту для спокойствия хорошо привязывать.

Долго шли ложбиной. Сюда коров Савва не гонял. Поднялись на пригорок. На опушке мельник собирал траву рясну

— Видишь, кусточками растет, синенькая. Жене спящей в головы положи — все секреты выскажет, не просыпаясь.

Стемнело.

Сели под трехстволой березой. Эта береза до того зажилась, что не могла стоять прямо, двумя согнутыми стволами она упиралась в землю, словно на руки. Третий ствол тоже извихлялся весь.

— И на старика похожа, и на птицу,— сказал Савва.

— Хорошее дерево,— согласился Серафим.— Я в прошлом году разговор березовый подслушал.

— Это как же так?— изумился Савва.— Неужто деревья по-людски говорить могут?

— Могут, Савва. Они ведь тоже не хуже нас! Живые они. Сел я вот так, находился за ночь, и слышу— одна береза говорит другой: «Пошли бабушку хоронить». А моя береза, под которой сидел, отвечает: «Не могу. На коленях божий раб сидит». Напугался я, ушел из лесу без нужных трав.

— А какие нужные?

— Да всякая бывает нужна. А дороже всех — трава арарат. Она ключ ко всем чудесным травам.

— А у тебя такая есть?

— Своей не нашел. Отцовской пользуюсь, да уж силы в ней нет.

— Скажи, дядя Серафим, а есть такая трава, чтоб выпили все отвару и всем бы стало хорошо: и тебе самому, и прочим людям, которые разного хотят, совсем другого?

— Ох, Саввушка!— вздохнул мельник и положил легкую свою руку на его голову.

Спать хочется,— сказал Савва и задремал, прислонясь спиной к старой березе.

Почудилось, что у Серафима крылья совиные отросли, нос клювом обернулся, глаза стали птичьи, круглые, с искрой, а его лицо на грудь переехало, словно на рубаху пришил.

Очнулся Савва — солнце над лесом. Серафим сидит рядом, травы разбирает.

— Проснулся? Ну, пошли домой? У меня в животе утка крякает, до того есть хочется, да спал ты больно хорошо.

А мне есть не хочется. Пойду-ка я поброжу по лесу, грибов наберу.

Ну, ладно,— согласился Серафим.— Вот тебе моя

корзинка. Травы я уже разобрал и в суму положил Долго-то не гуляй.

— Я быстро,— пообещал Савва.

12

Монахиня ждала его.

— Прилетел-таки, сокол мой! Заждалась я тебя. Когда уходишь?

— Не могу от тебя уйти.

— А ты уйди! Да только вернись. Хоть через год, хоть через десять лет, но вспомни меня и вернись.

— Я даже имени твоего не знаю.

— Я и сама забыла имя свое. Инокиню Гликерию спросишь.

— Я клянусь, что приду,— встал перед нею на колени Савва, потянулся к ней, но она его отстранила.

— Нельзя ко мне нынче. Да так и лучше. Не последнюю встречу будешь помнить, а все сразу.

— Почему же нельзя?— взмолился Савва.

— Глупый. Совсем ты бабьей жизни не знаешь. Крестик я тебе принесла.

Он опустил голову, и холодная цепочка обожгла ему шею. Он увидал: крестик золотой с зелеными капельками изумрудов.

И вдруг из лесу вылетела свора собак. Савва вскочил, ища спасения, но и палки рядом не оказалось. Он успел схватить корзину, ткнул корзиной в морду здоровенному рыжему псу.

— Ату его! Ату!— бесновался Кудюм Карачаров, выскакивая из леса.

Барин охотился на медведя, а попалась ему разлюбезная добыча.

Собаки рванули Савву за штаны, хватали за икры. Бело-черный пес прыгнул ему на спину, метя перегрызть позвонки на шее. Савва стряхнул с себя собаку и, толкнувшись что было силы ногами, спиной прыгнул в воду. Он нырнул в самую глубь. На спасение, глубокое было озеро. Под водой поплыл к берегу, помня, что возле их рыбного места торчала коряга. Он нашел корягу, вцепился, потянулся лицом к воздуху. И опять повезло: под корягой была пустота.

Лаяли псы, галдели охотники.

— Где он?— перекрывая всех, крикнул Кудюм.

— Должно быть, утопился,— сказал человек из ку-

дюмовской дворни. Он стоял на коряге и разглядывал кровавое пятно, всплывавшее из воды.

— Монахиню в монастыры! Ишь, нечестивец, на саму Гликерию напал, пусть раки его высосут. Не покусали инокиню-то?

— Покусали. Перевязываем.

— Покусали! Я на кого велел псов пускать? На нечестивца!

Кудюм направо и налево потчевал плетью своих слуг.

— Не всплыл?— спросил он стоявшего на коряге.

— Не видать.

— Одним меньше!

С лаем и гомоном охота потонула в лесном тихом шуме.

Ночью Савва приполз на мельницу. Мельник Серафим обработал раны, спрятал в потайном чулане, на мельничном чердаке.

Старший брат приходил спать к нему. А на третью ночь не пришел.

Он прибежал, когда прокричали третьи петухи. Растолкал, потянул с чердака вниз. Савва понял — надо идти.

Небо было багряное.

— Карачарово горит!— сказал мельник Серафим.— Вот тебе дорожная сумка, Саввушка. В ней всего понемногу. Присядем.

Сели на пороге. Савва поглядел на старшего брата, кивнул на зарево, старший брат сердито отвернулся.

— С богом!— сказал Серафим.

Старший брат сразу пошел, а Савва постоял, поглядывался, заплакал вдруг и, припадая на обе истерзанные ноги, побежал его догонять.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

1

Сосед Аввакума Сенька Заморыш нашептывал девяностый псалом: «Живущий под кровом всевышняго под сению всемогущего покоится... »

Прочитал Сенька Заморыш псалом три раза кряду, согнул перед иконой свечу и зажег посредине, нашептывая:

— Как свеча согнулась, чтоб и им так же согнуться

— Да ты, Сенька, колдун!— ужаснулся Аввакум.— Я стою, радуюсь. Думал, Сенька молитвенником стал, а Сенька беду на ближнего ворожбой кличет!

Вырвал поп свечу, раздавил в кулаке, а потом поднял Сеньку, как нашкодившего щенка, вынес на паперть, выбросил и руки вытер.

Людей на обедне было мало, служба кончилась, прихожане расходились по домам.

— Слово сказать хочу, односельчане!

Аввакум погнал свое стадо от дверей в храм.

— Да как же это вы живете? Да поглядите вы на себя!— накинулся поп на своих духовных овец.— Лукерья надысь Агафьиных цыплят заманила в корыто с водой и утопила всех. Потому-де у Агафьи куры вдвое несут яичек, чем у нее, у Лукерьи. Митрофан печку Втору с «бесами» сложил: Втор поднес Митрофану четверть зеленого вина, а Митрофан целое ведро просил, вот и устроил каверзу — между кирпичами бутылку замуровал. О люди, люди! У Васьки Мишка собаку уморил, Васька у Мишки за собаку погромил ульи. Полька била Наташку за жениха, Наташка у Польки корову тайно выдаивала, прямо на землю. А теперь и в церковь не к богу идут, но чтоб творить порчу. Опомнитесь! Вы же люди! Звери и те так не живут промеж собой. Господи, да полюбите же вы сами себя, люди!

Аввакум, обливаясь слезами, встал на колени, и прихожане тоже молились и плакали. Отпуская их с миром, Аввакум спросил:

— Почему сегодня мало пришло в храм?

— Скоморохи с медведями объявились,— ответили Аввакуму.

— Да какой же я пастырь, если мои овечки бога на шутовство променяли?!— вскричал Аввакум, разоблачился и, подхватив в церковном дворе дубье, побежал к скоморошьему стану.

А прихожане кинулись за попом — поглядеть, что будет.

Скоморохов было пятеро: муж, жена, два сына-подростка и девочка. Подростки играли на домрах, девочка била в бубен, муж водил медведей, а жена, меняя хари, собирала приношения. Медведи были старые, один ходил на задних лапах, а другой притворялся мертвым.

Зрители увидали своего попа, удивились; скоморохи примолкли, одни медведи продолжали представление.

Аввакум ворвался в круг и со всего плеча хрястнул медведя, ходившего по кругу. Удар пришелся по морде, в самый пятачок. Медведь рухнул, закружился на одном месте, заревел и затих. Зрители кинулись кто куда. Побежали, бросив свое нехитрое имущество, и скоморохи. Аввакум снял цепь с медведя, который умел притворяться мертвым, стукнул его дубиной по заду. Медведь рявкнул и побежал в лес спасаться.

— Гей! Гей!— кричали косолапому вслед прихожане, которых Аввакум привел с собой из Лопатищ.

— Чтоб духу вашего здесь не было, бесовское отродье!— кричал Аввакум, топча брошенные маски.

Толпа погналась за молодыми скоморохами, догнала, отняла бубен и обе домры. Трофеи принесли Аввакуму. Он расколотил их своей дубинкой и с победой вернулся в Лопатищи.

2

Воевода в Лопатищах сменился. Нового звали Евфимий Стефанович. Был он прежнего потише, но Аввакума невзлюбил не хуже Ивана Родионовича. Изгнание ничему не научило Аввакума, он по-прежнему обличал власти, и те только и ждали случая отыграться. Теперь случай приспел, и воевода с дружиной пришел к дому Аввакума.

— Выходи, поп!— приказал Евфимий Стефанович.— Выходи и отвечай за свои бесчинства.

Аввакум выставил в окошко пищальку:

— Раньше у меня нечем было себя защитить, а теперь есть. Подойдете к дому — стрельну.

— Зачем ты медведя убил, а другого в лес пустил, и домры, и хари, и бубен поломал?— спросил воевода.— Что тебе люди плохого сделали?

— Скоморошьи игрища отваживают людей от дома божьего!— крикнул Аввакум.— Со всякими скоморохами так будет, если посмеют в Лопатищи прийти.

— Выходи, поп!— приказал воевода.— Добром выходи. Заплати людям за разор, какой ты им учинил. Не выйдешь сам — силой выволоку.

Аввакум выставил свою охранную грамоту.

— Мне эта грамота царским духовником дана, Стефаном Вонифатьевичем. Царский духовник велит искоренять скоморошье семя.

— Нам про то не ведомо!— отвечал воевода.— А ну, ребята, стреляй по нему, коли он власти не подчиняется.

Аввакум грамоту убрал и крикнул своим:

— Марковна, под печку с детишками полезай! Стрелять нас хотят!

И точно, стрельнули. Раз, другой. Да еще два раза.

— На приступ!— приказал воевода.

Стрельцы принялись ломиться в дверь, загороженную бочкой с огурцами.

— Господи! Укроти воеводу!— вскричал Аввакум, выбил окошко, выходившее на огороды, и помчался в лес, точь-в-точь как медведь давеча бежал от его собственного неистовства.

Ломился сквозь чащобу, пока ног в болоте не замочил. Опомнился.

Испугался, как бы с Марковной да с ребятами чего плохого не сделали.

Долго выглядывал, стоя за деревом, засаду. Выглядел Семку Заморыша. Тот чучела на огороде мастерил.

Подобрался Аввакум к Семкиной изгороди, показался ему.

— Ушли, твоих не тронули,— сообщил сосед и позлорадствовал:— Ты меня срамил в церкви, а я свечу против воеводы ставил.

— Молчи!— залютовал Аввакум.— Молчи, пес! Я на тебя такую епитимью наложу — запищишь. Тебя же на костер, дурня, за такое взгромоздят. Или на Соловки сошлют.

— Батюшки!— ужаснулся Семка.

В доме всё на месте, не побито ничего, не поломано. Марковна укачивала маленькую. Старший сын спал.

Аввакум сел на лавку да и вдарился вдруг лбом об стол:

— Никакого покоя вам нет от меня!

Марковна качнула зыбку посильней, а сама подошла к Аввакуму:

— Не казнись, Петрович. За Христово дело страдаешь.

— Марковна, две тыщи поклонов сегодня же отобью! Видно, сама матерь божия послала мне тебя в жены.

Тотчас и стал на молитву.

А ночью к ним забарабанили. Вооружившись пищалью, Аввакум пошел к двери:

— Кто?

— Батюшка государь Евфимий Стефанович кончается. Кричит: «Дайте мне батьку Аввакума! За него меня бог наказует!» Не держи сердца на воеводу, батько Аввакум, приди к нему в дом с миром.

— Оденусь и выйду!— крикнул Аввакум, а сам, затаясь, припал к щели, выглядывая, много ли за ним людей пришло.

— Кто там?— спросила Марковна, уже на ногах и одета и детей готовая в охапку сгрести и бежать.

— К воеводе домой зовут. Говорят, при смерти.

— Так ступай! Может, и отпустит болезнь.

Аввакум поставил в угол пищаль, оделся, поцеловал Марковну и детишек, пошел двери отворять. Отворял, возглашая:

— «Ты, господи, изведый мя из чрева матере моея и от небытия в бытие мя устроил! Аще меня задушат, а ты причти мя с Филиппом, митрополитом московским, аще зарежут, и ты причти мя с Захариею пророком, а буде в воду посадят, и ты, яко Стефана пермского, паки свободишь мя!»

Высокого святого подвига жаждал молодой поп, но ничего дурного с ним не произошло. Стрельцы посадили его в телегу, домчали до воеводских хором. У ворот Аввакума ждала Неонила, жена Евфимия Стефановича. Ухватилась за руку, запричитала:

— Поди-тко, государь наш батюшко, поди-тко, свет наш кормилец!

Аввакум руку выдернул. Не стерпело сердце, выговорил воеводской бабе:

— Чудно мне что-то! Давеча был блядин сын, а топерева — батюшка! Праща Христова до любого достанет: скоро твой муж повинился.

Аввакума ввели в горницу. Воевода увидал его, соскочил с перины, в ноги повалился:

— Прости, государь, согрешил перед богом и перед тобой!— А самого колотун бьет.

— Восстань, бог простит тебя!— возгласил Аввакум, поднял больного на руки и отнес в постель.

Исповедал. Помазал священным маслом, всю ночь молился с домочадцами воеводы за здравие раба божьего Евфимия.

Домой Аввакум вместе с солнышком вошел. А у Марковны и щи уже сварены, и скотам корму задано, и чулок связан аршина в три длиною.

— В Москву надо уходить,— сказал Аввакум.— Только в Москве и можно жить правдой на Руси. В

любом другом углу — нельзя. Убьют. Ох, вспомянул бы меня Стефан Вонифатьевич!

3

Но Стефану Вонифатьевичу до самого себя было дело — родной дядя царя, сам Семен Лукьянович Стрешнев, в застенках Сыскного приказа держал ответ перед Алексеем Никитовичем Трубецким да перед Григорием Гавриловичем Пушкиным. А спрашивали его об одном: зачем он, Семен Лукьянович, знался с ведуном Симонком Даниловым, принимал его у себя в деревне Черные Грязи и в селе Коломенском?

Семен Лукьянович сначала заперся, да к нему подступились как к супостату. Признался, что Симонок лошадей лечил. И людей тож! Изгонял дьявола наговоренными травами.

С пристрастием спрашивали Трубецкой и Пушкин, допытывались, не Симонок ли испортил царскую невесту Евфимию Федоровну? Один колдун, насылавший болезнь на царскую невесту, был уже найден. И кто бы мог подумать — на дворе Никиты Ивановича Романова. Найден, бит, жжен огнем и сослан на исправление в Кириллов монастырь. А Кириллов монастырь был в руках Бориса Ивановича Морозова.

Ох, за самого себя болеть нужно было протопопу благовещенскому: страшные две силы сошлись, между ними стоять — раздавят. Принять без оглядки сторону Морозова — сегодня больно хорошо, а что завтра будет? А ну как восстанут Стрешневы в прежней своей силе? Ужом вился протопоп Стефан Вонифатьевич.

Братья Семена Лукьяновича, Иван-большой да Иван-меньшой, домогались видеть Алексея Михайловича, а Морозов не допускал. Братья — к царскому духовнику, а протопоп утешительные песни мурлычет, но глазами в пол:

— Рад бы сердечно свидание устроить, но сам какой уже день видеть пресветлых государевых очей не удостоен. На охоте забавляется, в Хорошове.

4

Алексей Михайлович и вправду с соколами тешился... на днях, но теперь он был у себя на Верху, со своими карлами да бахарями.

Домрачеи, плясуны на канате — мотальники, масте-

ра играть на рожках, свирелях были уволены с царской службы, отпущены из кремлевского дворца на все четыре стороны. Царский двор все больше и больше походил на чрезмерно богатый монастырь.

Вдруг полюбились государю Алексею Михайловичу притчи да сказки про богатырей, рыцарей, про эллина Александра. Любимое слушал по многу раз.

Древний старик, побывавший в Царьграде, рассказывал ему теперь о Дигенисе Акрите.

— Охотник он был горячий, как ты, великий государь,— вспоминал дедок легенды о византийском витязе.— Только ты все больше с птицами охотишься, а Дигенис никаких помощников не признавал. Ага! Хоть лев ему, хоть олень — побежит за ними и добудет. И упаси бог, чтоб собак с собой взять или ученых леопардов! Даже на коня не садился, меча или копья с собой не брал — на одни руки надеялся да ноги.

— В какие же времена жил сей великий муж?— Алексей Михайлович разгреб руками карлов, чтоб перед глазами не мельтешили, не мешали слушать.

— Так в давние!— сказал дедок, удивляясь вопросу.— Все ирои жили в давние времена. Те времена — теперешним не чета.

— Ты про Дигения-то расскажи!

— Про Дигения? — Дедок улыбнулся неземной своей, слабой, как сумеречная тень, улыбкой.— Так его не Дигений звали. Его звали Дигенис Акрит!

Старик задумался, и все ждали, потому что Алексей Михайлович глядел на старика затаив дыхание. Пелена, застилавшая мозг старого человека, развеялась на миг, и дедок прочитал стихи:

— Конец бесчинствам агарян он положил кровавым. И города опустошил, и власть над ними принял...— Пожевал губами, опустил голову.— Все забыл.

— Ну, пожалуй нас, дедушка! Вспомни!— взмолился Алексей Михайлович.

— Невесту он себе добывал!— обрадовался дедок.— В ромейской земле был стратиг Дука, и дочь у него — звали Евдокия. Была она дивной красоты. Дигенис увидал ее и был поражен в самое сердце. Он ее выманил игрой на кифаре и бежал с нею. Дука послал в погоню за ним войско, но Дигенис один убил всех. Император Василий взял его на свою службу и подарил ему царские одежды.

Дедок замолчал, и было видно, что надолго.

— Мне бы такого героя!— воскликнул Алексей Ми-

хайлович.— Эх, был бы у меня хоть один истинный герой!

— А я умею колдунов распознавать!— грянула басом карлица Верка.

— Ну, скажи,— разрешил государь, теряя интерес к своим забавным человечкам.

— Нужно угол скатерти загнуть, и колдун ни за что не сядет за стол.

— А можно ухват рогами кверху перевернуть, и колдун тотчас убежит из избы,— пропищал молоденький карлик.

— Если колдун сидит на лавке, в подполье под ним втыкают нож, приговаривая: «Не в пол втыкаю, а в сердце колдуна». Колдун ни за что с места не сойдет,— тараторили государю в самое ухо.

— Когда колдун грозится, его нужно в губы ударить, чтоб кровь пошла. Тотчас забудет свой наговор,— сказал сидевший рядом с государем Василий Босой.

— Поговорить мне с тобой надо,— громко сказал Алексей Михайлович, и карлов словно ветром унесло.— Скажи мне, Вася, что со Стрешневыми поделать? Ведь они родные дядья мне. Слыхал про кравчего моего, про Семена Лукьяновича? В ворожбе уличили.

Васька Босой сердито тряхнул цепями:

— Когда бьют, и бессловесная скотина мычит.

— О чем ты, Вася?

— Далеко не отсылай Стрешневых. Пожалей ради матушкиной памяти.

— Добрый ты, Вася! Мы с тобой всех жалеем, да нас-то — не больно!

— Доброе дело на небесах зачтется,— набычил голову Василий Босой.— Помни это — на небесах.

Ивана-большого отправили воеводой в Чебоксары. Ивана-меньшого — в Козьмодемьянск, Семена Лукьяновича — в Вологду. Стрешневы пали. В июне.

15 августа 1647 года Леонтий Стефанович Плещеев был назначен судьей Земского приказа.

5

На крыльце приказа, на ступенях, в два ряда стояли писцы, молодшие подьячие, старые подьячие. Чем выше,

тем значительней, а на самом верху, у дверей, ожидали приезда нового судьи дьяк Петр Михайлов и товарищ судьи Иван Федорович Соковнин.

Леонтий Стефанович приехал в стареньком крытом возке, на доброй серой лошадке, но выходил из возка долго, ноги ставил осторожно, словно из высокой кареты выходил, словно пузо ему мешало, а пуза не было, и жира не было, была непонятная пока что игра.

Лицом костляв, телом сух, глазами пронзителен, Леонтий Стефанович направился к ожидавшим его приказным людям по-стариковски.

Ставил ноги как-то в стороны, словно бы чирей у него на заду сидел или уж оскользнуться боялся. Шел и уже издали взмахивал приветливо рукой, и улыбался, и кивал дружески.

К нему пошли с хлебом и солью, но, опережая процессию, из толпы зевак пал ему в ноги проворный человечек, которого Леонтий Стефанович узнал, но вида, конечно, не подал. Это был Втор, тот самый, который во Владимир ездил помогать Траханиотову и был не последним исполнителем многих тайных и темных плещеевских делишек.

— Под твоим началом хочу служить, благодетельнейший Леонтий Стефанович!— закричал Втор.— Смилуйся, пожалуй!

Леонтий Стефанович остановился, подумал и весело засмеялся:

— Быть по-твоему, ибо ты — первый мой проситель.

Каждому писарю судья покланялся, а с дьяком Петром Михайловым и с Иваном Федоровичем Соковниным облобызался.

Чинно вошли в приказ, и тут Леонтий Стефанович, вставши посреди палаты, объявил:

— Бумагами сегодня шуршать недосуг! Гляньте в окна! Что зрите? Стрельцов. Каждому подьячему под начало десяток — и айда по Москве подбирать пьяных. Всех, кто до дому не дошел, в тюрьму. А коли будут откупаться — деньги брать. Срамоты сей я на московских улицах чтоб больше не видел!

...На следующий день новая затея.

— Поубавилось пьяных-то после вчерашнего нашего радения?— спросил приказных Леонтий Стефанович.— А теперь другим займемся. Ступайте все в кремлевские кладовые, там вам дадут кафтаны, в которых посольства встречаются. Оденетесь — будете гулять по Москве, вас

будут грабить, а мы будем грабителей тех ловить и тащить.

За два дня и две ночи в земской тюрьме сделалось невыносимо тесно: пособирал удальцов Плещеев. Корму сидельцам приказал выдавать по сухарю на день, а на третью ночь сам пришел в тюрьму и сказал:

— Господа разбойники, поговорите меж собой, и я тотчас отпущу на волю семерых. Эти семеро пойдут и принесут мне по сто рублей каждый. За это половину из вас я отпущу. А если кто из семерых не воротится, того я тотчас изловлю и прикажу с обманщика содрать кожу. На чучело — других обманщиков пугать. А приду я к вам за деньгами утром, по солнышку.

Сказал, отпустил на волю семерых и ушел.

6

Вернулись трое. Один принес сто рублей, другой — только сорок, а третий — девять рублей с алтыном.

Плещеев деньги пересчитал, повздыхал и сказал такие слова:

— Тому, кто все сделал по моему слову, будет от меня награда, кто вполовину постарался — и моя милость вполовину, кто исполнил мое слово на десятую часть, но вернулся, тоже будет пожалован.

Тут велел Леонтий Стефанович принести себе стул, а палачам — изготовить инструменты. Сел на стул и задремал.

Московские разбойнички к такому обхождению непривычны были. Кто-то свистнул, но свистуну тотчас заткнули рот: поглядеть хотели, каков Леонтий Стефанович шутник.

Едва судья задремал, отворились двери, и стрельцы втолкнули сразу двух ослушников. Палачи тотчас связали их и положили на лавки — Леонтий Стефанович посапывал.

Опять отворилась дверь — появился третий ослушник.

Трое одного не ждут,— сказал судья, просыпаясь. Кинул палачам свой посох.— Пусть троица поконается. Кому за посошок ухватиться не выйдет, с того и спрос будет.

Поконались. Здоровенный детинушка и так и сяк старался ухватить едва видимую пуповку набалдашника. Не ухватил.

— Подвесить его!— приказал Леонтий Стефанович.

Палачи за руки и за ноги подвесили детинушку на ременных петлях к крюкам.

— Сдирайте с него кожу!

Ледяные мурашки стукались об пол тюрьмы.

— Леонтий Стефанович!— взмолился один из четверых палачей.— Мы и колесуем, и четвертуем, языки рвем, клейма выжигаем, а чтоб кожу драть с живого человека — такого не умеем.

— Что ж мне, вас в заграницу посылать на ученье?— Леонтий Стефанович, словно кошка перед собакой, спину выгнул, со стула соскочил и — к дверям:— Стрельцы!

Ворвались стрельцы.

— Палачам за ослушание по сорок плетей!

— Смилуйся!— ударился в ноги Плещееву молодой кат.— Я-то ладно, а батюшка мой не вынесет сорок плетей. Я обдеру татя, только от казни освободи.

— Ступайте, стрельцы!— разрешил Леонтий Стефанович, сел на стульчик и вдруг заорал на татей:— Всем глядеть! Палачи! Кто отворачиваться станет — бейте кнутами, а кто глаза станет закатывать — водой отливайте!

Началась казнь. И невесть кто больше заходился в крике: мучимый, неумелый мучитель, которого тоже окатывали ледяной водой, или зрители.

И когда наконец все кончилось, тюрьма была зловонным гадюшником. Тюремные сидельцы икали, все икали, и были они как скоты, ползали по загаженному полу и лакали из лужиц воду, чтоб унять разрывающую нутро икоту.

— Тех татей, которые принесли сполна,— раздался спокойный голос Леонтия Стефановича,— отпустить с миром. Им разрешено промышлять в самом доходном месте Москвы. Да только без убийств! Глядите у меня! Те, кто принес половину, пусть дадут сполна, что просил, а покуда будут сидеть. Те, кто обошелся десятой частью,— принесут мне сто сорок рублей. А все остальные двести. Не выпущу, пока не соберете просимое. Кланяюсь вам, господа!

И Леонтий Стефанович удалился.

— Ну вот, женушка! Считай!— Плещеев высыпал на стол целую суму́ денег.

— С почином тебя, родимый!— Супруга благодарно

обмерла у мужа на шее, а потом к иконам подвела и помолилась.— А ты что лба не перекрестишь?

— Рука в плече болит,— солгал Леонтий Стефанович, страшно ему было перед иконами, так и думалось: перекрести он лоб — отсохнет рука или отпадет напрочь.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

1

Государь играл с Афонькой Матюшкиным в тавлеи. Играли на щелчки. Афонька выиграл и сгорал от стыда: одно дело, когда детьми играли, а как теперь быть?

— Ну, чего ты пыхтишь, щелкай скорей — да еще сыграем!— государь, набычась, подставил лоб.

Афонька щелчок готовил всерьез, а бил, едва касаясь, и все вздыхал:

— Промахиваюсь что-то!

— Совсем щелчки бить разучился!— укорил его Алексей Михайлович.— Вот мне придется, уж я тебе покажу, как щелчки бьют. Бей, бей, не жалей, ругаться не буду!

Следующую партию Афонька проиграл.

— За то, что жалел меня, вот тебе!— щелкал немилосердно своего стольника Алексей Михайлович.

Когда пришел в царевы комнаты Борис Иванович Морозов, у обоих игроков лбы были в красных пятнах.

— Ступай к охоте стряпню готовить!— отослал Алексей Михайлович Афоньку.— На медведя, Борис Иванович, затеялись идти.

— Мужская охота,— похвалил ближний боярин, а оставшись с воспитанником один на один, заглянул ему в глаза.— Ну, что же ты все грустишь, Алешенька?

— Евфимушку не могу забыть!

— Ах, господи! Ах, господи!— Борис Иванович обнял государя и заплакал, оба заплакали.— Алешенька, родненький, время все боли врачует. Сам знаешь, государевы детки должны быть и умом сильны, и телом. Не кручинься, бога ради. Я тебе такую красавицу присмотрел.

— Не хочу,— Алексей Михайлович отстранился от Бориса Ивановича. — Молчи о невестах. Слышать не желаю. За каким делом пожаловал, говори?

— Великий государь, крымский хан Ислам Гирей

ходил в поход на Польшу. Татары в его честь песни слагают. А теперь хан на Руси кусок ухватить зарится. Казаков на Дону он крепко пощипал. Надо им помогать.

— Я казаков люблю и жалую,— сказал Алексей Михайлович.

— У меня в Царьград человек один ходил Тимошку Анкудинова уговаривать, чтоб тебе покорился. А Тимошка нашкодил и ныне у султана Ибрагима в тюрьме сидит. Так вот того человека, Андрейку Лазорева, я хочу послать с драгунами на Дон. Дадим ему под начало иноземных офицеров, пусть соберут полк да прищемят Ислам Гирею хвост.

— Ты же все сам знаешь, Борис Иванович! Ты плохо не сделаешь,— сказал Алексей Михайлович.

— Тревожусь я за южную границу, великий государь,— признался Морозов.— Султан ныне в Турции дурной. Не затеял бы большую войну, спасаясь от внутренних неурядиц.

Алексей Михайлович сидел со спокойным лицом, внимательно глядел Борису Ивановичу в глаза, помаргивал.

«Романов!— неприязнь кольнула Бориса Ивановича в сердце.— Помалкивает да помаргивает».

— Великий государь, соляной налог придется отменить,— сказал с досадой Борис Иванович.— Не покупают люди дорогую соль. Тайные соляные варницы заводят, рыбу ловить перестали, соления исчезли.

— Жалуются люди,— согласился государь.— Мне Никон многие жалобы приносит. Коли можно налог отменить, так и отмени. Да и поскорей ты его отмени. От греха.

— А девы у Ильи Данилыча красоты неописуемой!— воскликнул вдруг Морозов и даже головой покрутил.

Алексей Михайлович сердито дернул плечом и отвернулся.

— Не сердись,— поклонился царю Борис Иванович,— мне, старику, хочется сделать как лучше. Вот я и пристаю, глупый, к тебе.

— Я не сержусь!— тотчас насильно засиял глазами Алексей Михайлович.

11 декабря 1647 года налог на соль был отменен.

2

— Пошла Дарья в лес по малинку-то, а он ждет. Ей чего-то жутко! Чует, что глядит кто-то на нее. Встанет, туда-сюда повернется — никого. И хоть бы ветка хрустнула. Впору домой убежать, а как с пустым лукошком из лесу воротишься — засмеют, как заклюют. Ну, а в малинники-то забралась, тут он и вышел к ней. Крикнуть бы — от страху голос пропал. А он в ноги ей лег и лапой голову прикрывает: мол, бей, да не до смерти. Потом поднялся и давай манить. Она идет, как привязанная. На такую малину навел, ягода к ягоде. Самая красивая девка Дарья-то в деревне была.

— Врешь ты, Сидор!— засмеялся Афонька Матюшкин.— Ну, может ли медведь понимать в женской красоте?

— Значит, может,— серьезно и печально откликнулся стрелец Сидор.— Сколько девок в лес ходило, и гурьбой, и поодиночке, а он ее ждал... Из-за нее и помер. Через год выпросилась Дарья у хозяина отца с матерью проведать. Отпустил. Она домой прибежала, а из дому — на лошадей да в монастырь, за каменную стену... Он через три дня пришел на околицу, лег и лежал, покуда не помер...

В избе жарко, темно, на бревенчатой стене качается бронзовое зеркало отсвета: пламя в печи гудит. Лица у людей красные, спекшиеся.

— Трах!— за стеною дерево морозом разорвало.

Эко! Небось от верхушки до корней!— сказал стрелец Сидор.

Притихли, слушали враждебный, волшебный, декабрьский мороз.

Неужто от тоски по человеку медведь помер? спросил Алексей Михайлович.

Так ведь любовь, государь!— воскликнул Сидор.— Зверь, государь, тоже любить умеет.

А Дарья-то, говоришь, из твоей деревеньки?

Дак она, государь, Дарья-то, бабка мне родная.

То-то ты косолапый!— захохотал Афонька Матюшкин.

Медведями нас в деревне зовут,— без обиды откликнулся Сидор.

Государь встал, все зашевелились.

Сидите, я на свою половину. На зверя-то, чай, рано пойдем?

— До свету, государь.

— Вот и вы все ложитесь.

Афонька поднялся следом за Алексеем Михайловичем, ему спать возле царской постели, караулить царственный сон. У дверей стольник помешкал. Алексею Михайловичу лунный свет — как дитю теплый дождик. А ныне луна так и полыхает на небесах. Лес под такой луной наг и прозрачен, лешему негде схорониться. В сенях окошко с кулак, а светлынь, иней на бревнах мерцает, как глаза кошачьи, дикие.

Услышал Афонька скрип половиц, вышел в сени. Тоже в окошко глянул — светло! Побежал постель государю стелить.

— Погоди!— остановил его Алексей Михайлович.

Царь сидел на низкой скамеечке, прислонясь спиной к печи. Это была другая половина все той же печи: в одной комнате не уместилась, зато согревала обе.

— Слышь, Афонька! Медведь-то завтрашний уж больно здоров, что ли?

Афонька воззрился на царя, соображая, что ответить. С десяти лет при Алексее, грамоту одолевали вместе, вместе росли, а такого, чтоб Алексей струсил, Афонька не помнил.

— Большой, говорят, медведь. Так ведь и ловцов на него много.

— Вот я и смекаю: велика ли честь — полком на одного заспанного зверя ходить...

— Поднять из берлоги медведя дело не простое. А поднимешь — не зевай.

— Слушай, Афонька! Пошли вдвоем, пока все спят!

У Афоньки дух захватило: эко несуразное дело затевает царь. Ночью — на медведя! Вдвоем! Оступись в снегу — обоих задавит. Да и обойдись все по-хорошему, бояре житья не дадут: виданное ли дело, чтоб царь жизнью рисковал шалости ради?

— Боишься, что ли?— спросил Алексей Михайлович.

— Не боюсь.

— Гляди! А то я один пойду.

Царь вскочил, подбежал к Афоньке. Глаза сияют, прищур хитрый:

— Не бойся ты! Одолеем. Неужто мы с тобой вдвоем — молодцы молодцами — одного медведя не стоим?

— Я пищаль возьму!— твердо сказал Афонька, опасаясь, как бы царь не припустил на медведя с одною рогатиной.

— Гаси свечу, пусть думают, что легли.

Тропа к берлоге была приготовлена заранее. Из охотничьего домика выбрались, а дальше потеха: ступить нельзя на снег — скрипит, аж визжит! Алексей Михайлович тотчас и смекнул, как быть: прыгнул с тропы и покатился. Афонька за ним. Оба в шубах да в тулупчиках сверху. Отряхнулись на краю опушки, пробежались, и дела нет до мороза.

Луна уже в зените, тени забрались под сугробы. Каждое дерево стояло в ризах холодного, но прекрасного огня.

— Залезть бы в сугроб, затаиться бы.

— Погони нет, чего в сугроб лезть?— удивился Матюшкин.

— Чудо посмотреть мечтаю, Афоня! Кто всю эту красоту устраивает. Погляди, как величаво кругом, чинно. Тишину послушай, Афоня.

Государь остановился, чтоб не скрипело под ногами, и Матюшкин встал, а все равно скрипит.

— Скрипит, что ли?— спросил царь.

— Да быдто скрипит.

Послушали-послушали: не понять — то ли впрямь скрипит, то ли в ушах от тишины звон.

Трррах!

Аж пригнуло молодцов! А над лесом облачко — снежный прах с разодранного морозом дерева к луне улетел.

— Государь, щеки потри! Не дай бог, мороз покусает. До берлоги версты три. На горку взойдем, а там все время спуск.

Стали подыматься на гору, на вершине — огонек. Затаились.

— Государь! Иди погрейся!— голос знакомый.

— Сидор, ты, что ли?

— Я, государь.

Матюшкин думал, Алексей Михайлович осерчает, а он обрадовался, толкнул в бок:

— Видал, какие у меня слуги? Берегут царя.— И вздохнул.

Стрельцы окружили государя, веселые, довольные: не проразинили.

— Утра будем ждать?— спросил Алексей Михайлович.

— А чего ждать — светлынь!— весело откликнулся Сидор.— Потешим тебя, государь!

3

Словно пушка бахнула из-под земли. Вылетел разбуженный хозяин леса. Сидор его на рогатину принял. Все двадцать пудов. На помощь кинулись охотники. Алексей Михайлович тоже рогатиной ткнул куда-то. Завалили зверя.

Запалили костер.

Тушу освежевали, мясо на вертела.

Царь налазился по сугробам, вспотел, снег стал за ворот сыпать. Его остановили:

— Поберегись, государь!

— Афанасий Иванович, спать хочешь?

— Нет, государь!

— Лошадей! В Москву!

По огненным снегам, на легких санках — сон!

И когда заря дотронулась розовыми пальчиками до маковки Ивана Великого, царь стучался в кремлевский дом боярина своего разлюбезного, Бориса Ивановича Морозова.

Морозов сунул ноги в валенки, шубу соболью накинул, так и встретил нетерпеливого гостя.

— Что стряслось, Алешенька?

— Помнишь, невесту обещал мне показать?

— Как не помнить?— засмеялся Борис Иванович.— Ах, Алеша, напугал ты меня!.. Будут невесты. Сегодня к сестрам твоим приедут. У Ильи Даниловича, у Милославского, две девицы, а которая из них краше — сердце само подскажет.

4

Стольник Илья Данилович Милославский из Архангельска на корабле ходил в Голландию послом. Одиннадцать месяцев дома не был, и вот уж, право,— с корабля на пир.

В доме не то что господа, слуги еще как следует не проснулись — примчался на взмыленных лошадях наиближайший боярин царя Борис Иванович Морозов. Щечки — пламень, сел и тотчас привскочил.

— Девицы здоровы? Собирай, Илья Данилыч! Царевна Ирина Михайловна ждет. Да честь по чести пусть обеих приберут! Ох, Данилыч!— На грудь стольнику припал и сам же оттолкнул от себя.— Да не каменей! Спеши!

Боже ты мой! Поднялась беготня, сыпались тумаки.

Илья Данилыч умолял, всплакивал, грозился прибить! Хватал и тащил шубы, бросал на полпути, лупил в сенях замешкавшихся конюхов, стукал их головами о стенки, каменел-таки, бежал к гостю...

— Уговор, Данилыч, помнишь?— спрашивал Морозов, вышагивая комнату от окна к двери.— Одну девку государь за себя возьмет, коли возьмет. А другую возьму я.

— Господи, да хоть сейчас!— стоном стонал Илья Данилович.

— Окольничим пожалуют к свадьбе, потом и в бояре. Дом в Кремле я тебе уже приготовил, коли бог даст...

— Какой дом! — махал обеими руками стольник.— И так, куда ж больше...

Вспоминал что-то, летел соколом на женскую половину.

— Умыли хоть девок-то?

— Не толкись, Данилыч!— умоляли хозяина взмокшие мамки, няньки, бабки.

— Румяна где?— неслось по дому.

— Какие румяна?!— ахнул Морозов.— Чтоб во всем естестве были!

— Какие румяна!— пинком выбивал двери Илья Данилович.— Естества не коснись! Никто не коснись!

И наконец — тишина: мышей слыхать.

Умчались!

И Борис Иванович, и дочки, и жена.

Илья Данилович один сидел в пустой горнице. Сидел и большим пальцем нос чесал.

В чистом поле две трубы трубили,
Два сокола играли,—

сказал загадку и сам не поймет, зачем сказал, и вдруг как пелена спала! Э! Не было теперь ничего важнее, чем та загадка: в чистом поле два сокола играли...

— На вас, глазушки, одна надежда!

Вскочил Илья Данилович на резвые ноги, подголовник отворил, достал мешочек с мелкой денежкой. Без шубы за ворота побежал.

В Москве, где церквей сорок сороков, нищих — как пчел в улье.

Бросил Илья Данилович первую горсть денежек — слетелись к его дому лохматые пчелки со всего города, словно у каждого попрошайки рысак за углом.

И с правой руки Илья Данилович деньги кидал, и с левой.

— Помолитесь, божьи люди! Помолитесь за меня, грешного!

И дворовой челяди приказал:

— Всех накормить!

Сам в бане затворился нетопленной.

Сидел, покуда не прибыли с известием:

— В Верх взята Мария Ильинична.

5

Судья Земского приказа Леонтий Стефанович Плещеев — ранняя птаха. Земский приказ — первый ответчик за порядок и покой Москвы: долго спящий начальник голову проспать может. А коли судья с петухами встает, подьячему петухов будить надо. Тут уж никуда не денешься. Маленькому человеку сладко спать — опалы домогаться.

При Михаиле Федоровиче, отце нынешнего государя, при старых слугах спали! Ох как спали! И сторожа, и разбойники. А ныне никто не спит. Такое озорство пошло, хоть под печь залезай. Ночью грабят, днем грабят. Беда!

Подьячие, натыкаясь на столы, вздремывая на ходу, замолкая на полуслове, всхрапывая, начинали очередной день службы царю, царству, стало быть, и потомкам.

Кто помоложе, чтобы сон побороть — не дай бог с лавки нырнешь,— носили дрова, печи растапливали, разводили чернила, очиняли перья. В бородах чесали, скребли в груди и в боках, сильно вздрагивали от свежести, фыркали, встряхивались, как застоявшиеся сытые кони перед дорогой, зевали. Все зевали! Каждый сам по себе, и по двое, и по трое, и купно всем приказом зевали, до слезы и до ломоты в мозжечке. Кто до озарения, а кто, назевавшись, дурел. И надолго. Не зевнуть никак нельзя было.

На Втора-большого разок глянешь — до вечера не прозеваешься. Вот истинный кладезь! Уж коли стих находил на него, ладони не хватало рта прикрыть.

Втор-большой единственный из подьячих Земского приказа не томится предутренней тоской, не делает вида, что читает бумаги, не перекладывает их с места на место, как другие, не подравнивает, мучась бездельем, листов. Позевает, позевает и заснет. Сидит за лучшим столом, у двери перед комнатой Плещеева, привалясь

спиной к стене, и спит. Не то чтоб с открытыми глазами — глаза закрывает.

Втору-большому все можно. Он — старый подьячий, не по годам, а по службе. За «старость» другой хлебный оклад, другое денежное жалованье. Проситель в этом смысле дает втрое против того, что дал бы молодому подьячему. Да и не в том дело, что втрое, а в том, что всяк норовит Большому дать. Втор-большой, золотая душа, иной раз посетителя и перекинет к тому, у кого навара нет, сжалится: «Ступай, мол, к Втору-меньшому, да гляди не обидь новичка». Жизнь у «старых» — молодшим только слюнки пускать.

Втор-большой во сне фыркнул, перо так и порхнуло со стола. Втор-меньшой тотчас на дыбки, скакнул, спинку дугой и перышко — подьячему под руку, да так неслышно, оберегая сон хорошего человека.

На улице заскрипели полозья саней, захрумкал вконец замороженный снег под уверенными шагами. Подьячие замерли, схватились за перья, обмакнули и опять замерли, вперив глаза в бумаги.

Дверь отворилась. Плещеев переступил порог, окинул взглядом столы: не пустует ли чье место? И, поднимая вихрь собольей шубой, прямо-таки ринулся в свою комнату, за обитую железом дверь, словно год его тут не было. На ходу обронил утреннюю присказку свою:

— На совет, по одному, по старшинству, в очередь.

Втор-большой спал.

— Зовут на совет,— шепнул ему, оживая, Втор-меньшой.

Всякий раз, как Плещеев является в приказ, Меньшой на глазах помирает. Леденеет. Стукни его в тот миг, пожалуй, и расколется как сосулька.

— На совет, говоришь?— Подьячий открыл глаза, крякнул, достал из-под полы мешочек с монетами, подкинул на руке, взвешивая, вздохнул, пошел.

Последним на совете был Втор-меньшой. Этого копеечника судья приглашал в свою высокую комнату порядка ради, чтоб никто спуску не знал.

Плещеев коршуном закогтил какие-то бумаги, на Втора не то что не посмотрел — не услыхал даже. А Втор к столу на цыпочках петушком битым прокрался, и тут руки у него затряслись, уронил на стол со звоном две тяжелые монеты. Так неловко уронил, что покатились они по столу и обе, покрутясь, вспрыгнули на бумаги хозяина. Плещеев взметнул брови, чтобы прибить мерзавца молнией, и увидал: монеты золотые.

Молния так и не слетела, Плещеев воззрился на Втора, будто в первый раз видел.

— Вчера добыл?

— Вчера... Втор-большой переслал ко мне просителя, ну, я и выжал, что мог, по меньшинству своему.

— А тебе-то осталось?

— Осталось.— Втор нырнул в кафтанчик и вынырнул с серебряной денежкой.

— Чего ж ты сплоховал? Мне вон золото, а себе денежку?

— Так ведь твоими промыслами, господин, кормимся! Значит, все твое.

— А Большой Втор мне вон сколько отсыпал.— Плещеев поднял бумаги и указал на жидкое озерцо серебряных копеечек.

Втор-меньшой молчал.

— Спит все старый! Спит, спрашиваю?

— Не могу знать, потому как он начальник мой!— пролепетал Втор-меньшой.

Плещеев развеселился.

— Втор твой начальник, а я кто же тебе?

— А ты — как сам господь бог!— восторженно и ясно просиял голубыми чистыми глазами.

— Вот и отвечай, как перед богом!

— Так если ты спрашиваешь, умолчать не смею. Спит, но успевает больше нас всех.

— Слушай, Меньшой, а ты ведь верный слуга.

— Я как пес верный.

— Как пес, говоришь? Ну а к примеру, сапоги бы мне языком вылизал, если как пес?

— Да токмо допусти до сапога-то твоего!

— Ну, так вот тебе сапог.

Втор-меньшой кинулся на пол, а на полу-то изогнулся, как бы вовсе из-под полу. С каблука начал, носком кончил.

Плещеев ждал.

— Погляжу!— Отнял сапог.— А ведь старался.

— Старался.

— Вот что, Втор! Меньшой, говоришь?

— Меньшой.

— Ступай, садись на место Большого. Скажи — воля Плещеева. Упираться будет, силой шибани.

— Шибану! Ты, господин, только прикажи кого шибануть. Не помня себя шибану.

— Воистину пес!

— Воистину!

— Служи мне, пес. Не прогадаешь.

Втор-большой с первого раза не услышал, что ему Меньшой сказал. Меньшой повторил. Большой зевнул. Улыбнулся, потянулся... И тут Втор-меньшой, тихий, бестелесный, бездыханный, поднял Втора-большого — а мужик был верста с пузом,— поднял, отлепил от вечной лавки и выкинул.

— А ступай-ка ты на прежнее мое место, соня!

Плещеев все это слышал, затаясь, прислоня ухо к двери.

Еще как следует не рассвело, приехал в Земский приказ судья Пушкарского приказа окольничий Петр Тихонович Траханиотов.

Леонтий Стефанович успел посчитать утреннюю дань. По дороге из дома он объехал тюрьмы и взял свою долю у целовальников. Сегодня набралось пятьдесят два рубля с алтыном. Деньги для Плещеева не великие, а рядовому казаку за пятьдесят-то рублей — десять лет служить.

Петр Тихонович, легкий в поступи, надменный, властный, шел, грохая дверьми. Стукнул он и последней, кованой дверью. Плещеев поднялся ему навстречу.

Усадил под образа, на свое место, а сам сел подле ларца для бумаг, под окошко. Глядел на Петра Тихоновича с нежностью и любовью, а тот был хмур, зол и оттого необыкновенно красив, черноволосый, породистый, капризный.

Не в том талант и звезда Петра Тихоновича, что начальствует над доходным Пушкарским приказом, а в том его талант и звезда, что женат на сестре Бориса Ивановича Морозова. Леонтий же Стефанович женат всего лишь на сестре Петра Тихоновича. Этого Плещеев Траханиотову никак простить не может.

Вот сидит Петр Тихонович у самого Плещеева и ничуть его не боится. Сердит, и не скрывает, что сердит.

— Чего звал? Твой человек меня с заутрени чуть не силком в приказ твой утянул!

— Деньги, Петр Тихонович, нужны. Не малые, но для твоей же пользы.

— Какие деньги?— взъярился Траханиотов.— Да и у кого в России они могут быть — деньги? Все вконец изнищали. Уволь, Леонтий! Нам ли о деньгах думать, да еще о больших, когда и у государя нет. Уж до чего

суровы нынче твои правежи,— не забыл уколоть,— а недоимков второй год собрать не можем с людишек.

Правда истинная! Копейку с русского тяглеца выбивали на правеже. И не потому, что деньги русский человек больше себя любит, а потому, что взять с него ну совсем нечего. А взять хотели много.

Бывший правитель Федор Иванович Шереметев, всего повидавший на своем веку, не хотел испытывать терпение русских людишек: разверстал недоимки на многие годы.

Борис Иванович Морозов ждать долго не любит. Смелы и неосторожны новые люди молодого царя.

Леонтий Стефанович слушал шурина, по-петушиному клоня голову набок, и что-то все выглядывал одним глазом в ларце для бумаг. Траханиотов терпел-терпел и тоже стал тянуть шею и косить глазом в ларец.

— Да на вот, чти!— сказал вдруг Леонтий Стефанович, запустил в ларец руку и как бы наугад достал бумагу.

Это была челобитная царю от молодших людей Пушкарского приказа. Молодые подьячие криком кричали: судья Петр Тихонович Траханиотов всячески вымогает с подчиненных деньги. Жалованья вовремя не дает, приходится свое жалованье на коленях вымаливать по многу раз. И Петр Тихонович, сжалившись, выплачивает половину, а то и треть, как ему поглядится, но велит подписывать бумагу, что получено сполна.

Плещеев не ждал, пока розы на щеках Петра Тихоновича станут пунцовыми. Тотчас перешел к делу:

— Денег мне нужно три тысячи. Две я передам твоему родственнику, Борису Ивановичу Морозову, он сам сказал, сколько ему дать. А тысячу возьму себе. Мне тоже крутиться приходится.

— Уж очень много-то как!— едва перевел дух Траханиотов.

— Огромные деньги,— согласился Плещеев,— но ведь лучше дать раз одному-двум, чем по сто раз неведомо каким шельмецам. А тут от всех забот ты уже свободен. Тут уж мне хлопотать и оберегать своего родного человека. Челобитных-то этих, думаешь, одна?

Леонтий Стефанович зачерпнул горсть бумаг, помахал ими и бросил в ларец. Траханиотов перегнулся через стол и взял одну: Плещеев не обманывал.

— Когда деньги-то нести?

— В обед не поздно будет.

— Господи! Это сегодня уже! Да к чему ж спешка такая?

— А к тому, чтоб вечером, когда Борис Иванович с царем говорить будет, голос у него тверд был, чтоб защитил тебя от извета без всякой запинки.

6

Сидел Втор-меньшой раньше у самой двери, на холодном месте. Никто на него из подьячих и не глянул толком за все четыре месяца совместной службы, и вот на́ тебе! Угадай теперь, с чем его едят.

Взлететь Втор-меньшой взлетел, но не занесся. Богатых просителей хоть через одного, а Втору-большому посылал.

За глаза нового начальника Мерзавцем пробовали было величать — не прижилось, а Меньшим тоже не покличешь, какой он теперь Меньшой? Стали звать Каверзой. Втор-большой за толстое пузо имел от людей уважение, за осанку. Втора-Каверзу не уважали, но боялись очень, шли к нему с бумагами как на пытку. Жуткое дело, когда подьячий умен.

Да и сам Леонтий Стефанович скоро увидал, что это такое — пересадить человека с одного стола за другой.

Недели не пробыл Втор-Каверза в начальниках, принес Леонтию Стефановичу столбец с именами людей, а против каждого имени было записано, кто этот человек, сколько у него имения, а также какие за ним водятся грешки.

Леонтий Стефанович сразу оценил труд Втора-Каверзы, поглядел на него, зачеркнул сверху несколько имен и сказал:

— Этих гостей не трогай. Эти боярам помогают денежку наживать, с нас хватит и мелкой сошки.

И вот уже приказная строка перевертывала вверх дном рухлядь посадского человека Ивана Мякишева.

— «Сундук, одет красной кожей, окован черным железом,— зачитывал потерявшему голову Мякишеву неподступный Втор-Каверза.— В сундуке найдено: семь косяков стамедов разных цветов, пять косяков бумазеи, четыре кумача червчатые, девять лап волчьих на рукавишное дело. Кафтан кастрожный темно-серый, кошуля заячья под вишневым кумачом. Кружево мишурное, сукно анбургское, зипун сермяжный, япанча белая, валеная. Шушун суконный, красный, воротовой. В сарае найдено: десять лафтаков моржовых, две боч-

ки солонины, три — ячменя, котел в пять ведер, медный, полтора воза ржи, три пуда соли, ладунец сельдей да две бочки других сельдей. В погребе — масла коровьего семь пудов. Во дворе сани вяземские, большие, две лошади». Ничего не прибавлено, не убавлено?

— Все как есть,— согласился Иван Мякишев.

— Имение пойдет в казну,— объявил Втор,— а ты, Ивашко Мякишев, отправляйся с нами в тюрьму Земского приказа.

— Да в чем же я виноват-то?— вскричал бедный богатый человек.

— Посидишь — узнаешь,— загадочно объяснил Мякишеву Втор-Каверза.

...На другой день тюремного сидения Мякишев сам вспомнил свой грех:

— Порфирию Молкову, богословскому попу, двух коров осенью продал, а пошлину не заплатил. Четыре алтына, дурак, пожалел.

— Все ли вспомнил?— спросил Втор-Каверза.

— Не все! — повинился Мякишев.— Я ведь рукавишным делом промышляю, шубами тоже. У Надеи Святешникова, у гостя, соболиную покупку сделал. За две сотни рублей пошлину платил, с рубля по пять денег, а с других четырех сотен не платил. Грех взял на душу. Спаси меня, бога ради, добрый человек.

Втор тяжко задумался.

— Вечером меня жди. Может, что и придумаю.

...Вечером пришел к сидельцу:

— Сундук, на который опись составлена, придется взять. И деньгами с тебя тридцать рублей. Не себе беру. Меня коли рублишком-другим пожалуешь, и ладно. Я человек маленький.

— Дам все, что просишь, только вытяни, ради бога, отсюда!

Спас Втор-Каверза горемыку, получил в награду от Мякишева два рубля и медный котел на пять ведер, а от благодетеля, от Леонтия Стефановича,— пять косяков бумазеи из сундука и все девять волчьих лап.

Неуютно стало в Москве. Подьячие по дворам шныряют. Что приглянется — берут, а им еще за это спасибо скажи.

Все друг на друга косятся, спешат донести первыми.

Сегодня один сосед в тюрьме плачет, а назавтра — сосед соседа.

— Хотим каменные палаты поставить,— поделилась думкой жена Леонтия Стефановича Плещеева в гостях у жены Петра Тихоновича Траханиотова.— Место выбираем.

— А мы новоселья со дня на день ждем,— отвечала жена Петра Тихоновича.

7

Томился Алексей Михайлович, дожидаясь дня свадьбы. Страхи одолевали. Каждую ночь, надрывая сердце, снилась Евфимия Всеволожская, бедная его невеста.

Время не конь: не настегаешь, чтоб вскачь летело, и за узду не схватишь.

Ни на какую потеху глаза не глядят. Страшно. Судьбы страшно. Как бы судьба и Марию Ильиничну не выкрала.

Третью ночь кряду над государем бессонница мудрует. Только забылся — Евфимия к нему идет. Лицо милое, в слезах. Руки тянет, а он вдруг засмеялся. И до того жутко ему стало от своего кощунственного смеха — пустился бежать. От себя уж, что ли? Бежал, продирался сквозь дремучий лес, а прибежал на то же самое место, к ней, к Евфимии Федоровне. Она его дареным платком лицо закрыла и уже не обе руки — одну протянула, словно бы за милостыней.

Алексей Михайлович сел на постели. Дышать нечем. Перестарались истопники. Изразцы пышут жаром, как печати дьявола.

Вспомнил имя дьявола, перекрестился. Из головы не шел сон: протянутая за милостыней рука Евфимии.

— Надо раздать милостыню!— решил Алексей Михайлович и велел Федору Ртищеву, ночевавшему с ним, одеваться.

Возле тюрьмы Земского приказа шло строительство.

— Леонтий Стефанович расширить велел,— сказал царю целовальник.— Пока новый дом ставим, для сидельцев нарыли ямы.

Царь знал: в московских тюрьмах три-четыре сотни горемычных.

— Сколько же у вас... тут?

— Девать некуда! Больше трех сотен!

Государь озадачился: милостыни он захватил человек на пятьдесят. Поглядел на Ртищева.

— Одари милостыней тех, кто в земляных тюрьмах томится.

В земляных тюрьмах тоже было тесно.

— Теплее так,— объяснил целовальник,— одним дыхом греются.

Опустили в яму фонарь, на дне ямы зашевелились, заворчали, заругались.

— Молчать!— рявкнул целовальник.— С милостыней к вам.

Царь заглянул в окошко, через которое подавали сидельцам еду и питье и через которое выбрасывали нечистоты.

Вонь ударила как обухом, но государь не поморщился: не впервой награждать милостыней заблудших.

— Сколько вас?— спросил государь.

— Двенадцать душ!— ответили снизу.

— Вот на артель вашу!— Царь протянул вниз руку и кинул в чью-то ладонь ефимок.

— Спаси тебя бог!— сказал артельщик.

— Государь!— истошно закричал зажатый в угол человек.— Государь, отчего я здесь? Помилуй, государь! Сжалься! Не виновен!

— Кто ты?— удивился Алексей Михайлович отчаянью человека, правдивости отчаянья.

— Устюжанин Васька! Торговый человек. На прошлой неделе у руки твоей был, государь. Целовал!

Алексей Михайлович вгляделся в лицо несчастного.

— Оклеветали меня, государь! Разбойники оклеветали! Будто я человека убил, а я мухи... мухи...— И Васька Устюжанин зарыдал.

— Не огорчайся!— сказал Алексей Михайлович.— Я похлопочу перед Леонтием Стефановичем, он человек добрый.

8

В воскресенье 16 января в Успенском соборе состоялось венчание Алексея Михайловича Романова с Марией Ильиничной Милославской.

Свадьбу не играли — свадьбу отслужили. Обошлись без музыки, без плясунов, без потешников, к великой душевной радости Стефана Вонифатьевича и ревнителей благочестия, но без пиров не обошлось.

В первый день своей радости государь был одет в тафтяную сорочку с ожерельем, в тафтяные червчатые порты. Пояс на нем был златокованый, шуба русская,

крытая венецианским бархатом, малиновым да зеленым шелком, круги серебряные по шубе были велики, в них малые золотые круги с каменьями и жемчугом. Шапка на государе была червчатая, большая, новая, колпак большой, весь обнизан жемчугом и каменьями. Башмаки шиты волоченым золотом и серебром по червчатому сафьяну.

Марья Ильинична одета была тоже из Большой казны.

Пир шел шесть дней, и все эти дни царь и царица принимали подарки.

Ртищевы, старший, Михаил Алексеевич, постельничий, и сын его, Федор Михайлович, получили соболей из казны, чтоб на свадьбе ударить челом государю и благоверной царице. В свадебном действе им было отведено место не больно видное, но важное — стояли у мыльни царя.

Посаженым отцом, конечно же, был Борис Иванович Морозов, посаженой матерью — жена Глеба Ивановича Морозова, Авдотья Алексеевна. Сам Глеб Иванович с Ильей Даниловичем Милославским охранял сенник, где помещалось брачное ложе.

С Милославскими ближних людей прибавилось, появились имена малознакомые. Предпоследним среди верстанных на царской свадьбе стоял Прокопий Федорович Соковнин. Он был провожатым у саней царицы, а сын его, Федор, был предпоследним среди стольников-поезжан.

Через месяц после свадьбы Прокопий Федорович станет дворецким у царицы и будет сидеть за поставцом царицыного стола, отпускать ествы.

А через два месяца получит чин окольничего.

Илья Данилович Милославский окольничего получил к свадьбе дочери, а через две недели, второго февраля, его пожаловали в бояре.

Милославские были выходцами из Литвы. Некий дворянин Вячеслав Сигизмундович прибыл в Москву в свите Софьи Витовны, невесты великого князя Василия Первого, в 1390 году. Внук Вячеслава Терентий принял фамилию Милославского. Высоко Милославские не взлетали, но всегда были при деле. Дед Марии Ильиничны Данило Иванович служил воеводой в Верхотурье, а потом в Курске. Сам Илья Данилович до своего нечаянного счастья был стольником, наместником медынским, посланником в Константинополе, в Голландии, служил кравчим у знаменитейшего дьяка Посольского приказа Ивана Грамотина, с которым был в родстве.

Теснили новые люди старое боярство.

Петру Тихоновичу Траханиотову невелика была честь на царской свадьбе — скляницу с вином в церковь нес, но то уже было дорого, что вниманием почтили.

...На четвертый день государевой радости патриарх Иосиф благословил государя образом всемилостивого Спаса, а государыню — образом пречистыя богородица взыграние младенца.

Государю патриарх подарил сто золотых червонцев, и государыне тоже сто, а также кубки, атласы, объяри, камки, тафту, соболей, бархаты.

В седьмой день государь и государыня отправились в Троице-Сергиеву лавру, а еще через два дня они были на свадьбе ближнего боярина Бориса Ивановича Морозова и Анны Ильиничны Милославской, красавицы смуглянки.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

1

Вдовствующая пятилетняя дочь падишаха Османской империи Ибрагима вернулась в сераль и принесла своему отцу наследство умерщвленного капитан-паши. Ибрагим, не долго думая, снова выдал ее замуж, теперь за великого визиря Мегмета. Это была награда визирю за подавление бунта.

Войска долго не могли смириться с нелепой гибелью Жузефа-паши. Волновались янычары, народ волновался, и падишах Ибрагим уехал из Истамбула в Адрианополь, но и там к нему явились начальники янычар и потребовали даров.

— Войска дарят только при вступлении в войну,— ответил падишах,— а мы уже давно воюем и очень плохо воюем, и неизвестно, сколько еще будем воевать, ибо таковы наши войска!

Великий визирь Мегмет приказал тайно убить начальников янычар, и начальники были убиты. Волнения прекратились, падишах Ибрагим вернулся в столицу.

Теперь он вел переговоры только со старой своей наложницей Кесбан. Все его помыслы были заняты одним: как заполучить Регель— так звали красавицу, у которой каштановые волосы по щиколотку, груди — как нераспустившиеся бутоны белой розы, и у которой была родинка, но где...

Падишах Турции может иметь четырех жен и много тысяч наложниц, но не в его воле насильно взять в сераль турчанку.

Мало того что красавица Регель была турчанка, она оказалась дочерью великого муфти — третьего человека империи, после падишаха и великого визиря, ибо великий муфти — глава духовенства.

Ибрагим знал, что требовать Регель в жены — значит получить отказ, но в благоразумии падишаху отказала сама природа. Он послал к великому муфти главного евнуха, и главный евнух принес ответ: «Дочь муфти — не невольница».

Теперь вся надежда была на змеиную хитрость Кесбан.

Ибрагим отправил верную старую наложницу к Регель со словами огнепышущей любви и со шкатулкой, в которой лежала диадема, стоимостью равная четырем большим купеческим кораблям.

Падишах ждал Кесбан в саду, на берегу Босфора. Зима стерла краски с земли и неба, но в четырех стенах Ибрагима сами стены бесили. Он долго водил подзорной трубой, разглядывая противоположный берег, спохватился: все, что увидел, прошло мимо него. Оставил трубу, глядел на воду, на небо. И, чтоб хоть как-то убить время, приказал позвать хранителя книг.

— Скажи мне что-нибудь очень удивительное и в то же время умное, но чтоб это было действительно удивительное и умное... и еще — чтобы я понял тебя.

Книжный человек поклонился.

— Убежище веры! Чудесам мира несть числа, как несть числа звездам,— сказал он,— но что может сравниться с движением и круговращением небесных сфер, солнца и луны? Что может сравниться с мудростью и непостижимостью смены дня и ночи, зимы и лета? Но мы видим это постоянно, свыклись с этим и, увы, не удивляемся.

Ибрагим вдруг засмеялся:

— Я всегда робел перед ученостью улемов, но ты ошибаешься, мудрец. Есть на белом свете еще более непостижимое и чудесное, чем смена дня и ночи, чем движение луны и солнца. Это непостижимое и прекрасное — женщина. Нам не дано насытиться ее красотой, и познать ее нам тоже не дано.

— Великий падишах, я преклоняюсь пред светочем твоего царственного разума.

Ибрагим посмотрел на коленопреклоненного мудреца грустными серьезными глазами.

— Я знаю, каковы они — достоинства моего ума. Я получил от аллаха не меньше, чем другие, но я слишком долго сидел в яме, каждый день ожидая насильственной смерти. Ступай, мудрец, ты меня утешил.

И тут к падишаху привели Кесбан. Она бросилась в ноги Ибрагиму:

— Вот ее ответ, величайший из величайших.

Старая наложница разжала ладонь. На ее ладони лежал алмаз.

— Я от своего не отступлюсь,— сказал Ибрагим, багровея.— Пусть ее выследят на улице, схватят и доставят в сераль!

2

В первый раз, кажется, за всю свою жизнь падишах Ибрагим не притронулся к завтраку.

Когда пришло время убирать блюда, вошел главный евнух:

— Великий падишах, красавица Регель доставлена в сераль.

Ибрагим вскочил:

— Лучшие одежды! Лекарей! Горе им, если на моем лице не взыграет румянец!

На Ибрагима полыхнули черные огромные глаза. «Каков стан! Какие округлости!» — Падишаха забила мелкая животная дрожь.

— Кто создал сей ослепительный сосуд жизни!— закричал он.

— Я — дочь великого муфти,— спокойно ответила Регель.— И ты, падишах, знаешь об этом.

— Аллах! Таких гордых и прекрасных речей я не слышал во всю мою жизнь. Твои губы — лепестки розы!

— Падишах, прикажи подать паланкин. Меня ждут в доме моего отца.

— Я был бы безумцем, если бы отпустил мою птицу Симург. Ты — моя судьба.

— О аллах! Если этот человек возьмет меня силой, пусть его торжество будет последним в его жизни. Пусть этот день будет последним его днем.

Ибрагим заслонился от ужасных слов руками:

— Будь милосердна! Зачем ты кличешь беды на мою голову? Я падишах. Моя беда — беда для всех турок. Регель, я ослеплен тобою, я умираю от желания.

— Ну так умри!

Ибрагим выбежал из комнаты своей пленницы.

— Все сокровища к ее ногам!

И перед Регель сыпали жемчуг и алмазы, рубины, изумруды, бирюзу, золотые кубки, оружие в чеканке и каменьях — ни единой пяди пола не осталось не закрытой драгоценностями. И одну вещь Регель взяла — кинжал.

— Это все твое!— сказал Ибрагим, сам удивленный россыпью несметного сокровища.

— Падишах, ни одна женщина в мире не видела такого зрелища. Отпусти меня, свобода мне дороже.

— Ты ревнуешь меня к моим наложницам? Позовите весь гарем!— приказал Ибрагим.— Пусть все наложницы поклонятся златоликой Регель.

Перед дочерью великого муфти два часа шли, кланяясь, красавицы, белые как снег, черные как ночь, златоволосые, пышные, хрупкие, и башнеподобные, и будто выточенные из слоновой кости.

— Регель, по одному твоему слову я прогоню их всех из моего гарема. Ты одна мне заменишь его!— Падишах кинулся на колени перед своей пленницей.

— Отпусти меня домой, падишах,— тихо сказала Регель.

— Тогда я тебя возьму силой,— Ибрагим сбросил с себя халат.

— Не приближайся! Я перекушу тебе горло, проклятый вонючий идиот!

Регель ногтями располосовала себе лицо.

— Отнесите ее к отцу!— Ибрагим погас, мир стал для него серым.

3

— Великий падишах! Великий визирь умоляет допустить его до твоих очей!— доложил главный евнух.

— Что ему?— спросил Ибрагим.

— Янычары требуют его жизни.

— Пусть войдет,— разрешил Ибрагим и сказал тотчас явившемуся Мегмету-паше:— Пожалей меня, друг мой! Мое сердце разбито.

— Падишах!— закричал Мегмет-паша.— Меня хотят убить. В городе паника. Янычары заперли ворота и ни-

кого не выпускают. Великий муфти собрал недовольных тобой в мечети Ортадиами.

— Какое противоядие ты нашел?— спросил Ибрагим, разглядывая и трогая прыщик на запястье.

— Убежище веры! Я прошу защитить меня. По твоей просьбе я умертвил начальников янычар...

— Не теряй головы, Мегмет-паша! Прикажи послать к бунтовщикам бостанжи-пашу с приказанием разойтись по домам.

— Я послал к ним бостанжи-пашу, но в ответ великий муфти прислал фетьфь к тебе, великий падишах. Вот она,— Мегмет-паша протянул Ибрагиму свиток.— Меня осудили на смерть.

— Спрячься в моих покоях, я сам отвечу великому муфти. Слава аллаху, его дочь я отослал к нему.

Падишах Ибрагим отправился в тронную залу.

Посланцам великого муфти и бунтующих янычар он сказал:

— Великий визирь Мегмет-паша, может быть, и виноват в смерти янычарских аг, но он зять падишаха. Он — мой зять, и я не желаю ему смерти.

Сераль, как после молнии, затих, съежился, ожидая страшного удара. Падишах Ибрагим из тронной залы не ушел, ждал.

Раздались шаги. Явились новые посланцы, они вели под руки древнего старика. Это был восьмидесятилетний Мурад-паша, спага-агаси — начальник придворной кавалерии.

— Убежище веры!— воздел руки к небу трясущийся старец.— Видит аллах, против моей воли меня избрали великим визирем. Заклинаю тебя, ясноликий падишах, пошли им голову Мегмет-паши. Они все пришли сюда. Они стоят у дверей сераля.

— Пес!— Ибрагим подбежал к старику и стал бить его по щекам.— Ты возжег мятеж, алкая стать визирем! Я сам погашу его! Ты первым увидишь, как я умею управляться.

Ибрагим схватил старика за ухо, подвел к дверям и вытолкнул вон.

4

Ибрагим торжествовал победу: вон как лихо он расправился с возмутителями покоя. А в это же самое вре-

мя у дверей его гарема красавица Регель и великий муфти держали огонь, требуя суда валиде Кёзем-султан.

Мать падишахов вышла к ним, покрытая фатой, с главным евнухом и со всеми другими скопцами. Евнухи несли опахала и дымящиеся жаровни. Это был безмолвный ответ матери падишаха на требование корпуса улемов. Кёзем-султан была согласна свергнуть сына с престола.

В диване великого визиря высокие чины империи решили взять все имущество Мегмет-паши в казну, а его самого казнить.

Мегмет-пашу нашли в покоях падишаха Ибрагима и тотчас удушили.

Брошенный всеми, Ибрагим сидел на троне в пустой зале. Он просидел так всю ночь, а наутро за ним никто не пришел, но он упрямо не сходил с верховного места во всей подлунной, словно оно и впрямь было недосягаемо для человеческих страстей.

Утром в мечети Ая-Софья великий муфти произнес слово против падишаха Ибрагима:

— Великий Мурад IV оставил нам империю процветающей. Еще не минуло десяти лет со дня его скоропостижной смерти, и что же мы зрим? Области и провинции разорены, истощена казна государственная, флот обращен в ничтожество. Христиане овладели частью Далмации, морские суда Венеции осаждают замки на Дарданеллах. Великолепное ополчение правоверных почти истребилось... Один только человек винотворец нашему упадку и позору! Этот человек самой природой лишен всякой способности царствовать.

Новый великий визирь, старец Мурад-паша, и великий муфти послали падишаху Ибрагиму фетьфь, в которой требовали явиться в назначенный день и час в мечеть Ая-Софью и дать отчет о делах империи.

Фетьфь понес ага янычар с высшими военачальниками.

Ибрагим фетьфь разорвал не читая:

— Я прикажу задушить и Регель, и великого муфти,— закричал он, топая ногами.

Ага янычар ответил ему:

— Твоя собственная жизнь, падишах, а не жизнь великого муфти в опасности. Разве что я упрошу, чтоб дали тебе окончить дни твои в заточении.

— Неужели среди вас, моих слуг, нет ни одного, который пожелал бы умереть за меня, защищая честь имени Османов?!— воскликнул падишах, зарыдал и кинулся к матери, к великой Кёзем-султан.

— Твое спасение в отречении от престола,— сказала она сыну, глядя в окно.

От великого муфти между тем принесли новую фетьфь. Она была короткой: «Султан — нарушитель Корана — есть неверный и недостоин владеть мусульманами».

Падишаху Ибрагиму прочитали эту фетьфь и отвели в темницу, туда же посадили Кесбан и престарелых невольниц.

5

На высоком троне Османской империи оказался Магомет IV, семилетний сын Ибрагима. Регентство получили мать малолетнего падишаха валиде Турган-султан и неувядающая Кёзем-султан.

Для Кёзем-султан это был последний удачный переворот. Через некоторое время она сделает попытку свалить внука и наконец-то заплатит за все свои козни жизнью.

Но это произойдет много позже, а пока новый падишах подтвердил первое решение своего правительства: султану Ибрагиму была назначена смертная казнь.

В тюрьму нагрянули вельможи. Двери темниц отворились. Новый падишах выпустил на свободу узников бывшего падишаха.

В тюремные покои Ибрагима вошли люди. Ибрагим сразу догадался, зачем они пожаловали к нему.

— Я хочу помолиться,— сказал он им и опустился на молитвенный коврик.

Когда-то султан Ибрагим страшился смерти. Теперь он был другой. Он получил от жизни все, о чем мечтал, сидя в зловонных ямах, куда время от времени бросал его Мурад IV. Не получил он от жизни любви наложницы Мурада Дильрукеш да любви Регель. Да еще счастья не получил, но счастье падишахам неведомо.

Палачи не смели приступить к своему делу. Вельможи Магомета IV принялись колотить палачей палками.

— Оставьте их,— попросил Ибрагим,— они соберутся с силами и возьмут мою жизнь... Я закрою глаза, чтоб им легче было.

6

Тимошка Анкудинов шел, держась за руку с Костькой Конюховым. Они шли, не оглядываясь на свой каменный замок.

— Пока они заняты друг другом,— говорил Тимошка,— пока они будут делить места и добычу, нам надо улизнуть из этой проворной на расправу страны.

— Куда же мы теперь?— спросил Костька.

— А теперь мы с тобой к папе римскому пожалуем. У него на Московию давно уже зуб наточен.

— Рим — это хорошо,— согласился Костька.— Надоели мне эти визири, минареты, муэдзины. Как оглашенные орут. Только заснешь— они орут.

7

Был Тимошка у папы римского, поменял ислам на католицизм, с тем и прибыл к чигиринскому двору гетмана Богдана Хмельницкого. Замутила щука воду, но московские дьяки, острогами вооружась, испортили щучью охоту. Пришлось Тимошке в который раз бежать. Бежал он с личным посланием будущего предателя генерального писаря Выговского к семиградскому князю Ракоци II.

В 1650-м, грозном для царского самодержавия году восстали псковичи, и Тимошка прикатил в Ревель. Он уже коня себе белого приготовил для торжественного вступления в пределы русские, деньжонок у врагов московского царя наскреб, собрал тысячу головорезов, но псковичи не пустили изменника в славный город свой.

Околачивался Тимошка при дворе шведской королевы, жил у герцога Леопольда в Брабанте, потом перебрался в Лейпциг. В Виттенберге принял аугсбургское исповедание, нигде покоя не нашел.

Перебежал в Голштинию. Тут и схвачен был русским купцом Петром Миклафом. С пеной у рта доказывал Тимошка на следствии, что не русский он, не русский! Но герцог Шлезвиг-Голштинский за малую услугу выдал Анкудинова московскому царю.

После многих пыток и допросов смутьяна и самозванца четвертовали на Лобном месте.

И было его недоброго, но удивительного жития тридцать шесть лет.

Часть третья

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

1

В вербное воскресенье Москва проснулась задолго до света. Помолившись, с нетерпением ждала солнца, а чтобы не выказать суетливости и чрезмерной охотки, не подобающих государству Российскому, стольному граду, наследнику славы святого Константинополя, Рима, древнего Киева и собственной древности, чтобы от самой себя скрыть детство свое, Москва ханжески позевывала, закатывала глаза на иконы и благоверно вздыхала.

Государь Алексей Михайлович поднялся в тот день, по своему обычаю, в четыре часа. Постельничий Михаил Алексеевич Ртищев, гоняя постельников и стряпчих, убрал царя. Царь помолился в одиночестве, а потом с женою, царицей Марией Ильиничной, пошел к заутрене в Благовещенскую церковь. Вместе с царем службу слушали ближние бояре, родовитейшие князья и высокие думные дворяне.

Все собрались ради праздника и величайшего в Московском государстве праздничного действа.

Москва тем временем охорашивалась, как селезень перед утицей. Перышко к перышку, и каждое перышко с отливом.

На Красной площади расцвел превеликий маков цвет. Был тот цветочек Лобным местом. Укрыли его алыми сукнами, увенчали налоем, крытым зеленым бархатом, а на бархат положили Евангелие. Выставили иконы Иоанна-предтечи, чудотворца Николы, Казанской Богородицы.

От Лобного места к Спасским воротам дорогу оградили надолбы, крытые красным сукном.

В приказе Большого дворца дьяки рядили огромную вербу. Чего только не навешали на нее: яблоки, цветы, заморские сушеные фрукты в расшитых мешочках, зелень, детские игрушки, крестики, иконки, ветки пальм, а по-другому — вайи... Вербу привезли на Красную

площадь в санях, поставили у Лобного места, на вербу посадили четырех певчих мальчиков.

Возле кремлевских кладовых стоял высокий веселый гомон, точно галочья стая слетела с осеннего поля. Это восемьсот счастливых мальчиков, стрелецких детей, получили разноцветные кафтаны и сукна, чтобы метать их под ноги шествию, а в награду — пряники да денежки.

Солнце взошло наконец. Москвичи потянулись на Красную площадь. Кто в чем... да в том, чтоб соседа переплюнуть, щеголиху перещеголять, богатому — чтоб богатого перебогатить, нищему — нищего перенищенствовать, калеке — калеку перекалековать!

Только ведь перед грязью все равны. А грязи в Москве — лошади по брюхо, мужику пешему по грудь, бабонькам по шею. А Москве — весело! Коль перед грязью все равны, стало быть, в грязи-то все ровня.

Словно козлики, словно козочки! Горожане с горожанками, дворяне с дворянками, купцы с купчихами, стрельцы со стрельчихами, попы с попадьями — с доски на досочку, с кирпича на кирпичик, где по бревнышку, где по жердочке, а где — боже ты мой!— через мост.

Прыг да скок.

Сам в грязь — и жену уволок!

На Кукуе мóлодцы, до молодиц молодцы́, сапоги надели до того высокие, аж дальше некуда.

— А ну, ласточки! Садись на руки — в колыбельке-то давно, чай, не качались!

— Ах, ведь и не упомним!

— А давно ли венчались?

— Упаси боже!

— Гоже!

Молодцов было шестеро, а желающие переехать через грязь тоже были.

Дошла очередь дворяночки, а дворяночка со служанкою. Ох уж эти служанки! Ноги быстры, глаза шустры, язык остер что тебе осетр!

Служаночку-то и подхватили молодцы как пушиночку, поставили на место сухо, с поклоном и норовят вслед за ней, оставивши госпожу.

— С ума спятили!— шепчет молодка.— Со света она меня сживет за ваши шуточки. Не погубите!

Посмотрели ребята на дворяночку издали — царь-колокольня. Платье золотыми цветами расшито, каждый цветок с блин, а в самой-то дворяночке то ли десять пудов, то ли шестнадцать. Перемигнулись ребята и пошли.

Села дворяночка на руки — будто ветер тополям вершинки пригнул. Шаг вперед, а другой — куда занесет. Шли-шли, да и разжали руки, бесстыдники. А дворяночка не будь дурой — правой ручкой правого, левой левого да всех шестерых и утащила с собой. А того, что у нее в правой-то был, на воздуси подняла, а того, что в левой был, тоже. И, поднявши, стукнула их лоб об лоб, плюнула сначала правому в очи, потом уж и левому и пошла себе к служанке.

Служанка вокруг госпожи захлопотала, принесла из лужи воды в шапочке своей. Обмыла кормилицу, обчистила, сама, чтоб той не обидно было, попачкалась.

И пошли они дальше, пошли сохнуть на площадь Красную. Ветерок по Москве гулял не холодный, а в толпе, где каждый третий в грязи увяз,— не стыдно.

2

В дом к драгунскому начальнику Лазореву зашла принаряженная соседка, жена протопопа Казанской церкви Ивана Неронова.

— Любаша, готова ли?— по-волжски пропела она.

— Готова, матушка!

Любаша вышла в горницу в праздничном одеянии. На голове кика, шитая золотом, с жемчужными нитями, окаймляющими лицо, с жемчужной поднизью, ниспадающей на лоб. Убрус с золотым шитьем низан жемчугом. Стоячий воротник, ожерелье тоже в жемчуге. Опашень голубой, шелковый, на бобровом пуху. От подола к рукавам — вошвы из алого атласа, шитые зелеными камушками: хризолитами, изумрудами, кошачьим глазком.

— Царица!— всплеснула руками протопопица.

— Чай, теперь полковничья жена!— засмеялась Любаша, сама смущенная великолепием и красотой своего нового наряда: отец, провожая дочку в стольный град, подарок сделал.

— Пошли, не опоздать бы!— спохватилась протопопица.

Покрестились на иконы, пошли-посеменили на Красную площадь.

Лазорев хоть и не исполнил тайного приказания Бориса Ивановича, но был у боярина в милости. Дали Андрею чин полковника, поставили ему под команду майора Якова Ирвина, четырех капитанов: Петра Дятлова, Юрия Брюса, Юрия Вынброка, Петра Шарля; четырех поручиков: Якова Дутстерна, Степана Ровена, Павла

Тес, Нильса Арталя и полкового квартирмейстера Анца Флюверка.

Драгун надлежало набрать из гулящих людей и отправляться на юг — собирать разбредшееся войско Кондырева, а собравши, идти на помощь донским казакам.

Отпуском драгун ведали дьяки Назарий Чистый и Алмаз Иванов.

Поселили драгун в Девичьей слободе и в Лужниках. Ставка их помещалась в Ворониной слободе, возле Андроньевского монастыря, там же Земский приказ выделил для двух сотен драгун из немцев шестнадцать дворов.

Драгунам обещали выдать трехмесячный оклад, но, как всегда, тянули. Лазорев серчал, обивал пороги приказов: драгуны — лихие люди — пошаливать начинали. А Любаша радовалась. Трех недель с мужем не пожила, а его опять в дали далекие отсылают. И горевала, и гордилась мужем: женился поручиком, а через год уже полковник!

Увидать бы его, как идти будет по Красной площади на виду у всех.

3

Алексей Михайлович после утренней службы успел-таки вздремнуть и теперь смотрелся в зеркало. Он был в исподнем. Разоблачился, чтоб облачиться в праздничные царские одежды-вериги.

Из зеркала глядел на него молодой здоровый мужик, гладкий, румяный, хотя румянец от поста и поблек, словно зима дохнула на розовое стекло. Губы мягкие, алые, борода чесаная. Глаза — лесные колокольчики, в них смеху бы звенеть, а не звенится: у царей одна забота — достоинства не уронить. Сидеть на русском престоле — это ведь на русском престоле сидеть. Не прибили — бог миловал. Не прокляли — и на том спасибо. Все еще впереди.

Да и не больно-то плохо в царях. Вспомнил кречетов своих да челигов. На последней охоте Свертяй добыл двух совок в великом верху. На одну с десяток ставок ушло, на другую — все двадцать. Вторую совку вырвал за две сажени от земли. Славная птица Свертяй!

И опять глянул царь в зеркало. Увидал свою улыбку, все еще не сбежавшую с лица от воспоминания. Задержал улыбку. Хорошая улыбка. Что с правой, что с левой стороны.

Засмеялся государь и хлопнул в ладоши:

— Одеваться!

4

Шествие вышло через Успенские ворота. За двумя хоругвями по двое шли диаконы, за диаконами, по трое,— священники, за священниками — протопопы и запрестольный образ с ними.

— Вот он, мой-то!— подпрыгивала на носки протопопица, толкая Любашу.— Видишь, крест несет? А другой крест несет Никон, друг царя.

— Вижу, вижу!— отвечала Любаша.

Разбрызгивая солнечные зайчики, торжественно и весело плыли два хрустальных креста. Их осеняла золотая вычурная рипида. В Иерусалиме рипида была обыкновенным опахалом, только в северных странах не больно-то вспотеешь,— и рипида, нужная вещь, превратилась в непонятный, но зато золотой символ.

За рипидой несли соборные иконы. Под их сенью вышагивали протопопы, успенский и благовещенский, а за ними — певчие с образом богородицы. Перед образом диаконы несли две зажженные свечи.

И, наконец, за соборными ключарями шел патриарх Иосиф в малом облачении, с посохом. По правую руку от Иосифа диаконы несли большое Евангелие в бархатном ковчеге. По левую руку — крест на мисе, самый дорогой в Московском царстве крест.

Иосиф был стар, слаб, его пошатывало.

Кто-то сказал:

— Не жилец.

— Типун тебе на язык!— зашикали в толпе на болтуна.

Двое соглядатаев бросились к нему, но толпа не выдала, заслонила, заширяла соглядатаев в бока:

— А ну, не крутись! Не мешай патриарха лицезреть!

За Иосифом несли кресты — золотой, жемчужный, большой — и малое Евангелие. За крестами надвигалось на площадь вызолоченное и ожемчуженное высшее духовенство.

Толпа восторженно насчитывала:

— Три митрополита!

— Два архиепископа!

— Епископ!

— Архимандритов десять!

— Игумнов десять тоже.

— Протопопов пятнадцать.

— Священников тьма, и диаконов тоже.

Священников было триста, диаконов двести.

За патриаршим шествием колыхалось соболиное государево. Дьяки, дворяне, стряпчие, стольники, окольничие, думные люди и ближнее боярство. И посреди этого шествия лучших людей государства — самый наилучший, наимудрый, пресветлый, предобрый, наипрекраснейший государь Алексей Михайлович. Шел он и улыбался. Теплу, солнцу, народу, празднику, и народ от удовольствия покрякивал и на солнышко, жмурясь, поглядывал.

Государево шествие охраняли полковники...

— Мой!— воскликнула Любаша.— Андрюша, Андрей Герасимыч.

Ход остановился у Покровского собора. Государь и патриарх встретились у придела «Входа в Иерусалим». Пошли помолиться.

Там же, в соборе, их облачили в Большой наряд. Бармы, шапка, держава, посох. Все из золота, усыпано драгоценными камнями, отделано прозрачными эмалями, и за все плачено деньгами страшными, несусветными. За одни только бармы, сделанные по образу диадемы благочестивого греческого царя Константина, было заплачено 18 325 рублей.

Выряженные так, что без помощи двинуться нельзя, два первостепенных российских артиста вышли из собора.

Началась игра в Иисуса Христа.

Перед въездом в Иерусалим Иисус Христос остановился у горы Елионской и послал двух учеников в селение. «Там,— сказал он им,— вы найдете осла, на котором никто еще не ездил. Возьмите его и приведите ко мне. Если спросят, зачем вы берете осла, скажите: он надобен господу нашему». Ученики привели осленка, положили на него свои одежды. Иисус сел на них и поехал в Иерусалим. А люди устилали путь его своими одеждами и ветками вайи.

В вербное воскресенье в Москве сцену эту разыгрывали на московский лад.

Выйдя из собора, Иосиф благословил образа и кресты, и их возвратили в Успенский и другие кремлевские церкви и соборы.

Патриарх и царь взошли на Лобное место. Иосиф преподнес Алексею Михайловичу пальмовую ветвь, привезенную греческими монахами из-за моря, а потом ве-

точку московской вербы с черенком, обшитым черным бархатом.

Самые знатные бояре, самое высшее духовенство, самые влиятельные государственные люди были удостоены этого отличия вербного.

Осля — великолепная лошадь в белом коптуре, окруженная пятью патриаршими дьяками в шитых золотом кафтанах, с патриаршим бояриным при узде,— стояла подле Лобного места. Рядом сани с шестеркой лошадей, а в санях кадка с разряженной в приказе Большого дворца вербой.

Когда все, кому полагалось, получили по веточке, архидиакон открыл Евангелие, лежащее на налое, и прочитал до слов: «И посла два от ученик».

Учеников изображали соборный протопоп с ключарем. Они приблизились к патриарху. Тот благословил их.

— Пошли! Пошли!— зашумела толпа.

«Ученики» направились к центру Красной площади, к осле.

В роли патриаршего боярина, державшего ослю за узду, была всего одна фраза, и он проорал ее во всю мочь, чтоб люди слышали, чтоб патриарх с царем остались довольны:

— Что отрешаете осля сие?

Ученики хором рявкнули:

— Господь требует!

Настала очередь царя и патриарха. Поддерживаемые под руки, прошли они к осле. Патриарха взгромоздили на лошадь, дали ему в руки Евангелие и крест. Царь взял коня за конец повода, за середину взялся Борис Иванович Морозов, под уздцы — два дьяка дюжих, государев и патриарший, да еще патриарший конюшенный старец.

Неземно, хрустально зазвенели голоса мальчиков-певчих в белых, слепящих глаза одеждах. Им ответили мальчики, сидящие на вербе:

— Осанна!

Тронулись.

Впереди государев жезл, потом верба на шестерке рысаков, свеча, царское полотенце, царь, облепленный слугами, как мухами, и осля, смирный, вконец закормленный конь.

Двинулись к Спасским воротам по кафтанам и сукнам, что метали под ноги дети стрельцов. И тут, конечно, ударили во все колокола — любимое московское

развлечение. Народ зашевелился, пошел локтями работать, чтоб в Кремль успеть, к Успенскому собору, куда теперь переносилось действо и где можно было отхватить что-нибудь святое со святой великой вербы, хотя бы прутик.

Иосиф хмурился. Царь улыбался, он посматривал на людей и радовался: «Народу много, все веселы, удался праздник и на этот год!» И вдруг через цепь стрельцов к нему рванулись и прорвались люди в холщовых одеждах:

— Государь, прими челобитную!

Алексей Михайлович взял бумагу, и тотчас нарушителей покоя стрельцы и драгуны взяли в железное кольцо.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

1

Приезжие боярыни царицы Марии Ильиничны собрались в Золотой царицыной палате. Они стояли справа и слева от золотого царицыного стула строго по местам: княгиня Касимовская, Марья Никифоровна; жена касимовского царевича Василия Еруслановича, княгиня Сибирская, Настасья, боярыня Анна Морозова, царицына сестра, княгиня Черкасская Авдотья с дочерью Анной, княгиня Одоевская Авдотья, и еще одна Авдотья, жена Глеба Ивановича Морозова, и прочий синклит: Трубецкие, Салтыковы, Пронские, Пушкины, Урусовы, Стрешневы, Милославские, Ромодановские, Троекуровы, Куракины, Долгорукие и где-то в самом конце, перед Соковниными,— Шереметевы.

Царица Мария Ильинична в Большом наряде, высокая, пышная, с глазами строгими, серыми, удивительно оттененными колючими ресницами, была самой красивой в этой сверкающей золотом, воистину Золотой палате. Ее отец, Илья Данилович Милославский, бывший среди немногих мужчин на церемонии, смахнул счастливую слезу. Сколько раз в былые времена клял он себя за не ахти какую выгодную женитьбу: за красоту жену взял, а красота — не тройка, не поскачешь... Ан нет! Красота за себя постояла. Вон как вознесла! Господи, и во сне такого присниться не могло!

Пятого марта боярин Илья Данилович Милославский справил новоселье. Переехал жить в Кремль, но тотчас затеялся поставить новые палаты, чтоб ни у кого в Мо-

скве таких палат не было. И об этой своей задумке Илья Данилович успел царице шепнуть перед церемонией, и царица хоть и удивилась — месяца не прошло с отцова новоселья,— но обещала сказать царю.

А церемония такая была: Анну Михайловну Ртищеву, которую Мария Ильинична собиралась сделать своей кравчей, посвящали в чин верховных боярынь.

Служба кравчего — отведать пищу, прежде чем поставить ее на стол царя и царицы. Сначала пищу пробовал ключник на глазах дворецкого, потом пробовал сам дворецкий на глазах у стольника, стольник пробовал пищу на глазах кравчего.

Анну Михайловну ввели в Золотую палату, поставили перед благовещенским протопопом Стефаном Вонифатьевичем, который благословил ее и дал ей крест.

И, держа крест, Анна Михайловна сказала клятву верховных боярынь:

— «Лиха не учинити и не испортити, зелья лихого и коренья в естве и в питье не подати и ни в какие обиходы не класти и лихих волшебных слов не наговаривати над платьем и над сорочками, над портами, над полотенцами, над постелями и надо всяким государским обиходом лиха ни которого не чинити».

Анна Михайловна поцеловала крест, икону богоматери, подошла к царице, поклонилась ей до полу, и та дала ей поцеловать руку.

— А теперь пойдемте старые вещи глядеть,— объявила Мария Ильинична.

Не было у нее занятия любезнее, чем перебирать платья и украшения, доставшиеся ей от прежних цариц.

2

17 апреля в Москву прибыл гонец с белогородской засечной линии от воеводы князя Никиты Ивановича Одоевского: казачий полковник Богдан Хмельницкий стакнулся с крымским ханом и теперь ведет всякую чернь и татар грабить русские украйны.

Гонца выслушал дьяк Посольского приказа Назарий Чистый и тотчас поскакал в Коломенское, Ближний боярин Борис Иванович Морозов вместе с молодой женой был здесь на царской соколиной охоте.

На охоту выезд совершили торжественный, семейный. Впереди в красном платье с птицами скакали сокольники. За сокольниками попрыгивала веселенькая легкая карета государя. В карете сам Алексей Михайлович и

Борис Иванович Морозов. За царской каретой верхом ехали стольник Афанасий Матюшкин и начальник над сокольниками Петр Семенович Хомяков. Следом двигалась карета царицы, запряженная двенадцатью лошадьми. С царицей ехала ее мать и ее сестра Анна. За царицыной каретой гарцевали верхами тридцать шесть девиц в красных юбках, белых шляпах с алыми шнурами, закинутыми на спину. За царицыной охраной катила новехонькая карета новехонького боярина Ильи Даниловича Милославского, а с ним ехал Федор Михайлович Ртищев, потом уж, сияя как солнце, подминала дорогу серебряная карета боярина Морозова — свадебный подарок государя. Карета пустовала. За серебряной каретой двигалась огромная колымага царевен, а в ней Ирина Михайловна, Анна Михайловна и Татьяна Михайловна. За колымагой царевен ехало сорок дворян, а потом еще тридцать колымаг прислуги.

Село Коломенское было в шести верстах от Серпуховской заставы по Каширке. Выехали после обеда, чтоб провести вечер на Москве-реке, а утром скакать на охоту.

Из всех своих сел Коломенское Алексей Михайлович жаловал более других. Он велел сделать себе над рекою лавку, чтоб на реку глядеть.

Глядеть на реку — все равно что в младенческую протоку души своей. Вязкие берега жизни теснят протоку, а она, чистая до самого дна, хоть и петляет, но бежит, бежит изо всех сил, потому как остановиться нельзя — тотчас и затянет.

На лавке своей государь один любил сидеть. Даже в тот семейный приезд улучил минуту.

Дрожал островок мошки в теплом воздухе, и сам воздух над рекою вздрагивал — этак вздрагиваешь, покрывшись вдруг мурашками в тепле с пронзительного холода,— зима из тела земли вон выходила.

Река лилась, причмокивая, всхлипывая, как сладко присосавшийся к коровьему вымени теленок.

Тепло было раннее, но стойкое, и пахло уже поднятой сохами землей.

— Спать, государь, пора,— подошел к царевой лавке Петр Семенович Хомяков.

— Иду, Петр Семеныч.— Царь встал, поглядел на молодые голые дубки, силившиеся подпирать теплое низкое небо.— Как бы дождь завтра не зарядил. В дождь птицы не полетят.

— За ночь весь выльется — небо синей будет.

Дождь и впрямь загулькал среди ночи.

— Ишь какой ласковый!— удивился Алексей Михайлович.

— В тебя, государюшко мой,— притуркнулась к мужу Мария Ильинична.

— Совсем меня захвалила,— довольный-предовольный, Алексей Михайлович погладил жену по голове.— Охота бы не сорвалась.

— Как мы ехали нынче!— вспомянула Мария Ильинична.

— Да как же мы ехали?— забеспокоился Алексей Михайлович.— По чину ехали.

— На удивление всем ехали! Шведский посол, в щелочку я видела, и тот выбегал глядеть.

— Да уж какая у нас езда...— сказал государь и сам не понял: осудил, что ли?

— Аннушка, сестрица, уж больно радовалась. А на карету свою наглядеться не может.

— Вот и хорошо, что радуется. Лишь бы не завидовала.

3

Пустили соколов Беляя да Промышляя— двух дикомыт, пойманных уже после того, как успели перелинять на воле, птенцов высидеть.

Хорошо летели. Гораздо высоко.

—Не пора еще, рано на охоту выехали!— забеспокоился Хомяков.— Не слазят на уток.

— Давай холмогорских попробуем пустить, северных!— загорелся Алексей Михайлович.

— Разве что молодиков? Лихача да Бумара.

— Пускай!

Пустили.

Оба залетели безмерно высоко, и Бумар на охоту не пошел, а Лихач кинулся с неба на озерцо и напал сразу на два гнезда шилохвостей. Утки брызнули по озеру, хлопоча крыльями в беспокойстве, а Лихач ушел в небо, кинулся на гнездо чирков, согнал птиц с гнезда и снова ушел в небо, выбрал жертву, и погнал шилохвоста по озеру, и ударил по голове. Утка закрутилась, кувыркнулась и ушла под воду.

— Худо заразил!— крикнул государь.— Стрелять ее надо.

Утка вынырнула, подплыла к берегу, и все увидали, что у нее не только голова побита, но и живот

распорот — кишки вон. Шилохвост выбрался на берег, и тут небо для него закрылось. Это Лихач сел на добычу.

— Скачет! Скачет! Братец скачет!— кричала царевна Татьяна Михайловна, хлопая в ладоши.

Алексей Михайлович подскакал, соскочил с лошади.

— Вот, государыни! Первая добыча!— И передал Марии Ильиничне шилохвоста.— Лихач добыл, молодик холмогорский.

— С почином тебя, государь!— Царица поцеловала мужа троекратно, и сестры облобызались с ним, и мать Марьи Ильиничны. Шагнула было и Анна Ильинична, да вспыхнула: положено ли ей? Алексей Михайлович сам подошел, поцеловал в губы, и губки те дрогнули обидчиво, и глаза как бы пеленой подернулись. Надо же ведь! Увидала в тот миг, как царь ее целовал, своего суженого. Тоже ехал на женский холм, ехал, сидя тяжело, боком, словно снизу его то ли кололо, то ли припекало.

— Борис Иванович!— полетел воспитателю навстречу Алексей Михайлович.— Как Лихач шилохвоста заразил! Любо-дорого! Так заразил, что кишки вон!

Морозов понимающе кивал, но было видно, что другим его мысли заняты.

— Великий государь, гонец от Никиты Ивановича Одоевского. Казачий запорожский полковник Хмель с чернью и татарами на украйны идет.

— Эти гонцы всегда не вовремя! Когда я в радости, пусть на другой день являются.

— Великий государь, в Москву меня отпусти! Нужно объявить службу всей земле... Не то страшно, что татары идут,— не впервой! Страшно, что полковник чернь увлек. Наши-то холопы как кинулись к тебе на вербное с челобитьем! Пока весть о Хмеле до народа не дошла, нужно казнить челобитчиков. Чтоб другие знали свое место.

— Делай как знаешь, Борис Иванович, а я потешусь! Сначала-то пустили дикомытов, а они на уток не слазят. Петр Семеныч испугался: рано, мол, с охотой затеялись. А молодиков пустили — другое дело.

— Ни пуха тебе, ни пера, государь!

— К черту!— засмеялся Алексей Михайлович и ускакал в поле.

4

Базары в Москве бывали по средам и пятницам. Зимой торговцы устраивали у Кремля, на льду Москвы-реки. Летом — у Василия Блаженного.

Савва с названым братом торговал пирожками — не нашли они брата-беглеца на Соловках.

Москва жила по-прежнему.

Неделю назад, 22 апреля, царь объявил «службу всей земле». Одним дворянам надлежало ехать в Яблонов, Белгород, Ново-Царёв. Другим без мешканья — в столицу.

Указ города не переполошил. О татарском набеге и не судачили почти: то ли будет, то ли нет, а коли будет, остановят, не допустят до Москвы. Судачили о Петре Тихоновиче Траханиотове. Он 23 апреля справил новоселье. Такие палаты отгрохал — боярам иным на завидки.

Неделя прошла, а все еще вспоминали о пирах судьи Пушкарского приказа. Один пир для бояр закатил, другой — для своих приказных. Для приказных пир у судьи — разоренье. К начальству без подарка прийти никак нельзя. Да на подарок еще и поглядят, если не дорог — побить могут. И уж тогда места ни в каком приказе не сыщешь.

— Растуды нашего пушкарского начальничка! Как татарин, на пиру своем разорил!— кричал писарек, горько запивший после сладкого меда за столами Петра Тихоновича. Уже по пояс голый, в исподниках, он размахивал зелеными портами и вопил на весь базар:— Да купите же! Чем скорее купите, тем скорее пить брошу. Бог вас наградит. Да растудыт вашу! Хорошие порты. Сам Траханиотов стянуть зарился!

Из толпы вынырнули два дюжих молодца, отмолотили ярыжку палками, приговаривая:

— Царь браниться не велит! Грамотный! Сам небось бумагу строчил!

Старший брат потянул Савву за руку: уходить, мол, нужно — противно!

Перешли в меховые ряды, но и сюда люди Плещеева нагрянули. Так и цапают глазами человека. Подошел один к молодому купцу, встряхнул черно-бурую лису, спросил у товарища своего:

— Хороша лисонька?

— Очень даже хороша!— похвалил купец свой отменный товар.

— А коли хороша, получай!— И подьячий положил на прилавок сеченный пополам талер.

— Смеешься ты, что ли?— удивился купец.

— Скажи ему, смеюсь я или как!— обратился покупатель к своему товарищу.

— Нет, он не смеется,— объяснил товарищ, расплываясь в улыбке.

— Да я караул закричу!— взъерепенился купец и тотчас получил удар по голове.

Ударили палкой, больше для острастки. Купец выхватил шестопер и увидал, что к нему идет медленная, прекрасно вооруженная дружина, а впереди дружины — сам Плещеев.

— Сколько стоит весь твой товар?— спросил Плещеев купца.

— У меня товара на шесть сотен. Помогите! Подошли — взяли лучшую лису, по голове ударили.

— А ты сразу за шестопер! Смертоубийство хотел учинить? В тюрьму его!

— Смилуйся, боярин! Не хотел я смертоубийства... Возьми что твоей душе угодно, только избавь от ямы.

— Бога за меня моли,— сказал Плещеев, забирая шестопер и окидывая глазами товар.— Все тут моей душе угодно. Все!

Люди Плещеева вошли в лавку и забрали меха до последнего хвоста.

Савва, как увидал Плещеева, потянул брата, чтоб увести от греха. Но брат тоже увидал Леонтия Стефановича и с места не тронулся. Стоял серый, как трава у дороги.

«Господи!— воскликнул про себя Саввушка.— Господи, пронеси! Наголо кудри остригу — пронеси!»

Но Плещеева не пронесло. Он остановился вдруг возле пирожников, взял три пирожка, достал денежку и положил ее в одеревенелую ладонь Саввы.

— Вкусные пирожки!— сказал Плещеев.— Втор-Каверза, попробуй-ка.

И каждый из свиты земского судьи купил по три пирожка и заплатил!

Ушли.

Савва вытер кулаком, полным денежек, мокрый лоб.

— Да пошли же ты! Пошли!— тянул он старшего брата.— Все равно кончились пирожки. А мне на Вшивый базар теперь нужно.

Старший брат удивленно поглядел на Савву.

— Боялся я, что кинешься на них! Вот и дал зарок: коли пронесет— кудри состригу.

Старший брат пригнул Саввушкину голову — перерос его парень,— к груди прижал, а потом и поглядел в ту сторону, куда ушел Плещеев. Черными стали светлые его глаза.

5

Вшивый базар помещался под открытым небом возле Посольского приказа. Потому и Вшивый, что здесь стриглись. Проскочи по площади конница — не услышишь. Идти мягко, словно под ногами трясина. Никому и в голову не приходило подмести площадь.

Капитан Иноземного приказа Юрий Вынброк, недавно прибывший в Москву, с удивлением и опаской ступал по этой необыкновенной площади. Капитан бежал от Кромвеля. В Англии бушевала гражданская война. Вынброк успел повоевать против Кромвеля, за Кромвеля, опять против Кромвеля и теперь наслаждался миром сказочного Московского царства.

Капитан остановился против цирюльника, который, не жалеючи, оболванивал Савву.

— Тебя тоже постричь?— спросил цирюльник капитана.— Я вижу, ты человек сообразительный. Лучше подождать маленько, чем стричься у тех, кто и ножницы-то держать как следует не умеет.

Вынброк русского языка не знал и ответил улыбкой.

— Из какого царства к нам? Из Свейского? Из Голландии? Из Шотландии?— спрашивал словоохотливый цирюльник, глядя на капитана и прихватывая ножницами ухо клиента.— Ну, парень, и волосы у тебя! Только ножницы тупить.

— Ухо отпусти!— закричал Савва.

—Чего орешь?— рассвирепел цирюльник.— Чай, не отрезал!

Савва потрогал ухо — крови не было.

Вынброк беззвучно хохотал.

— Вот, учись!— показал на иноземца цирюльник.— Смеется, а не слыхать. Ты из Франции, что ли, драгун? Из Бранденбурга?

— Инглэнд!— Вынброк догадался, о чем его спрашивают.

— Ингла!— закивал головой цирюльник и прихватил ножницами другое ухо.

Савва рванулся, но цирюльник обнял его и не пустил.

— У меня не убежишь! Сиди! Я не то что другие, работу до конца довожу.

Савва, может быть, и не дал бы закончить работу, но, глядя на хохочущего инглэнда, он вдруг сообразил: «Ведь этак вот можно имя братово узнать. Привести брата в церковь, и пускай поп говорит все имена подряд, пока безъязыкий знак не подаст!.. Два года по монастырям странствуем, а до такого не додумался».

Заиграла солдатская труба. Вынброк удивился и, придерживая шпагу, побежал к Иноземному приказу.

По Вшивому базару проехали глашатаи, звали народ на Красную площадь смотреть казнь холопов, ударивших государю челом о свободе.

Цирюльник все еще стриг бедного Савву, когда по базару, как метла, прошли люди Плещеева, погнали народ на Красную площадь.

6

Подьячие на все четыре стороны читали в толпу царский указ: семьдесят холопов-челобитчиков были помилованы, смертную казнь государь заменял им ссылкой в Сибирь. Но шестерых заводчиков поставили на Лобное место.

Место казни было оцеплено драгунами, и в их начальнике Савва узнал Лазорева. Только не тот это был час, чтоб встрече радоваться.

Казнили холопов поодиночке. Покатилась первая голова, вторая

— За что?— крикнули в толпе.

— Христопродавцы!

— Царя! Пусть царь выйдет!

В мертвое пространство между Лобным местом и толпой выскочил на коне Плещеев, погрозил плетью.

— Погоди, Плещеев! И твоя голова так-то вот попрыгает!— звонко крикнули из толпы.

— Гони! Бей!— приказал Плещеев, и его люди принялись буравить людское море.

Толпа шатнулась, наперла, цепочка стрельцов лопнула.

— Плетьми!— крикнул Плещеев.

Толпу погнали.

— Что вы стоите? Хватайте зачинщиков!— подскочил Плещеев к Лазореву.

— У меня такого приказа нет!— ответил драгунский полковник, и его драгуны с места не тронулись.

«Обманчивая тишина в сказочном царстве»,— подумал про себя наемник, капитан Вынброк.

7

На следующий день дьяк Назарий Чистый позвал в приказ полковника Лазорева и выдал ему из казны семь тысяч рублей —заплатить из них драгунам по полтине на месячный корм и по рублю на платье.

И еще было дадено три тысячи для передачи донским казакам.

Драгуны, вся тысяча, пришли в Лужники, где теперь была их ставка, получить жалованье, затеяли с Лазоревым спор. Они хотели, чтоб им перед походом выплатили жалованье сполна: не по рублю, а по одиннадцати рублей.

Лазорев обещал похлопотать, но просил получить то, что дали.

Из тысячи по рублю согласились получить четыреста человек, остальные, сговорясь, решили стоять твердо.

Дьяк Назарий Чистый, как услышал про это, позвал Плещеева и приказал ему непокорных драгун разогнать.

— В Воронеже дешевых наберем.

Лазореву было велено с четырьмя сотнями покладистых собираться в дорогу.

Начались хлопоты, бега по приказам. Получали подводы, продовольствие, фитили, топоры и кирки, готовили знамена и барабаны.

8

17 мая Алексей Михайлович и царица Мария Ильинична отправились в Троице-Сергиеву лавру на богомолье по случаю троицы, а также испросить благополучия чаду во чреве, ибо царица была тяжела.

Перед отъездом оружейничий Григорий Гаврилович Пушкин показывал царю чеканный оклад на образ Алексея, человека божьего, и Марии египетской, который государь заказал в тот же день, как узнал, что царица понесла.

Москва готовилась к празднику. Люди молились богу, наряжали дома зелеными ветками.

В тот день Любаша, полковничья жена, водила в церковь своего сыночка. Вернулась домой, а возле крыльца — свинья зарезанная, чужая. Никто из домашних и не видал, как подкинули.

Чародейство? А может, и того хуже, поклеп собираются возвести?

Кинулась Любаша к протопопице-соседке, к жене Неронова, за советом.

Крыльцо святой водой окропили, а свинью закопали в огороде.

Только управились — загромыхали в дверь. Явился подьячий Земского приказа Втор-Каверза с двумя ярыжками и другим соседом, человеком без роду-племени, без занятия.

— Свинью у меня полковник со своими дворовыми зарезал и уволок!— поклепал сосед, глазом не моргнув.

— Найдем! И обидчика накажем!— пообещал Втор, оценяя оком убранство комнаты, и вдруг сказал:— Хозяюшка, слышал я, опашень у тебя — всей Москве загляденье.

Любаша хоть и слышала про разбойные дела Земского приказа, а не поняла, чего это подьячий про ее платье заговорил. Промолчала.

— А ну-ка, ребята! Поглядите, какое в этом доме варево сегодня!

Ярыжки юркнули на кухню и доложили:

— Вкусное варево!

— Подавайте на стол, будем пробовать, на свинине или нет варено?

Когда Андрей Лазорев прискакал домой отобедать, в доме шел пир горой.

— А вот и хозяин!— воскликнул Втор-Каверза, выбивая о стол мозг из кости.

Лазорев поглядел на домашних, жавшихся по углам.

— Сосед наш говорит, что свинью ты у него в сарае зарезал. Пробуют, на свинине ли у нас обед,— объяснила Любаша.

— На свинине?— спросил Лазорев Втора-Каверзу.

— Опашень, говорю, у жены твоей всей Москве на зависть!— сказал Втор, посасывая косточку.

— А варево-то на свинине?

— А это смотря по твоей сообразительности,— ответил Втор, вытирая о скатерть руки.

Лазорев подошел к столу, взял ложку, отведал щей.

— На говядине. Буду из вас выбивать свое!— Лазорев выхватил из-за пояса шпагу и приставил к круглому пузцу Втора.— Лавку на середину горницы!— приказал Лазорев домашним.— Да кнутов ременных. А теперь, господа, за дело! Попотчуйте клеветника. Да постарайтесь у меня!

Переложил шпагу в левую руку, а правой достал пистоль:

— Не угодите мне — мозги так и вышибу!

Ярыжки второго приглашения не ждали, положили соседа Лазоревых на лавку и спустили с него три шкуры.

— А теперь начальничка вашего угостите.

— Я — правая рука Плещеева!— вскочил Втор-Каверза.

— А я — десница государя!— И вдруг пальнул в ноги ярыжкам.— Чего стоите?! Выпороть лихоимца! Да так, чтоб полгода на заднице сидеть не мог.

Втора выпороли.

— А теперь — вон! А еще раз сунетесь, я со своими драгунами приказ ваш приступом возьму и перевешаю вас всех на радость Москве-матушке.

А Плещеев в это же самое время вышибал из Девичьей слободы непокорных драгун. Его люди врывались в избы, отбирали у драгун оружие, самих выставляли на улицу, коленом под зад — ступай на все четыре стороны. Холостых — ладно бы еще, но и семейных не миловали. Выкидывали на улицу скарб, а что получше— прихватывали.

Целых две телеги добра привезли Плещееву на двор. Добро перенесли в горницу, и жена Плещеева с прислугой и приживалками принялась разбирать барахлишко: что себе, что дворне, а что в приказ, ярыжкам.

Бездомные драгуны бродили по Москве, тянули всякое, лишь бы лежало плохо, напивались, ломились в дома, требуя пустить на постой.

Протопоп Иван Неронов отвечал в своей Казанской церкви народу, а народ его спрашивал:

— Батько Неронов, скажи, как спастись от куража Плещеева? Криком кричи, а заступиться за нас, простых людей, некому.

— Храм божий не место для решения земных паскудных дел!— ответил Неронов.— Но помните: господь все видит. От его десницы ни один злонамеренный властелин не уйдет.

— Нужно царю челобитную подать!— сказал кто-то из прихожан.

— Одни уже подали. До сих пор головы торчат на пиках.

— Ту челобитную бояре перехватили. Пойдет госу-

дарь от Троицы — тут-то ему и передать нашу грамоту в собственные руки.

— Ее еще написать нужно.

— Да любой ярыжка напишет! Тут мудрить не надо. И так всем видно, что Плещеев творит.

— Помолимся господу!— провозгласил Неронов, отвлекая народ от опасных речей, но его опять перебили.

— Батюшка, помоги!— К протопопу через толпу протиснулся Савва со своим названым братом.— Ему Плещеев язык отрезал. Я с ним два года хожу, другого брата ищу, а как звать — не знаю. За здравие подать и то нельзя.

— У соседей надо спросить, отрок!

— Нету соседей! Весь посад, пока по монастырям ходили, сгорел.

— Чем же я тебе помогу, отрок?

— Ты все имена знаешь. Называй по порядку, он свое услышит — отзовется.

— Всех имен не перечесть,— покачал головой Неронов.

— Батько, попробуй!— зашумели прихожане.— Ишь Плещеев, такого мужика загубил.

— Разве попробовать?— опять засомневался Неронов.— Сегодня у нас день апостола Ермия, вчера был Исаакия. Дале вспоминать — Никита, Игнатий, Киприан, Фотий, Иона, Дидима, Карп, Макарий, Ферапонт, Иоанн, Каллиник, Фавст, Серапион, Стефан, Мелентий, Михаил, Леонтий, Василиск, Феодор, Фалелий, Корнилий, Андроник, Акакий, Менандр, Симеон, Вахвия...

Названый брат опустил голову.

К Савве протискивались люди, выкрикивали имена. И все были не те.

— Ох, господи! Попы так назовут, сам не выговоришь!— крикнула старушка.— Вот я —Сиг-клик-тиккия.

— Да не Сиг-клик, а Сигклитикия!— поправил Неронов.— Прихожане, помолимся!

Воздел руки. Дал знак певчим, и те грянули мощно и прекрасно: «Господи, помилуй!»

9

Думный дьяк Назарий Чистый возвращался верхом из Лужников: Лазореву было приказано второго июня покинуть с драгунами Москву. Второго июня должен был состояться крестный ход из Кремля в Сретенский

монастырь с чудотворной владимирской иконой пресвятой богородицы. Этот праздник был установлен в 1514 году и происходил ежегодно 21 мая. Однако по случаю царского богомолья в лавре крестный ход перенесли.

Недовольные драгуны в такой день были в Москве ненадобны.

Назарий ехал к себе домой в Кремль в самом мрачном расположении духа, словно бы грозовая туча стала над Москвой, томит, а разразиться никак не может. И вдруг дьяк увидал черную корову.

Корова бежала навстречу, встряхивая головой, и с губ ее падала пена. Бешеная!

Лошадь, не слушая узды, пошла вскачь, корова метнулась к лошади, ударила рогами, и Назарий Чистый вылетел из седла.

Он очнулся дома, пошевелился и понял — расшибся здорово, но не до смерти.

— Вот гроза и грянула!— ухмыльнулся Назарий, вспомнив свои мрачные предчувствия.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

1

Первого июня Алексей Михайлович возвращался в Москву с богомолья. У заставы государя встречали князья в боярском чине Михаил да Иван Пронские, окольничий князь Ромодановский, думный дьяк Волошенинов, которым государь поручил ведать Москву.

Управители доложили о тишине и покое в стольном граде, а народ, высыпавший на погляденье, поднес государю хлеб да соль. Подносили хлеб не из простых, не холопы какие-нибудь, а богатейшие посадские люди. Говорили они царю вежливо, о всяком благополучии, тут бы и конец церемонии, но вдруг все они поклонились царю до земли и стали молить, чтоб великий государь пожаловал их, принял бы у них челобитную в собственные руки — о притеснениях начальных людей.

— Мне нельзя принять!— сказал государь.—По чину делайте.

— Разойдитесь!— приказал Волошенинов.

Стрельцы бердышами потеснили благонамеренных просителей. Толпа заулюлюкала, надавила.

Конная стража плетьми погнала людей прочь с царского пути. Но едва царь и его свита удалились, как у

заставы опять собрались посадские люди и решили ждать царицу: Алексей Михайлович челобитную не принял, может, Мария Ильинична смилостивится.

Богатые посадские люди причесывали бороды, оправляли одежды, приготовили хлеб и соль, но их потеснили холопы.

— Вы хоть и тугие кошельки, и вид у вас боярский,— сказал им дворник Протаска,— а почет вам такой же, как и нам.— Повернулся к своим:— Ребята! Не мешкайте. Как царицына карета подойдет, налегай на стрельцов, а я подбегу к карете да и суну челобитную в собственные ее величества ручки!

— Хуже бы не было!— испугались богатые горожане.

— Хуже не бывает! Ребята, помните: всем миром друг за друга надо стоять! Вот ты, широкий, иди сюда!— Протаска потянул за рукав названого брата Саввы и поставил возле себя.— Ты со стрельцом схватишься, а я из-за твоей спины и выскочу. А ты бы, парень, шел отсюда.

— Я с ним,— сказал Савва,— я всегда с ним!

— Ну, гляди в оба! Поймают — голова долой!— И засмеялся, и всем полегчало: легче трудное дело делать, когда есть веселые люди.

В жизни все быстрей случается, чем словами про то, что случилось, рассказать.

Савва увидал карету, стрельцов, важного старика, шагавшего пешком за каретой.

— Морозов!— узнали в толпе.

И тотчас Савву толкнули в спину, да так сильно, что он упал под ноги стрельцу, стрелец стукнул его древком бердыша, перешагнул через него.

Заорали, побежали... Савва увидел в полушаге от себя золоченые спицы на колесах царицыной кареты, услышал высокий, напуганный женский голос:

— Чего они хотят? Чего дерзят?

Савва поднял голову: возле кареты стоял Морозов и быстро, хрипло отвечал царице:

— Этих молодцов нужно всех перевешать. Распоясались!

Савва вскочил, побежал, но его ударили промеж лопаток, схватили, толкнули. И он увидал себя среди таких же, как он. И своего названого брата.

— Ты здесь!— обрадовался Савва и обомлел: у брата руки скручены веревкой.

Стрельцы окружили, погнали арестованных бегом, потому что в стрельцов из толпы летели камни и палки.

Досталось и боярам, а больше всех Семену Пожарскому — лицо камнем рассекли.

Арестованных было шестнадцать человек, их отвели в Цареконстантиновскую башню, где был застенок.

2

Царица Мария Ильинична донесла слезы до своих покоев, перед Анной Михайловной Ртищевой расплакалась.

— Боже мой, какие они все страшные! Они хотели убить милого, доброго Бориса Ивановича. Я слышала, они грозили ему. Страшно! Живешь и не знаешь, как страшно жить!

К царице пришел государь. Сел с ней рядышком, по плечу гладил.

— Такая уж наша судьба, у царей! То ничего-ничего, все живут, все довольны, а потом — раз! Как шлеей под хвост. Бегут, орут, бьют.

— Но чего они хотели?

— Они всегда чего-нибудь хотят. Бориса Ивановича грозились убить, а кто посад им устраивает? Борис Иванович. Кто налог на соль отменил? Борис Иванович. Никто о простых людях так не печется, как Борис Иванович... Чернь благодарной не бывает.

3

В застенке человека, поднятого на дыбу, Борис Иванович сам спрашивал:

— На чьем боярском дворе писали челобитную? Кто вас подослал царице челом ударить? Палачи!

Палачи старались, трещали кости, но поднятый на дыбу молчал.

— Ну так и навеки у меня разговаривать разучишься!— взъярился боярин.— Отрезать ему язык.

Палачи открыли рот упрямцу и ахнули:

— У него язык до нас отрезали.

— Тьфу ты, пропасть! Снимите его! Ради завтрашнего праздника не трогайте их больше. В субботу приду!

На крыльце дома Бориса Ивановича встречал управляющий Моисей.

— Господин, я тебя давно дожидаюсь.— По тощему лицу Моисея ходили красные пятна.

— Говори.

— Пока ты был на богомолье, я изучал положение светил на небе. Быть большому несчастью, господин. Будут смерти среди высших людей, две или три. Сам ты тоже подвергнешься опасности.

Морозов улыбнулся.

— Ты и впрямь, Моисей, большой волшебник. Я уже сегодня подвергся опасности, и больших бояр, хоть до смерти не прибили, но Семену Пожарскому до кости лицо прошибли... Будь спокоен, Моисей! Гроза миновала.

Перед сном Борису Ивановичу доложили:

— В Москве тихо.

4

В пятницу второго июня государь с боярами вышел на Красное крыльцо, чтобы следовать в Успенский собор, а оттуда с патриархом, митрополитами, архиепископами, игуменами и протопопами идти крестным ходом в Сретенский монастырь.

У Красного крыльца стояла праздничная толпа, на небе было чисто, дул несильный теплый ветер, и государь, улыбаясь, сошел по ступеням к народу. Толпа разом пришла в движение, заколыхалась, потянулась к государю:

— ...Великий! Великий! Молим тебя! Защити от лихоимства начальных людей! Спаси от Плещеева! Погибаем!

Государь отпрянул, нашел ногой ступеньку, поднялся.

— О чем вы просите?

— Назарий Чистый ограбил! Плещеев ограбил! Траханиотов!

— Напишите челобитную!— крикнул государь.

— Писали! Вчера тебе хотели дать.

— Защити!

— Отпусти наших челобитчиков! Вчера Морозов их схватил. В застенке мучит.

Алексей Михайлович гневно повернулся к боярам, нашел глазами Морозова.

— Борис Иванович! Как ты осмелился, меня не спросясь, взять под стражу добрых людей?

Громко сказал, грозно.

Морозов опустил голову.

— Виноват, великий государь!

— После крестного хода я сам разберу ваши просьбы,— пообещал государь обрадованной толпе.

— Кланяемся тебе!— кричали люди.— Многие лета государю! Многие лета!

Крестный ход вышел из Кремля под радостные и одобрительные возгласы успокоенного народа. Впереди с крестом шествовал государь, но на Красной площади наперерез процессии выкатилась, как огромный пчелиный гудящий рой, другая толпа — из московских слобод пришли посадские люди.

— Да когда же это кончится!— крикнул государь, оборачиваясь к боярам.

Патриарх Иосиф осенил новую толпу архиерейским крестным знамением:

— Православные, успокойтесь! Не препятствуйте богоугодному делу. Не гневайте господа!

— Царь, ребят наших освободи!— закричали из толпы.— Освободи! Они зла не чинили, челобитную тебе несли!

— Царь! Вели Плещеева в застенок посадить!

— Да в чем же провинился Леонтий Стефанович?!— воскликнул Алексей Михайлович.

— О-о-о!— взревела толпа.

— Грабит! Всех! Всех грабит! И бедного грабит! В дома врывается! Товары берет — денег не платит! Людей невинных сажает в тюрьму, чтоб взятку с них спросить.

— Да это же разбой!— вскричал государь.— Православные, обещаю вам, придя из монастыря, во всем разобраться. Сегодня же!

Опять гул одобрения. Толпа распалась, давая дорогу крестному ходу.

Во время молебна к Алексею Михайловичу подошел думный дьяк Волошенинов, ведавший сыском политических противников царя.

— Великий государь, пешим идти в Кремль опасно. На улицах толпы холопов и посадских людей, к ним присоединилась часть стрельцов и разогнанных дьяком Чистым драгунов.

— Я поеду на лошади,— согласился государь.

5

Коня схватили за узду:

— Стой, государь! Выполняй свои обещания!

Волошенинов конем сшиб наглеца, но из толпы передали челобитную.

— Прими, государь!

— До того ль теперь великому государю!— закричал Волошенинов, выхватывая и разрывая челобитную.— Не останавливайся, государь!

Бояре, ехавшие за Алексеем Михайловичем, принялись кто плетью, кто посошком бить обнаглевшую чернь.

«Господи, пронеси!» — шептал Алексей Михайлович, страшась поднять глаза на бушующую стихию толпы: он на бродячих собак глядеть боялся, бежит мимо — пусть себе бежит, а поглядишь на нее, она и привяжется.

Народ за государем следом повалил в Кремль.

— Почему стрельцы не закрыли ворота?— кричал на своих подручных Морозов.— Уж я прознаю, чьи это происки!

Приказал московскому стрелецкому войску, всем шести тысячам, прибыть в Кремль, очистить его от народа, да и на Красной площади чтоб ни единой души!

Бунт бунтом, но пора было садиться за праздничный стол. Государь обедал сегодня с патриархом Иосифом, с Морозовыми, Борисом Ивановичем и Глебом Ивановичем, с Ильей Даниловичем Милославским, с Никитой Ивановичем Романовым, князем Темкин-Ростовским и оружейничим Григорием Гавриловичем Пушкиным.

— Видно, бог наказывает!— пожаловался государь.— Я, пребывая в счастье и радости, забыл о моем богомольце Никоне, а уж он доставил бы мне челобитную от обиженных, и не было бы сегодняшнего ужасного дня.

— Коли заноза загноила, пусть созреет нарыв да и лопнет!— сказал Морозов.— Теперь все зачинщики на виду.

Долгим взглядом поглядел почему-то на Никиту Ивановича Романова:

— Да где же их сыскать теперь, зачинщиков?— удивился Алексей Михайлович.— Вся Москва на улицы высыпала... Ах, Плещеев! Леонтий Стефанович! Сегодня же взять его и спросить за все неправды!

— Великий государь!— воскликнул Борис Иванович.— Надо еще разобраться, кто на Плещеева поклеп

возводит! Плещеев — человек строгий. От пьяных Москву избавил, от убийц. Они-то и кричат небось громче всех!

Никита Иванович Романов засмеялся:

— Неблагодарное у тебя дело, Борис Иванович,— такого черного разбойника взялся обелить... Да у них в роду это! Забыл, что ли, деяние братца Леонтия Стефановича? Где он ныне? В Нарымском остроге?

— А что его брат совершил?— спросил государь.

— Да в каком это было?.. В сорок первом году!— вспомнил Никита Иванович.— Чтоб самому поживиться и слугам своим заплатить, старший Плещеев поджег домов сто. Дом подожгут и помогают барахлишко из огня вытаскивать, а после такой помощи хозяин гол как сокол.

— Брат за брата не ответчик,— сказал Морозов.— Но вот кто нынешний гиль заводит, я, государь, клянусь тебе, скоро распознаю.

— Господи, не унимаются!— сказал Алексей Михайлович, прислушиваясь к долетавшему в покои гулу толпы.

Ложку отложил.

— Пусть государь кушает спокойно,— сказал Борис Иванович.— Я вызвал стрельцов. Скоро наступит тишина.

В столовую вбежал дьяк Волошенинов.

— Государь! Народ ломится в Терем! Долго не сдержим!

— Стрельцы прибыли?— спросил Морозов.

— Прибыли, но они нам не помогают.

Алексей Михайлович встал:

— Князь Темкин-Ростовский, выйди к народу да скажи, что тех, кого вчера взяли под стражу, государь велел отпустить. А ты, Борис Иванович, без промедления дай волю всем вчерашним зачинщикам. Отпуская, покажи народу.

Едва князь Темкин-Ростовский вышел на Красное крыльцо, его сдернули со ступенек.

— Пусть сам царь выйдет! А князя его под залог берем!

Кравчий ставил перед царем одно блюдо за другим, но Алексей Михайлович ни к чему не притронулся.

— Боярин Григорий Гаврилович,— обратился государь к Пушкину,— поди ты к ним. Скажи, что государь печалуется на такое непокорство. Пусть без мешканья отпустят князя.

С Пушкина сорвали платье, били кулаками куда попадя, еле дворцовая стража выхватила, втолкнула во дворец.

Государь стоял у окна и все видел.

Перекрестился, подошел к патриарху.

— Благослови, святой отец.

Пошел.

6

Толпа прибывала. Среди простолюдинов стояли, не мешая бесчинству, стрельцы.

— Вышел! Вышел!

— Что означает такое неотступное...— крикнул государь, и голос у него сорвался,— такое неотступное домогательство?

— Где наши товарищи? Ты обещал отпустить!— ответили государю.

— Вот они!— Из дворцовых дверей выпускали по одному вчерашних зачинщиков.

Савва шел вместе с названым братом, загляделся на царя, оступился. Толпа поймала его.

— Плещеева своего выдай!— не успокоились бунтовщики.

— Я хочу сам расследовать, в чем вины Леонтия Стефановича,— ответил государь.— Пусть он за свои худые дела держит ответ. А наказание ему будет самое строгое.

С тем государь удалился, а Морозов, не появляясь перед толпой, приказал стрелецким полковникам построить войско и выбить не унимавшуюся толпу из Кремля.

Раздались команды, но стрельцы, поднявшись на крыльцо, крикнули народу:

— Люди! Не бойтесь нас! Кричите громче, чтоб сегодня же выдали нам изменщика и тирана Плещеева! Мы — с вами!

Стрельцы выбрали десять человек, и те пошли к государю и сказали:

— Великий государь Алексей Михайлович! За тебя мы готовы голову положить, но за лютого супостата Плещеева нам не стоять! А если за него пойдем, то будет нам от людей вечное проклятие! Выдай, бога ради, Плещеева, пока дело не дошло до большой беды.

Алексей Михайлович снова вышел на Красное крыльцо.

— Мой кроткий, добрый народ!— воскликнул он со

слезами.— Видно, крепко тебя обидели, коли ты в таком смятении и буйстве. Но богом вас молю, люди! Не проливайте крови в пятницу. Завтра я выдам вам головой Леонтия Стефановича.

Морозов сложа руки не сидел. Он послал верного человека с приказом своим дворовым холопам — вооружиться и напасть на изменников стрельцов.

На кремлевских площадях завязались драки. Одного старика стрельца зарезали.

Стрельцы кинулись в царские палаты.

— Великий государь, защити от Морозова! Наших людей слуги его калечат и до смерти ножами режут.

— Защитите вы меня от самоуправства слуг Морозова!— ответил Алексей Михайлович.— Если они позволяют себе слишком много, то отомстите за себя!

Неосторожные вырвались слова у государя.

Прямо из царевых палат стрельцы и толпа кинулись к кремлевскому дому Бориса Ивановича Морозова.

На крыльцо выбежал управляющий Моисей. У него были припасены столы с угощениями, но волшебник рта не успел открыть — ударили дубиной по черепу, затоптали, ворвались в дом.

Анна Ильинична стояла в горнице, подняв над головой икону Спасителя.

Икону у нее вырвали, разбили. Боярыню вытолкали из дома, приговаривая:

— Не будь ты сестра царицы, мы бы тебя изрубили на мелкие куски!

И начался погром.

Морозов, заботясь о казне, платил стрельцам голодное жалованье, и стрельцы припомнили теперь свои обиды.

Драгоценные иконы разбивались топорами, платья рвали и резали, жемчуг и драгоценные камни толкли в порошок и выкидывали в окна.

— Не трогайте! То кровь наша!— кричали бунтовщики.

Серебряная карета, стоявшая под особым навесом во дворе, вызвала у народа неистовую злобу. Снаружи и изнутри карета была обита золотой парчой, подкладка на соболях, ободы на колесах, чеки, гвозди — все из серебра. Карету протыкали, резали, сминали дубинами.

Кинулись в погреба, откупоривали бочки с медами,

винами, водками. Напились, но выпить все сил не хватило, бочки разбили. Вина в подвалах набралось по колено, а в доме уже разложили несколько костров, огонь добрался до подвалов, и в небо пыхнул столб синего пламени, пожирая постройки и людей.

Но основная толпа давно уже покинула разоренное гнездо Морозова и ломилась к Назарию Чистому — соляному королю.

Думный дьяк, как услышал, что грабят Морозова, кликнул слуг, чтоб они вынесли его из дома, но болящего бросили. Слуги, не дожидаясь прихода стрельцов и толпы, успели разбежаться.

С помощью мальчика на побегушках Назарий забрался на чердак, укрылся под березовыми вениками и попросил мальчика, чтоб он забросал его копчеными окороками.

Толпа вломилась в открытые двери и тотчас схватила мальчишку, который уже набил карманы золотыми монетами, но не успел улизнуть из дому.

— Убьем! Где кровопийца?

Мальчик показал пальцем на потолок.

Назария сдернули с чердака за ноги, били палками по голове, пока не расплющили. Труп раздели донага и бросили на навозную кучу.

— На Плещеева!— звали толпу вожаки.

— На Траханиотова! В новые палаты!— кричали другие.— Петр Тихонович тоже на соляной казне руки погрел.

— А Пушкина забыли? Его аршин да весы?

— Всех бояр надо искоренить!

Толпа разделилась, кинулась по Москве, освободила Кремль.

В тот день было разграблено семьдесят лучших домов.

В Китай-городе — дом Никиты Ивановича Одоевского и дом Михаила Михайловича Салтыкова. В Белом городе, на Дмитровке,— дома дворецкого Алексея Михайловича Львова, боярина Григория Гавриловича Пушкина, боярина Глеба Ивановича Морозова, на Петровской — дом Василия Толстого... Многим досталось.

За обиды платили разом и сполна.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

1

Водя необыкновенно длинным перстом по строкам Библии, Никон читал книгу пророка Даниила, взглядывая на прихожан страшными пронизывающими глазами. Вдруг он закрыл книгу, застегнул на застежки и долго стоял молча, глядя поверх голов.

— Великий Навуходоносор, царь царей, был лишен господом ума и семь лет, подобно волу, питался одною травой. По прошествии сего времени Навуходоносор вместе с рассудком возвратил прежнее благоденствие. Так наказывает господь забывших страх. Так господь награждает тех, к кому вернулся рассудок.

В редких церквах служили в тот день вечерню. Попрятались попы от рассерженных людей.

В церкви Новоспасского монастыря службы шли чередом, и всякий раз Никон говорил людям слово, уча страху божьему.

Государю о том доложили, и он попросил, чтоб Никон помолился за здравие царицы. Напуганная буйством толпы, беременная царица заболела.

В Кремле было тихо.

Борис Иванович Морозов, окруженный дворцовой стражей, ходил на пожарище.

— Я заплачу им за каждый уголок разоренного моего гнезда,— сказал он, словно бы поклялся, и отдал приказ собрать наемных офицеров и солдат из немцев и привести в Кремль для обережения государя и государыни.

2

Всю ночь Алексей Михайлович молился в своей спальне с юродивым Васькой Босым. Молился и плакал. Васька Босой стоял у двери и время от времени выл,— так воют собаки, предвещая беду.

Под утро Федор Михайлович Ртищев, уговаривая государя отдохнуть, доложил, что ворота в Кремль затворены. Охрану несут стремянные стрельцы и сокольники, а скоро должны подойти немецкие офицеры.

— Что мне охрана!— воскликнул Алексей Михайлович.— Я не за себя молю господа, за мое дитя!

Когда к Спасским воротам строем подошли немецкие солдаты и офицеры, на Красной площади уже стояла

толпа. Против ожидания, народ встретил наемников дружелюбно.

— Вы — честные немцы! Не делаете нам зла. И мы вас не обидим.

Солдат пропустили в Кремль и принялись требовать выдачи Плещеева.

В ответ из Кремля пальнули холостым залпом. Люди кинулись прочь.

Набатом ударили колокола Василия Блаженного, звон подхватили другие церкви. Москва содрогнулась под зловещими воплями людей, а Красная площадь стала темной от великой грозящей толпы.

Молчавшие колокола кремлевских церквей тоже ударили вдруг грозно, торжественно. Ворота Спасской башни распахнулись, и с иконою владимирской божьей матери вышли к народу на Лобное место патриарх Иосиф, митрополит Серапион сарский и подонский, архиепископ Серапион суздальский, архимандрит Никон и другие архимандриты, игумены и весь чин священный.

От бояр великий государь выслал к народу своего дядю, боярина Никиту Ивановича Романова, боярина князя Дмитрия Мамстрюковича Черкасского, боярина князя Михаила Петровича Пронского, а с ними многих дворян.

Может быть, первый раз в жизни снял боярин Никита Иванович высокую свою шапку перед простыми людьми.

— Отец наш!— закричали из толпы.— Утешь! Скажи нам доброе слово!

— Всем миром утолим гнев необузданный!— сказал Романов и покрестился на кремлевские кресты.— Великий государь горестно сокрушается, взирая на беду, постигшую его прекрасное государство. Целую ночь глаз не сомкнул. Молился и плакал с божьим человеком Васькой Босым.

— Да мы все предовольны его царским величеством!— закричали все из толпы.

— Слава! Великому государю Алексею Михайловичу слава!

— Многие лета тишайшему царю-батюшке!

— Как хорошо вы говорите!— прижал к груди руки Никита Иванович.— Государь надеется на вашу доброту и разумность. Он просил меня сказать вам, что как обещал вчера прилежно рассмотреть ваши дела и дать милостивейшее удовлетворение, так свое обещание держит. Народ может успокоиться и разойтись с миром.

— Пусть государь выдаст нам тех, из-за кого приключилась беда!— ответили из толпы.

И разом грянули тысячи глоток:

— Морозова!

— Плещеева!

— Траханиотова!

— Я благодарю вас, люди, что храните верность его царскому величеству!— опять заговорил Никита Иванович.— Я с вами, люди! Виноватых во многих бедах народных нужно наказать. О всех ваших требованиях я тотчас пойду и доложу его царскому величеству, но я клянусь и целую крест, что Морозова и Траханиотова в Кремле нет. Они бежали.

Тут Никита Иванович поцеловал крест у патриарха.

— Пусть государь немедля вышлет Плещеева!— потребовала толпа.

Никита Иванович поклонился народу, сел на коня и поскакал в Кремль.

Народ кинулся к воротам Спасской башни, и вскоре от государя пришли с ответом:

— Его царское величество постановил выдать Плещеева народу головой — казнить его тотчас на Лобном месте. Если будут найдены другие виновники мятежа, то их тоже казнят. Казнь над Плещеевым совершится, как только доставят палача для приведения царского приговора.

Проворные сейчас же кинулись за палачом, а те, кто был на лошадях, помчались на заставы в погоню за беглецами — Морозовым и Траханиотовым.

3

Хоть и ненавидел Никита Иванович Романов выскочку Бориса Ивановича Морозова, но быдло, когда оно вспоминало, что перед богом все равны, весь этот народ, перед которым он шапку ломал, Никита Иванович ненавидел лютей Морозова. Потому и грех взял на душу, целуя крест: Борис Иванович был в то время в Кремле, и не просто был, потеряв волю от страха, а, наоборот, все время действовал.

Спасая Петра Тихоновича Траханиотова, и не только от гнева народа — бояре и духовенство, припомнив ему отнятые во Владимире и Суздале земли и людей, могли настоять на немедленной выдаче и казни,— Морозов выговорил у царя указ, по которому Петр Тихонович

получил в управление городок Устюг Железный. Он бежал из Кремля ночью тайным ходом.

И за жизнь Плещеева Борис Иванович боролся до конца, а когда понял, что дело проиграно, через тайный ход выпроводил всю свою верную дворню с наказом зажечь Москву сразу во многих местах. Увидят бунтовщики, что пылают их собственные дома,— разбегутся. Тогда и Плещеева можно будет отбить у палачей. Бледный, но степенный в движениях, в словах, Борис Иванович и царя своим видом успокаивал, и противников своих смущал.

А народ все же проворнее был пуганых холопов Морозова. Бояре не успели еще сообщить Леонтию Стефановичу Плещееву о том, как решена его судьба, а палач и два его подручных уже протискивались в щель приоткрывшихся Спасских ворот.

— Ради бога, не торопите казнь!— воскликнул Морозов.

— Если мы промедлим хотя бы полчаса,— возразил Никита Иванович Романов,— чернь забудет, что ей Плещеев нужен, и перебьет всех бояр, без разбору.

— Через полчаса Москва будет вновь в моих руках!— твердо сказал Морозов.

— Борис Иванович, забудь о том, что вчера еще не только Москва, но и все Московское царство было в твоих руках,— возразил Яков Куденетович Черкасский.— Мы этого не допустим.

Морозов улыбнулся и слегка поклонился ему. И тотчас закрыл лицо руками: через кремлевскую затоптанную площадь стрельцы вели Леонтия Стефановича Плещеева. Впереди шел священник, позади Плещеева — палачи в красных рубахах.

— Ведут!— крикнула обрадованная стража Кремля.

— Ведут!— прокатилось по площади.

Услышав этот крик-стон, безъязыкий брат Саввы рванулся через толпу к Спасской башне.

Ворота распахнулись. Люди раздались, давая дорогу страшной процессии.

Леонтий Стефанович шел, задирая по-петушиному голову, но к нему тотчас потянулись руки, и он закричал, чуя, что стрельцы не доведут его до Лобного места:

— Люди! Я же не сам! Меня заставляли! Морозов заставлял!

Толпа наседала, и палач взял голову Плещеева под мышку, чтоб не убили прежде времени, без покаяния.

— Ы-ы-ы!— выскочил из толпы брат Саввы, кулаком по голове — и выбил Плещеева из рук палача, схватил поперек туловища, поднял, швырнул в толпу.

Плещеева били все, кто только дотянулся. Мозг брызгал на одежды. Били бездыханный труп, таскали, кровавя площадь, наконец бросили. Какой-то монах отсек топором то, что осталось от головы земского судьи.

— Он меня безвинного сек!

— Морозова!— ревела толпа, громыхая в Спасские ворота.

— Траханиотова!

Ворота отворились, из Кремля выехал князь Семен Пожарский с дворянами.

— Люди! Успокойтесь!— крикнул он.— Государь послал меня догнать и доставить в Москву Петра Тихоновича Траханиотова. Государь выдаст его народу головой.

— Морозова!— закричала толпа.

— Морозова в Кремле нет!

— Го-о-рит!— прокатился над Красной площадью вопль.— Белый город горит! И Китай-город горит! И Скород горит! Вся Москва горит!

4

Князь Пожарский сказал правду: Морозов бежал из Кремля.

По Белому городу крутил огненный смерч. До тайного дома, где когда-то он пытал неугодных людей, Морозову добраться не удалось. Стал пробираться к Неглинному мосту, но тут на улице появилась ватага решительных людей, которая тоже бежала к Неглинному мосту, где стоял самый большой царев кабак.

Борис Иванович отступил в лабиринт узких улочек. Он опять спешил и знал, куда спешит.

Одет он был в платье сокольника: тоже опасно — царев человек,— но все ж не кафтан боярина.

На постоялом дворе было пусто. Морозов юркнул в конюшню, вывел лошадь и стал запрягать в легкий возок. Руки слушались плохо. Ведь не упомнить, когда запрягал лошадь в телегу сам.

— Господи, пронеси!— Руки у Бориса Ивановича дрожали от нетерпения и радости, когда он пристроил вожжи и взнуздал лошадь.

— Эй!— выскочили во двор ямщики.— Эй, мужик!

Борис Иванович вскочил на козлы, шлепнул вожжой по крупу лошади, рванул удила.

— Морозов! Это Морозов!— узнали ямщики и кинулись к своим лошадям.

Пылающей Москвой летел Борис Иванович назад к Кремлю, к потайному ходу.

— Господи, пронеси!

Крутанул вокруг дома Романова, сбивая преследователей, погнал над Москвой-рекой, попридержал у потайного места лошадь, спрыгнул на ходу, скрылся.Тотчас возок настигли ямщики.

— Пропал! Истинный дьявол!— кричали ямщики, обыскав возок и каждый кустик над Москвой-рекой.

5

Татары так не жгли, как сами постарались. Три огненных кольца стояло вокруг Кремля, словно сама земля горела. Неба не было — гарь и дым закрыли его на многие версты вокруг.

Все, что было за белой стеной, сгорело: Петровка до реки Неглинной, от Неглинной до Чертольских ворот, за Никитинскими сгорели все слободы, сгорел весь Арбат с известной церковью Николы Явленного, сгорела Остоженка, Стрелецкие слободы за Арбатскими воротами до Земляного города. Сгорели Дмитровка и Тверская.

Загорелся царев кабак возле Неглинного моста. Тушить пожар было некому. Вокруг кабака улица давно уже почернела от напившихся на даровщину до бесчувствия. Из бочек выбивали донья, черпали вино шляпами, сапогами, рукавицами, лакали.

Вдруг появился черный монах; сопя и ругаясь, он тащил на веревке труп Плещеева:

— Эй, помогите! Пожар не кончится, покуда не сгорит в огне проклятое тело безбожника Плещеева.

На помощь подошли несколько человек. Труп подняли, макнули в бочку с водкой, кинули в пламя. И огонь вдруг сник.

6

За час до ночи в Лужники из Посольского приказа от дьяка Алмаза Иванова пришла полковнику Андрею Лазореву память: «Для бережения денежной и пороховой

казны, мушкетов и прочего оружия драгунам отойти в монастырь к Николе на Угрешу. Казну устроить, самому Андрею Лазореву быть у казны с великим бережением до государева указа».

Драгуны на Дон так и не успели уйти. Второго июня Посольскому приказу было не до Лазорева, подтверждения отправляться не пришло. Да и третьего июня о драгунах, наверное, вспомнили потому только, что среди осаждавших Кремль видели солдат в форме иноземного строя.

В Лужниках от четырехсот человек осталось пятьдесят, остальные ушли в Москву.

С полусотней Лазорев переправился через полноводную Москву-реку, дошел до Коломенского и расположился на паперти Вознесенской церкви.

Раздал своим людям мушкеты.

Над Москвой всю ночь небо было таким красным, словно на облаках жгли угли.

«Где теперь Любаша?» — думал Лазорев, с ненавистью поглядывая на кованую дверь церкви. Покинуть сундучок с деньгами, да пороховую казну, да свинец, да мушкеты он не мог.

Утром явились его солдаты. Человек триста. Пришли взять мушкеты. Но Лазорев к паперти их не подпустил.

— Я не знаю, солдаты вы или разбойники!— сказал им полковник.— А потому богом вас молю, отойдите от церкви. До государева указа.

Весь день было спокойно, когда б не запах гари да не черный дым над Москвой.

К ночи пришли в Коломенское еще несколько ватаг — бывшие драгуны, а с ними много веселых, по-боярски одетых людей. Набралось человек с тысячу.

Сразу же подступили к Вознесенской церкви. Потребовали:

— Полковник, дай нам пик, дай мушкетов и пороху! Пойдем Москву от грабежа защищать!

— Некому этим делом заниматься,— ответил Лазорев,— ни капитанов, ни поручиков нет, ушли в Кремль.

— Не дашь, значит?

— Не дам.

Отошли, но тотчас прислали двух людей.

— Смотри, полковник! Лучше миром дай мушкеты. В лесу три сотни холопов стоят. Они знают, что ты казну стережешь. Придут отнимать — не отобьешься, а мы тебе не поможем.

— Господь не выдаст, свинья не съест,— ответил Лазорев и приказал перенести денежную казну на колокольню, а солдат своих посадил с мушкетами на трех лестницах.

Как стемнело, бунтовщики бросились к церкви, крича, что в лесу на них напали холопы. Вломились на широкие паперти, но казны не нашли.

Лазорев сам бил в колокол и сам же палил сверху из мушкетов. Попал не попал, но отступили.

Утром, оставив дюжину солдат на лестницах, Лазорев сам пошел в наступление на своих бывших драгунов.

— ...Если вы солдаты, а не разбойники, получите продовольствие, а в Москву вам идти не велено. Велено ждать приказа.

Скоро и приказ привезли: всем срочно идти на Дон. Драгунам выдать по два рубля, а кто рубль получил, тем додать. Подводы пригнали: на десять человек одна.

Еще велено было высмотреть и забрать у драгунов награбленное на пожаре, но никого ни за какие дела не наказывать.

Коли не наказывать, так и награбленного не нашли — глаза заволокло.

Всего из тысячи набралось 913 человек. Восемь человек были под стражей, их поймали во время грабежа, но прислали в Коломенское без всякого наказания.

— Остальные в пожаре сгорели!— говорили драгуны.

Погрузились, поехали...

Так и не пришлось Лазореву Любашу перед дальней дорогой повидать...

«Господи, лишь бы жива была!» — думал Андрей, оглядываясь на черные облака дыма над Москвой.

7

5 июня Семен Пожарский привез Петра Тихоновича Траханиотова. Нашли его в Троице-Сергиевой лавре, от раки святого отняли и повезли.

Поместили в Земском приказе, царю доложили. Государь приказал: тотчас казнить.

Сердобольный подьячий Втор-большой послал сказать

жене Петра Тихоновича, чтоб пришла проститься, но та даже видеть несчастного не пожелала.

— Ради нее добро чужое в дом тащил!— сокрушался Петр Тихонович.— Все напасти — от них! И Леонтий Стефанович, знаю, тоже все жене угодить хотел.

На Лобное место палач вкатил березовую чурку. Положил Петра Тихоновича на чурку головой и отсек голову.

Для устрашения — бояр уж, что ли?— голову положили Петру Тихоновичу на грудь и не убирали тела до глубокой ночи.

В тот же день новое правительство заплатило стрельцам то, что сэкономил на них Морозов. Было дадено каждому по восьми рублей.

Начальником Большой казны, Стрелецкого приказа, приказа Иноземного строя стал Яков Куденетович Черкасский.

Борис Петрович Шереметев поставлен был у раздачи денег.

Казанский и Сибирский приказы отдали в управление князю Алексею Мышецкому.

Во Владимирский судный приказ сел Василий Борисович Шереметев, в Московский судный — князь Иван Хилков...

Все земли у Бориса Ивановича Морозова были взяты в казну, а поместье Траханиотова, подмосковное село Пахово, передали во владение Илье Даниловичу Милославскому.

Жене убиенного Назария Чистого на поминки дали пятьдесят рублей.

Плещеев и Траханиотов казнены, стрельцам заплачено — можно и народу показаться. Царь с патриархом и боярами вышел на Красную площадь. Поцеловав образ Спаса, Алексей Михайлович сказал:

— Скорблю и плачу о том, что безбожники Плещеев и Траханиотов совершали такие неслыханные злодеяния. Смерть свою они заслужили черными делами. Ныне на все начальные места назначены благочестивые люди, которые будут управлять народом кротко и справедливо. И будут они править под моим царским бдительным оком. Во всем буду как отец отечества!

— Бог да сохранит на многие лета во здравии твое царское величество!— закричали люди, кланяясь царю.

Но раздались и другие возгласы:

— Морозова выдай! Главного виновника не прячь от нас.

Алексей Михайлович всплеснул руками:

— Да лучше уж меня убейте!— И заплакал.— Не могу я вам Бориса Ивановича на лютую смерть отдать. Много за ним вины! Только не во всем же он виноват. Мой дорогой народ! Люди! Я еще ни разу ни о чем вас не просил, а теперь нижайше прошу исполнить мою единственную просьбу: простите Морозову его проступки. Морозов отныне выкажет вам все доброе, что есть в его душе. Мой батюшка, умирая, завещал Борису Ивановичу быть мне за отца. С малых лет он учил меня доброму и разумному.

— Бог да сохранит на многие лета во здравии твое царское величество!— второй раз воскликнули одни, а другие выказали сомнение:— Да ведь как Морозову простить, когда он всю Москву сжег?

Плача, государь подошел к золотому кресту, который держал патриарх Иосиф, поцеловал крест и поклялся:

—Сошлю Бориса Ивановича на край государства! Никаких должностей отныне и никогда впредь занимать ему будет не дозволено. Богом вас заклинаю, люди, подарите мне жизнь воспитателя моего.

— Да будет то, что требует бог да его царское величество!— согласились москвичи.

8

Жизнь Бориса Ивановича Морозова была спасена, и уже на следующий день он послал из своих дворовых людей кого за лесом, кого за кирпичом и уже успел переманить к себе на пожарище лучших строителей.

Ладно бы хозяйством занимался — так нет! В тот же день явился в Думу. Разгневанный Яков Куденетович Черкасский послал к нему выборных людей от детей боярских, которые собрались на Красной площади, требуя, чтоб им тоже заплатили, как заплатили стрельцам.

— Вы думаете, что коли взбесившиеся людишки гоняли старика Морозова, как зайца, по Москве, так он теперь и вывернет перед каждым карманом государевой казны?— закричал на выборных Морозов. Виски седые, лицо кровью налилось, в глазах блеск.— Нет, голубчики! Ничего вам не дам. Я денежки на строительство порубежных городов копил, а теперь Москву надо строить.

Такое пережил, а духом не ослабел Борис Иванович — государственный человек! У него и власти теперь никакой не было, но все уже пританцовывали под его дуду. Илья Данилович Милославский на своем уцелевшем от пожара дворе поил и кормил стрельцов, кафтанами жаловал, деньгами. Царица Мария Ильинична допустила к руке выборных от посадских людей, от стрельцов, купцов, холопов. И тоже угостила и соболями всех одарила. И, выйдя на Красную площадь, эти выборные люди закричали, что хотят в правители Бориса Ивановича свет Морозова.

Может, и сошло бы, но рассерженные дети боярские закидали крикунов камнями и пошли поднимать народ на новый гиль. И всем было ясно: за дворянским войском стоят князь Яков Куденетович Черкасский и Шереметевы. Никита Иванович Романов, осердясь на царя, что не убрал Морозова, перестал в Кремль ходить, сказался больным, а впору опять было перед народом шапку ломать.

10 июня дворяне-жильцы, дети боярские, дворяне московские, гости, торговые люди, стрельцы ударили царю челом о созыве Земского собора, и государь, царь и великий князь Алексей Михайлович согласился созвать Собор и дать народу своему Закон, статьи которого повелел списать с «Правил святых апостол и святых отец» и с градских законов греческих царей, и выписать пристойные статьи из законов прежних великих государей, царей и великих князей Российских, и отца его, государева, блаженные памяти Михаила Федоровича, великого государя, царя и великого князя всея Руси. Повелел собрать воедино указы и боярские приговоры на всякие государственные и земские дела и те государские указы и боярские приговоры со старыми судебниками сличить. А каких статей не было, и те бы статьи написать и изложить по его, государеву, указу общим советом, чтобы Московского государства всяких чинов люди, от большего и до меньшего чина, суд и расправу имели во всяких делах всем равную.

И указал государь составить Уложение боярам князю Никите Ивановичу Одоевскому да князю Семену Васильевичу Прозоровскому, да окольничему князю Федору Федоровичу Волынскому, да дьякам Гаврилу Левонтьеву да Федору Грибоедову.

11 июня решилась судьба Бориса Ивановича Морозова. В первом часу дня сто пятьдесят детей боярских, да сто пятьдесят стрельцов, да сто старост статских — все

с ружьями — окружили возок бывшего правителя и отправились все на Белое озеро в Кирилло-Белозерский монастырь.

Не успела пыль улечься за колесами возка, в котором повезли Бориса Ивановича, а государь уже посылал гонца к игумену Кирилло-Белозерского монастыря Афанасию, строителю Феоктисту и келарю Савватею. Писал государь о том, чтоб Борису Ивановичу почет был оказан, чтоб берегли его крепко и надежно от всяких козней и злоумышленников.

«Да отнюдь бы нихто не ведал, хотя и выедет куды,— писал Алексей Михайлович, сам писал, своей рукой: дело невиданное! Московские цари даже грамот государственных не подписывали, не роняли достоинства.— А если сведают, и я сведаю, и вам быть казненным. А если убережете его, так, как и мне, добро ему сделаете, и я вас пожалую так, чего от зачала света такой милости не видали».

Москвой правили чуждые Алексею Михайловичу люди, но хоть и молод он был, а терпелив знатно. В свои двадцать лет Алексей Михайлович научился уступать силе и обстоятельствам, как никто среди всего московского синклита, светского и духовного. Со стороны казалось, что царской уступчивости нет предела. И те, кто так думал, ошибались себе же на беду. Алексей Михайлович всегда знал, чем он может поступиться.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

К Аввакуму в Лопатищи приехали братья. Все они жили на старом отцовском гнездовье в Григорове. Евфимий был попом, Герасим и Кузьма тоже при церкви кормились — один служил псаломщиком, другой сторожем.

Братья приехали по делу: продать мед и воск, купить сушеной и соленой рыбы. Григорово от Волги далеко.

Ночевали братья на сеновале.

Аввакум собирался за дровами, поднялся до солнца. Он вывел из сарая лошадь, покормил на улице. Пришел дьякон, с которым сговорились рубить лес.

Аввакум снова заглянул в сарай: братья сладко спали. Евфимий лицом пригож, в мать. Спит как во мла-

денчестве, причмокивая. Кузьма в отца, кряжист, насуплен. И во сне молчун. Герасим вдруг отчетливо засмеялся. С детства хохотун. Видно, и сны ему смешные снятся.

Хотелось попрощаться с братьями, но будить было жалко. Аввакум перекрестил их, взял пилу, топор, веревку и пошел к дьякону. Тот уже успел запрячь лошадь.

Поехали.

Солнце с самого утра распалилось. Аввакум, поскребывая разомлевшие на жаре телеса, поглядывал на луга, на лес, на реку.

— Головой бы в траву и заснуть! Духмяные теперь травы,— сказал он.

— А чего? Лошадку стреножим, пущай попасется,— откликнулся дьякон, натягивая вожжи.— Дровишки из лесу не убегут. До зимы еще — ого!

Аввакум взял у дьякона хворостину и махнул на лошадку.

— Но-о! Ты шевели ее, отец дьякон, шевели!

— Мужики без дров пастырей своих не оставили бы,— забормотал дьякон, с неприязнью озирая вставший стеной лес.

— А погляди-ка ты, отец дьякон, вон на ту сухостоину!— указал Аввакум на огромную голую сосну.— Одного дерева хватило бы и на твою избенку, и на мою.

— А пилить-то! Пилить-то сколько! В два обхвата небось!— у дьякона перекосило лицо, словно зуб мудрости дергало.

— Зато колоть будет хорошо,— не сдавался Аввакум.— Раскатаем дерево на чурбаки прямо здесь и перевозим.

Дьякон знал: коли поп загорелся, не переупрямить его и не пронять.

— Ладно,— сказал он и словно голову на плаху положил.— Все ж место открытое, по лесу дровишки не волочить.

На солнце и ветру дерево высохло и закаменело. Пила отскакивала от гладкой, с железным отливом древесины.

— Как мощи!— сказал дьячок простодушно.

Он был постарше Аввакума годов на десять, но головой был дюже молод. Никакой науки дьяконова голова не принимала, а вогнать премудрость розгами и кулаками никому не удалось: непробиваемая лень надежно защищала незлобивое чудо природы.

— Про какие мощи ты говоришь?— удивился Аввакум.

— Да вот про ейные, про сосновые,— указал дьячок.— А ведь оно, может, и вправду мощи. Коли люди бывают нетленны, отчего ж деревам нетленными не быть? Мой кум рыл колодец, дак ведь такое дерево вытащил из глубины, хоть в сруб клади. Потемнеть потемнело, а гнили на ноготь не нашлось. Оно ведь, может, у людей свои святые, а у них, у дерев, свои... Ты чего, батько?

А батько, засучив рукава, ясными очами взирал на доморощенного умника.

— Сам сие придумал али вычитал где?

— Сам!— сказал дьякон, еще не понимая загадочного вида попа.

— Ну, коли сам, так беда невелика. Вразумлю.

И огромный Аввакум сграбастал толстяка дьякона одной рукой и принялся дубасить его кулаком, норовя угодить по башке.

— За что?— возопил дьякон.

— За глупость!— отвечал ему Аввакум.— За глупость и блудомыслие.

Дьякон был хитер и не противился: поп тотчас и остыл.

— Благослови меня, отец дьякон, из-за тебя грех совершил.

Облобызались. Посидели в тенечке, утомленные, и опять принялись пилить тысячелетнее, умершее на корню, но не сдавшееся ни ветрам, ни половодьям дерево.

Не только подрясники, но и порты были на них мокры от пота, когда великан-сосна, оглушительно стрельнув, надломилась и пала меднолитым стволом на сухую звонкую землю. В ушах и пятках больно заныло от удара.

Распиливать дерево на чурбаки не было сил.

Пошли в тень березовой рощицы. Здесь было влажно, и силы возвращались скорее.

Комель распилили до половины и бросили. Пилу зажимало.

— Ох, батько! Ну чего мы животы рвем? Мужики бы, чай, уж наготовили на церковь дровишек. От церкви и мы попользовались бы.

— На мужика надейся, а сам не плошай,— сказал Аввакум.— Мужик гору для тебя свернет, когда знает, что ты ему нужен, а коли не нужен — палкой не заставишь работать.

— А ты помягче к мужикам, батько, помягче,— настаивал дьякон.— Ты все законы-то не спрашивай с него, с темного. Всех законов-то и монахи не соблюдают.

— Цыц!— грянул Аввакум.— Учитель выискался на погибель души моей! Цыц! Мало, видно, я тебя давеча оттузил.

— Ох, батько! Ох!— возвел горестные глаза к небесам дьякон.— Не в добрый час пристроился я к твоей церкви. Ни вару, ни товару. Люди ласку любят. К ним кругами, кругами.

— Дьявольская твоя наука!— вскипел Аввакум.— Слово божье как молния. Оно прожигать должно, и его нужно страшиться, как грома небесного. Ужахаться!

— Ох, батько! Ох!— стенал дьякон.

— Пошли пилить!— встал Аввакум.

— С вершинки теперь попробуем.

— Ну нет!— замотал головой Аввакум.— Ныне дюже нам тяжко, а завтра легче уж будет.

Комель не поддавался. Аввакум стал загонять клинья.

— Да плюнем на комель. Его и колоть — пуп надорвешь!

— Пили!— прохрипел Аввакум.

— А ну тебя к бесу, бешеного! Я лучше замерзать стану, чем жилы из себя тянуть!— Дьякон бросил пилу и, не оглядываясь, пошел через травы напрямки прочь.

— Кишка тонка!— закричал ему вослед Аввакум.— Синепупый козел ты!

Дьякон обернулся, постучал себя по лбу костяшками пальцев.

— Тьфу! Тьфу и тьфу!— трижды плюнул Аввакум в его сторону.

Марковна доила в соломенной прохладе темного катуха корову Зорьку. Пастух пригонял коров наполдни в село: овода с палец величиной доводили бедных до безумия. За лето две коровы, умчавшиеся в дебри, были задраны медведями.

По такой пастьбе молока корова давала не через край, но и попить хватало, и на маслице оставалось.

Марковна уже выдаивала тугие маленькие соски, когда ей показалось, что в дверях катуха сверкнул голой попкой меньшой сынишка.

— Ангелочек!— позвала она.

Мальчик не отозвался, и Марковна успокоилась. Она подоила корову, дала ей кусок хлеба в награду за молочко и вышла на солнце.

Огород, опоясанный золотистыми сосновыми жердями, зеленел, обещая обилье осеннего стола. И вдруг в огурцах опять сверкнуло белое.

— Ангелочек!— Марковна поставила молоко и пошла поглядеть на тихие проказы любимчика.

«Ангелочек» спрятал голову в огуречные плети и сопел.

— Батюшки, да что же ты обрываешь пупсики-то?! Этак без огурцов останемся.

Марковна подхватила на руки «ангелочка», звонко нашлепала его по голому заду.

«Ангелочек» стал тереть глаза, но не заревел: знал, что за дело нашлепали.

— Ты что за братом не глядишь!— закричала Марковна на старшего сына.— Все пупыри у огурцов ободрал. А ну оба носами в угол! А еще так будет, отцу скажу.

Дети смиренно затаились в своих углах.

Аввакум привез из леса огромный комель. Телега вздыбилась, задрав передние колеса, застонала, как живая, когда с помощью Марковны Аввакум спихнул комель с телеги.

— Во,— сказал он,— дрова.

И засмеялся. И Марковна засмеялась. Это было, право, чудно́ — ухлопать весь день на комель. И Аввакум знал, что глупо затеялся он с этим глупым пилением, но ведь одолел! Один одолел! Ему и вправду было смешно. И не обидно, что Марковна смеялась.

На службу к вечерне дьякон явился, и служили они усердно и строго. Дьякон, однако, скоро сообразил, что поп на него зла не держит, и зарокотал басом со всем благолепием, и Аввакум возрадовался сердцем, воодушевился.

Прихожанам передалось настроение служителей, и служба удалась.

Разоблачаясь, дьякон первым сказал Аввакуму:

— За дровишками-то поедем завтра?

— Поедем, отец дьякон!— Аввакум хохотнул, и дьякон тоже не удержался от смеха.

2

Поехали по дрова, отслужив заутреню.

Роса успела просохнуть, но след телеги был изумрудно-зелен, ехали через луг.

— Ты куда правишь-то?— слегка обеспокоился дьякон.

— К лесу.

— А-а!— Дьякон согласно кивнул головой и притих, как воробышек перед дождем. Думал, чем тише, тем лучше.

Но Аввакум приехал к вчерашней сосне.

— Да ведь вершинка-то и впрямь хороша!— затараторил дьякон.— Дерево сухое. Сухая сосна так и пыхает. Баню истопить, если поскорей чтоб...

Или для хлебов.

Аввакум, не вслушиваясь в трескотню дьякона, снял пилу, топоры, клинья.

— О господи, благослови! Давай, отче, за дело. Как начали, так и продолжим. С каждой коляской легче станет.

Дьякон вспотел, жалостливо заулыбался и послушно принял рукоять пилы.

Опять били клинья, пилу зажимало. Потели, теряли терпение и силы, но наконец отпилили чурбак.

— Теперь легче будет,— пообещал Аввакум, садясь на чурбак.— Расколоть один такой — на два дня хватит.

Отпыхиваясь, отирая лицо рукавами длинной рубахи, дьякон показал на лес и пошел.

— По нужде, что ли?— не понял Аввакум.

— По нужде, по нужде,— закивал подобострастно дьякон и перешел на мелкую рысь.

Не выходил он из лесу долго.

— Эгей!— крикнул Аввакум.— Не медведь ли там тебя задрал?

Из лесу не отозвались.

— Бежал! Бежал, сукин сын! Тварь малодушная. Тьфу!

Аввакум скинул рясу и взялся за пилу.

— Один одолею. Одо-лею! О господи! Благослови!

3

Волга несла его, как листок с дерева.

— Гораздо сильна ты, матушка!— похвалил Авва-

кум Петрович реку и, подняв голову над водой, поглядел, далеко ли снесло.— А ну-ка, матушка, поборемся!

Сиганул в воде, как белорыбица, и пошел-пошел течению наперекор саженками махать.

Река пересилила Аввакума, но выплыл он всего-то сажени на три-четыре ниже того места, где Сенька Заморыш, сосед, стерег поповские порты, подрясник да медный крест.

— Ну и силен ты, батюшка!— удивился Сенька.

— Хорошо!— говорил Аввакум, оглаживая мокрые волосы.— Это я еще пост держу, который патриарх Иосиф на государство наложил, а так бы не покорился матушке. Хоть ей и не зазорно покориться, ладьи сносит.

— Вон легки на помине! Четыре струга!— показал вверх по течению Сенька Заморыш.

— А ведь это новый воевода в Казань идет!— ахнул Аввакум, вприскочку натягивая порты и на быстром ходу уже — подрясник и крест.

Хоть и припоздали, а вышли встречать воеводу с крестами, с иконами. Воевода Лопатищ Евфимий Стефанович косился на своего попа: после купания голова у Аввакума как телком облизанная, не осердился бы воевода. Ныне послан в Казань Василий Петрович Шереметев, большой боярин!

Шереметев отведал хлеба и соли, насмешливыми глазами окинул мокрого попа, но подошел под благословение и милостиво разрешил:

— Благослови и сына моего Матфея!

Матфей стоял за спиной отца, высокий, с бритым лицом, красивый, как девушка.

Аввакум перекрестился.

— Избави меня бог! Не оскверню креста благословением блудолюбивого образа!

— Ах ты, поп-сатана!— закричал Василий Петрович.— А ну-ка взять его на корабль!

И, не слушая лопатищиниского воеводу, который просил пожаловать в город, за столы дубовые, Шереметев велел отчаливать.

Аввакума приволокли на струг, связали, поставили перед боярином.

— Слышал я, как ты, пес бешеный, скоморохов разорил!— закричал на него Василий Петрович.— Сей же

миг дай благословение моему сыну, а будешь упрямиться — в Волге утоплю.

Принесли камень на веревке, положили у ног Аввакума. Аввакум поглядел над собой, в чистое небо, да и сказал:

— «Помилуй нас, господи. Помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением. Довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых!..»

— Да ты, я гляжу, псалмы наизусть знаешь!— удивился воевода.— А ну-ка скажи мне... нас вот тут трое... псалом третий! А ты, Матфей, открой Библию да гляди, хороша ли память у попа.

— «Господи, как умножились враги мои! Милость восстают на меня...»,— начал псалом Аввакум.

— Пятьдесят первый!— оборвал его воевода.

— «Что хвалишься злодейством, сильный? Милость божия всегда со мною, гибель вымышляет язык твой...»

— А тебе который год, поп?— неожиданно спросил Шереметев.

— Двадцать восьмой.

— Читай двадцать восьмой!

— «Воздайте господу, сыны божии, воздайте господу славу и честь...»

— А ну шестьдесят пятый!

— «Воскликните богу, вся земля: как страшен ты в делах твоих!..»

— Конец семьдесят третьего.

— Конец семьдесят третьего псалма таков,— сказал Аввакум: — «Не забудь крика врагов твоих, шум восстающих против тебя непрестанно поднимается». Но будь милостив, боярин, послушай конец семьдесят пятого: «...земля убоялась и утихла, когда восстал бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных... все, которые вокруг него, да принесут дары Страшному. Он укрощает дух князей, он страшен для царей земных».

— Убедил!— сказал воевода, непонятно глянув на Аввакума.— Топить тебя — грех. Ну, а коли ты такой твердый да знающий поп, садись за наш стол.

Слуги уже расстелили скатерть и поставили питье и еду.

— Не могу я за твоим столом есть-пить.— Аввакум опустил тяжелую свою голову на широкую грудь.

— Чем же стол мой тебе не пришелся?— Брови Василия Петровича так и подлетели.

— Патриарх Иосиф по случаю избавления от мятежа наложил пост на Россию.

— А знаешь, поп, ты мне люб!— Шереметев встал, обнял Аввакума за плечи и усадил возле себя.— Принесите нашему гостю рыбы да квасу.

Пока шел пир да разговор, далеко уплыли струги: вниз-то ходко корабли идут. Спохватился воевода. Причалил к берегу. Отпустил попа.

— Не страшно ли будет ночью идти одному, Аввакум Петрович? Как бы зверь не тронул?

— Среди людей живу — не пугаюсь, чего же мне зверя страшиться?— сказал Аввакум, кланяясь воеводе.

4

Солнце закатилось, и небо, угасая, нежно зазеленело вдруг, словно проросла небесная трава для белых небесных овец. Облака были круглые, маленькие — поярки, да и только.

А потом небо стало атласным, лиловым, как одежды архиереев. Аввакум прибавил шагу, поглядывая по сторонам: на померкшую землю и черную воду. Пахло мокрым чистым песком, пахло большой рекой.

Сверкнула над полями зарница, ибо зерно уже налилось, и пора было крестьянину точить серп и готовить ток. Еще сверкнуло. И Аввакум, глядя в небо, удивился перемене, словно бы рубаха крестьянская над головой — простенький синий кумач.

О том, что наступила ночь, сначала догадались ноги: стали промахиваться мимо петляющей в траве и уже совсем неразличимой стежки.

Скоро Аввакум потерял ее и пошел по берегу, разглядывая в Волге золотые гвоздики звезд.

Река раскачивала берега, чтобы перехитрить звезды, забаюкать, сорвать с места, унести, но ничего не получалось даже у нее, у матушки-Волги,— звезды стояли на месте.

«Господи!— подумалось вдруг Аввакуму.— Ведь нынче-то мы живем! Для нас, нынешних, красота неба и земли!»

И кинулся он в траву, и глядел в звездную бездну, и не словами, всем нутром своим звал:

— Господи! Вот он я, перед тобой! Объявись, господи! Неужто мы, нынешние, недостойны зреть тебя, как зрели древние.

Он ждал хотя бы знака, хотя бы падучей звезды, но звезды в ту ночь стояли твердо на своих местах.

Аввакум пришел домой, опередив зарю. И опять застал Марковну за работой.

— Хотели утопить, да не утопили!— сказал он ей, прислонясь спиной к двери.— Что же ты не спишь, голубушка! Чай, привыкнуть пора.

— Я тебя всегда ждать буду,— сказала Марковна.— Из любого далека ждать буду.

И заплакала вдруг.

— Да что же ты это?— всполошился Аввакум.— Да ты уж не плачь, бога ради. Все претерплю, а слезы твои вытерпеть — таких сил у меня нет.

— Ах, Петрович! От радости плачу! Милует нас бог!

5

Сильная буря отрясла с деревьев листья, и недели на две раньше времени стал тихим и прозрачным нехоженый, заросший груздями лес.

— Батюшки вы мои!— ахал Савва, разгребая руками листья.— На всю Москву насолить груздей можно. А уж крепенькие-то! А уж скрипучие!

Названый брат на берегу неласкового, глубоко промывшего землю ручья варил хлёбово. Что было у них, то и сунул в котел: горсть пшена, горсть пшеницы, кусок свинины, засола и не прошлогоднего небось, заржавелой, пересохшей,— подаяние добрых людей.

— Опята!— возрадовался из лесу Савва.— Конопатенькие!

Насобирал в подол рубахи — тоже в котел пошли.

Славное получилось хлёбово, с дымком да с искоркой, на сентябрьском свежем воздухе, на сладкой горечи отживающих трав.

Только за ложки взялись, вышел из лесу старик. Борода ниже пояса тремя прядями. По бокам пряди белые, как березовая кора, а в середине рыжий пламень.

Савва вскочил, поклонился старику, ложку свою, облизав, протянул:

— Будь гостем, дедушка. Чем богаты, тем и рады.

Названый брат одобрительно закивал головой. Старик глянул на него и бровями зашевелил.

— Садись, дедушка! Мой названый братец тоже тебе рад, да сказать про то не может. Языка у него нет.

Старик перекрестился, взял у Саввы ложку, зачерпнул хлёбово, отведал:

— Вкусно!

Черпнул раз-другой, бороду утер, отдал ложку Савве.

— Ешь, отрок, я уже сегодня обедал.— Поглядывая из-под бровей на немого, спросил:—Издалека?

— А где нас только не было!— охотно откликнулся Савва.— Теперь из Москвы идем. Натерпелись страха, ноги в руки — и пошел, пока голову не снесли.

— Слышал про московские дела. А далече ли путь ваш?— снова спросил старик, упорно и открыто разглядывая названого брата.

— Идем, чтоб на месте не сидеть,— легко ответил Савва.— Куда дорога повернет, туда и мы.

— А если дорога — надвое?

— Тогда как поглянется. На которую братец покажет, на которую я сверну. Идем себе и идем.

— Как божьи птицы!— удивился старик.— Без промыслу, без умысла. Гоже ли так человеку разумному по земле шляться?

— С умыслом мы уже ходили, да без толку,— вздохнул Савва.— Брат у нас пропал. Ушел и как сквозь землю. Мы его и по городам искали, и по монастырям. Теперь наугад идем, бог пошлет, может, и сыщем.

— Как вас звать-величать?— спросил дотошный дедушка.

— Меня Саввой, а имени брата не ведаю. В тот день, когда я к их дому прилепился, злодей Плещеев им языки отрезал. Наказал его бог! Жестокой смертью покарал!

— И про то сорока донесла,— сказал старик.— Ну, а меня зовут Авива. Слыхали про такого?

— Нет,— признался Савва.

— Ну и слава богу! Забывается черная слава Авивы-разбойника. Здешние люди еще помнят, но годы идут, и куда звончей нынче имя Авивы-колодезника.

Савва с удивлением поглядел на названого брата своего. Тот вскочил, замычал, ткнул рукой в грудь старика, ударил себя ладонью по груди.

— Он у тебя бесноватый?— с беспокойством спросил старик.

— Да нет, смирный он.

— Мы-ы-ы!— Названый брат протягивал руки к старику и потом прижимал их к груди.— Мы-ы-ы!

— Ты — Авива!— тоненьким шепотом выдавил из себя Савва, словно боялся спугнуть птицу.

— Мы-ы-ы!— Названый брат кивал головой, и слезы текли по его большому лицу.

— Авива!— Савва обнял брата, и тот опустился на обмякших ногах на землю и, ткнувшись головой Савве в коленки, зарыдал, как ребенок.

— Ну чего ты? Чего?— ерошил ему волосы старик.— Имя сыскалось, глядишь, и брат отыщется.

Савва принес из ручья воды напоить Авиву, но старик сказал:

— Вылей! Пошли, я напою вас сладкой водой.

Савва и его названый брат собрали пожитки и пошли за старцем.

Через полверсты он показал им колодец у дороги. Они достали воду и подивились ее чистоте и вкусу.

— Идите за мной!— позвал старик, и они пошли за ним.

По дороге им встретилось еще три колодца, и в каждом вода была холодна, прозрачна и сладостна.

Старик привел Савву и тезку своего, Авиву, на гору и сверху показал им на деревеньки и починки, разбросанные по долине, и на колодезные журавли.

— Все это дело рук моих, а теперь и моего товарища,— сказал он.— Не ведаю, смоют ли чистые воды несчетные мои прегрешения, но вот уже четверть века я тружусь ради доброго слова людей, которые прежде видели от меня одни грабежи и обиды.

— А кто он, товарищ твой?— затая дух, спросил Савва, но старик не услышал вопроса, он быстро пошел с горы, да только не в сторону деревенек, а в чащобу.

«Чего с нас возьмешь?» — подумал Савва и пошел следом.

Его догнал Авива, положил ему на плечо руку, и Савва почуял: рука брата дрожит.

На широкой поляне серебряно светилась осиновыми чешуйками луковка часовни. Отступив в лес, под темным сводом елей стояла низкая широкая изба.

Возле избы они увидели яму.

Старик сложил пальцы колечком и тонко свистнул. Послышался глухой шорох, покатились комочки сухой земли, и вылез из ямы безъязыкий брат безъязыкого Авивы.

6

Словно бы и не расставались, словно бы земля не нажгла ходокам пятки.

Они, помывши руки, сели вечерять. Ели и пили, друг на друга особенно не поглядывая, а потом погасили лучину, вышли посидеть перед сном на завалинке, и сидели, глядя на звезды смиренно и тихо, два брата и между ними их Саввушка.

Навалясь на оглохшую от осенней тьмы землю, небо играло звездами, и, зачарованный небесным огнем, ласково засветился из лесу высокий березовый пень.

— Здесь и будем жить,— сказал в ту ночь Савва, укладываясь на полу между братьями,— пора и мне ремесло знать, колодезное дело — доброе. А главное, груздей тут — косой коси. Насолим, чтоб аж до нового урожая.

Старик Авива спал, молча и тихо лежали братья, и Савва тоже затаился, и стало слышно, как потрескивают, холодея на сентябрьском заморозке, золотые волоконца сосновых бревен.

7

А у государства свои были заботы.

Первого сентября открылся Земский собор. 16 сентября государь приказал выдать жалованье дворянам и детям боярским, которые по выбору приехали из городов Московского царства, а сам уехал в Троице-Сергиеву лавру, где его ждал Борис Иванович Морозов.

25 сентября боярину Морозову были возвращены все его огромные земельные владения.

26 октября боярину Морозову пожаловали из дворцовых коломенских вотчин, под деревней Ногаткиной, луг в четыре десятины — для сокольников.

29 октября Морозов был в Кремле на крестинах Дмитрия Алексеевича, слушал составителей Уложения и подписал его.

Полгода продержалось у власти правительство старого боярства. Один из авторов Уложения, князь Прозоровский, по возвращении в Москву Бориса Ивановича Морозова поехал воеводой в Путивль, другой автор, Федор Волконский,— в Олонец, Никита Иванович Одоевский — в Казань. Боярин Василий Борисович Шереметев отправился в Тобольск, судья Земского приказа Михаил Петрович Волынский — в Томск. Не тронули Якова Куденетовича Черкасского да Никиту Ивановича Романова.

Но все эти перемещения произошли не разом и в

свое время, а покуда царь слушал и слушался советников своего отца, Черкасских и Шереметевых.

Со всех концов страны шли вести о мятежах. 11 июня случился бунт в городе Козлове, 5 июля — в Курске, 9 июля — в Устюге Великом, но Москва утихомирилась. Приказные люди подсчитывали страшные убытки и потери. Сгорело двадцать четыре тысячи домов, тридцать миллионов пудов хлеба стоимостью в триста семьдесят пять пудов золота. Погибли несметные сокровища московских купцов и бояр, у одного Шорина убытку было на 150 тысяч рублей. Никите Ивановичу Романову мятеж обошелся в несколько бочек золота. В огне пожара сгорело две тысячи человек.

Москва отстраивалась заново в который уже раз.

Когда недавние мятежники взяли в руки топоры, чтоб тесать бревна да ставить срубы, патриарх Иосиф разослал во все концы Московского царства грамоты о молебствии и двухнедельном посте.

В конце 1648 года престарелый митрополит новгородский Аффоний по немощи и старости своей стал просить патриарха, чтобы отпустил его на покой.

Просьба митрополита Аффония совпала с горячим желанием царя Алексея Михайловича поставить архимандрита Новоспасского монастыря в митрополиты.

Никон посетил Аффония в Хутынском монастыре.

Когда-то митрополит посвящал Никона в игумены, теперь ему надлежало посвятить своего ученика на пастырскую деятельность в сане святителя.

Произошла обычная игра, столь любезная в среде монахов. Никон просил благословения у старца Аффония, старец Аффоний в смиренческом порыве пророчествовал:

— Благослови мя, патриарше Никоне!

— Ни, отче святый!— приятно удивлялся Никон.— Аз грешный — митрополит, а не патриарх.

— Будешь патриархом, благослови мя!

И Никон знал, что будет он патриархом, коль стал митрополитом. Три года был игуменом, три года архимандритом, а сколько быть ему в митрополитах — зависело от числа лет и дней, отпущенных дряхлому патриарху Иосифу.

Тотчас по вступлении в должность новгородского митрополита Никон в своей епархии ввел единогласие и портесное пение, любезное сердцу Алексея Михайловича.

ПОСЛЕДНЕЕ

Приглядевшись к румяному богомольному царю, русские люди, привыкшие окликать соседа по-уличному, прозвищем, назвали Алексея Михайловича Тишайшим.

Первые три тихих года правления увенчались, однако, большим московским пожаром и многими восстаниями посадских людей.

Пережив народную бурю «в двадесятое лето возраста своего», царь Алексей Михайлович сумел понять и согласиться с мыслью о том, что вершить суд над людьми, устраивать государственную жизнь, полагаясь на рассудительность, доброе сердце и честность отцов церкви, ближних своих людей и воевод,— значит постоянно испытывать терпение народа. И хотя терпение это было русским, то есть долготерпением, но ведь и разряд гнева тоже был русским, коротким, как молния, и, как молния, невероятно разрушительным.

Царь, за все три года никого не обидевший, увидел вдруг, что в стране нет такого сословия, которое было бы довольно жизнью. Крестьяне стремились сбить с ног своих невыносимую колоду крепостничества, посадские люди рвали путы тягла, дворяне косились на бояр и монастыри — крестьяне, пускаясь в бега, искали сильного хозяина,— бояре, местничаясь, были в вечном своем недоверии и недовольстве, и уж, конечно, они были против того, чтоб вернуть посаду земли, а прежним владельцам — работников.

Складывая с себя ответственность за все неправды, проистекающие от всеобщего брожения, царь Алексей Михайлович указал быть Земскому собору, а «доклад написати» самым ученым боярам да дьякам.

Князья Одоевский, Прозоровский, Волконский и дьяки Леонтьев и Грибоедов в 1649 году предложили Собору на рассмотрение и утверждение девятьсот шестьдесят семь статей, разбитых на двадцать пять глав.

Собор доклад утвердил, и отныне каждая статья его стала законом, а весь свод их — «Соборным уложением царя Алексея Михайловича».

Начиналось оно главой «О богохульниках и церковных мятежниках» и завершалось «Указом о корчмах».

Авторы Уложения, князья и думные дьяки, показали себя знатоками духа, быта и народной жизни.

«А будет который сын или дочь... отца и мать при старости не учнет почитать и кормить... и таким детям за такие их дела чинить жестокое наказание, бить кну-

том же нещадно и приказать им быти у отца и у матери во всяком послушании безо всякого прекословия, а извету их не верить. А будет который сын или дочь учнут бити челом о суде на отца или матерь, и им на отца и на матерь ни в чем суда не давати, да их же за челобитие бить кнутом».

Авторы Уложения выказывают себя справедливыми. Вот, к примеру, статья 279: «А буде у кого на дворе будут хоромы высокие, а у соседа его блиско тех высоких хором будут хоромы поземныя. И ему из своих высоких хором на те ниския хоромы соседа своего воды не лить и сору не метать. А будет он на те ниския хоромы учнет воду лить или сор метать... и у него те хоромы (высокие) отломати, чтобы впредь соседу от него никакова насильства не было».

Но стоит заглянуть в статьи «Суда о крестьянах» или в статьи «О посадских людях», сразу же становится ясным: князья-законники пишут законы, удобные себе, крестьяне для них всего лишь имущество.

«Беглых крестьян и бобылей, сыскивая, свозити на старые жеребьи, по писцовым книгам, с женами и с детьми и со всеми их крестьянскими животы без урочных лет».

Столь же суров княжеский закон и к посадским людям: «А которые московские и городовые посадские люди были в посадском тягле и стали в пушкари, и в затинщики, и в воротники, и в кузнецы, и в иные во всякие чины, и тех, по сыску, всех имати в тягло».

Триста пятнадцать подписей скрепило новое русское право, и право это было крепостническое.

Серия «Золотая летопись России»

Литературно-художественное издание

Бахревский Владислав Анатольевич

ТИШАЙШИЙ

Роман

Редактор **В. И. Козаченко**
Художник **Р. Р. Вейлерт**
Художественный редактор **Н. Б. Егоров**
Технические редакторы **В. М. Котова, Г. А. Иванова**
Корректоры **Г. А. Голубкова, Т. Г. Люборец**

Издание подготовлено к печати
по автоматизированной редакционно-издательской технологии
на персональных ЭВМ
Операторы: **А. С. Левенчук, Е. И. Краснова, Н. Ф. Юдина, Г. П. Аблизина, О. Н. Воробьева, Н. И. Меламед**

ИБ № 6363
Сдано в набор 28.06.91. Подписано к печати 09.09.91. Формат 84x108 1/32. Гарнитура Тип Таймс. Печать высокая. Бумага типографская № 2. Усл. печ. л. 17,64. Усл. кр.-отт. 17,64. Уч.-изд. л. 19,30. Тираж 200 000 экз. Заказ № 904. Цена 9 руб.

Издательство «Современник» Министерства печати и массовой информации РСФСР и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Министерства печати и массовой информации РСФСР 170040, Тверь, проспект 50-летия Октября, 46




9 руб.
•СОВРЕМЕННИК•


ВЛАДИСЛАВ
БАХРЕВСКИЙ